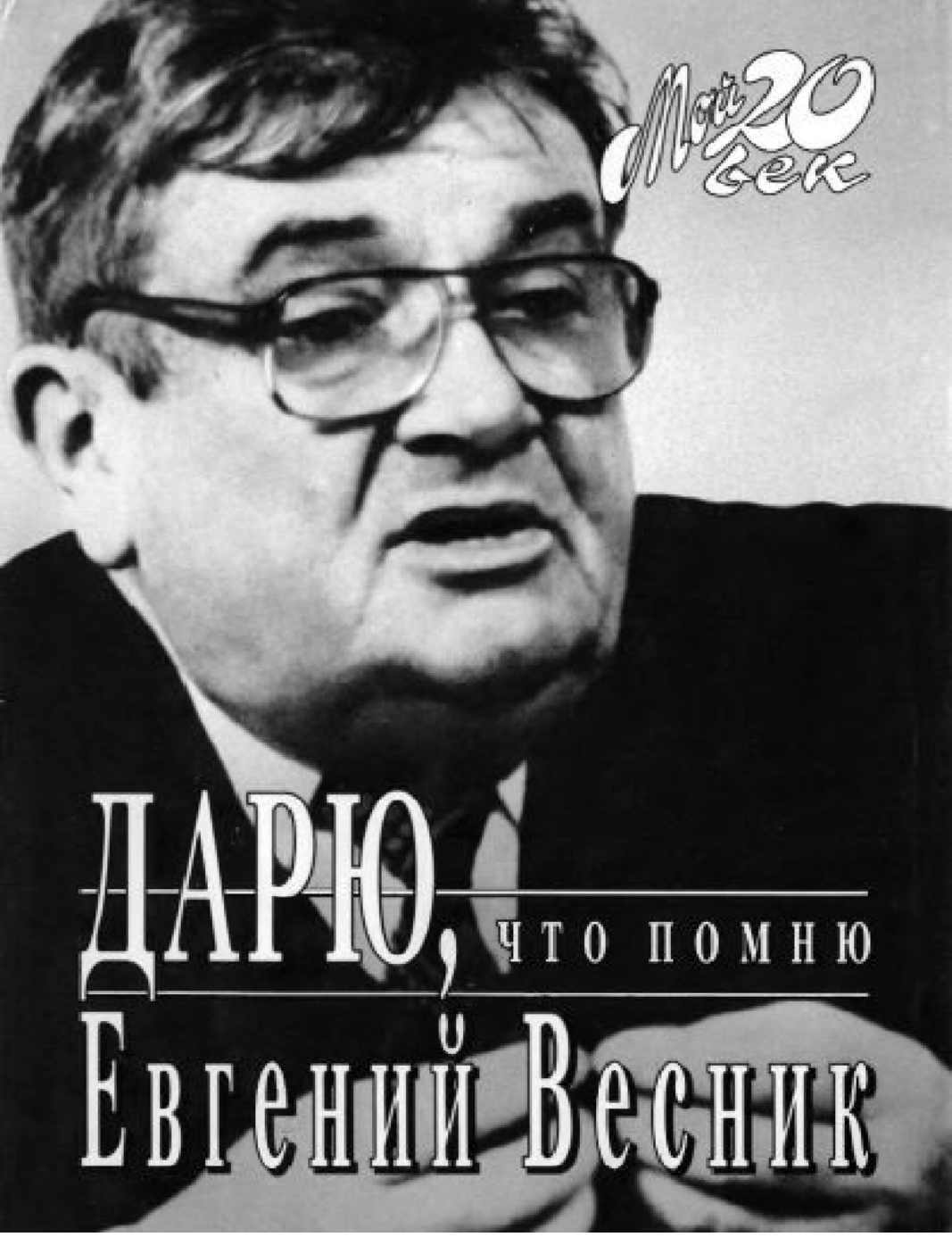


Мой XX век

ДАРЮ, что помню

Евгений Весник

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В своих воспоминаниях народный артист СССР Евгений Весник рассказывает о своем детстве, фронтовых годах, работе в театре и кино, о гастролях, друзьях и коллегах.

- Евгений Весник
  -
  - Увертюра
  - Спектакль «Чистка»
  - Школа жизни
  - Великий Александр Остужев
  - На фронте
  - Слово о друге
  - Алексей Дикий
  - Начало
  - Михаил Яншин
  - Михаил Светлов
  - Евгений Леонов
  - Ляля Черная
  - Николай Смирнов-Сокольский
  - Иван Байда
  - Арнольд Григорьевич Арнольд
  - О, Пари!
  - «Но с благодарностию: были»
  - Анатолий Папанов
  - Ростислав Плятт
  - Паша, Павел Луспекаев
  - Экран
  - Петр Алейников
  - Борис Андреев
  - Эраст Гарин
  - Иван Переверзев
  - Мексиканские сны
  - Мысли, конфузы, эпизоды на земле обетованной
  - Волшебство Японии
  - Александр Сашин-Никольский
  - Александра Яблочкина
  - Игорь Ильинский
  - Михаил Царев
  - Виталий Доронин
  - Плавание на «Ноевом ковчеге»
  - И мне благословение… Люблю ужение!

    - Помогите великому и могучему!
    - Сон вместо эпилога
    - Иллюстрации I
    - Иллюстрации II
- notes
    - 1

Евгений Весник
Дарю, что помню

У меня такое чувство, что я всегда играю драматические эпизоды в некоем грандиозном спектакле.

Станислав Ежи Лец

(И у меня тоже! – Е.В.)

Только перед смертью человек узнает, что ему надо было делать.

Осетинская пословица

(Надеюсь! – Е.В.)

Книга воспоминаний

в нескольких актах, многих картинах, эпизодах,

интерлюдиях и интермедиях

Действующие лица – их много

Все они очень разные и все мною любимы, даже заблудшие, бедняжки, которые, «надев на глаза шоры», забыли, что в комплект входят еще «узда и кнут» *(мысль С. Е. Леца)*.

Действие происходит в разное время и на небесах, и в землях разных стран, а также (непременно) в сердцах и душах людских.

Чтобы попытаться написать книгу, необходимо совершить своего рода подвиг – попытаться начать ее писать и непременно чернилами трех цветов – цветов честности, смелости и доброты.

Набираю в себя воздух… Разбегаюсь… Сейчас, сейчас… Минуточку… Вот только вспомню слова великого человека…

Сейчас, сейчас… Напишу их, а потом уж… Главное потом…
Разгоняюсь… Еще… Ну! Ну же!! Ну!!!
Прыгнул! Ух-х-х! Лечу! Где карандаш? Ах, вот он!
Ну, с Богом!

Вселенная – театр. Россия –
это – сцена.
Европа – ярусы. Прибалтика –
партер.
Америка – «раек». Трагедия –
«Гангрена».
Актеры – мертвецы. Антихрист –
их премьер.

Игорь Северянин. «Сонет». 1921 г.

Все, что дышит, думает, ходит, ползает, плавает, растет, – творит! Что-нибудь, но обязательно творит!

Все творящие играют свои роли в бесконечно разнообразном репертуаре огромного театра – «Вселенная», созданном Бог знает кем. Только Бог это знает…

Пьесы в этом театре пишут – Время и Идеи… Жанр и интерпретацию этих пьес подсказывают короли, цари, философы, генсеки, редко – народы, чаще мафиози; а еще – законы, нарушения или соблюдение их, землетрясения, наводнения, урожаи, засуха, количество тюрем, любовь, ненависть, даты, и совсем редко – высокие образцы объективной логики!

Люди, режимы-браконьеры разрушают горы и леса, отравляют воздух и воды, дырявят, ранят землю – во имя создания «декораций» своих «пьес» и «спектаклей».

Жизнь питается, ест! Отсюда закон: съесть или быть съеденным.

Джек Лондон

Все живое ест друг друга – зубами, заводскими трубами, пулями, ножами, газами, СПИДом, голодом, обжорством, доносами, заседаниями, комиссиями, болтовней, подкупами, ложью, предательством, идеологией, динамитом, ракетами, рэкетом, набегами-грабежами, наживой, ядами, лженаукой, трусостью…

Неужели так велика и страшна цена за все светлое, мудрое,

человеколюбивое?

Ведь все темное в истории театра «Вселенная» – не более чем «справка» о досадном. Все светлое, общечеловеческое в этом театре – ноты бесконечного гимна гордости за человеков!

Как жаль, что так мало минут отпущено на полет каждого из них во Вселенной!! Едва ли не самое важное – уметь рассмотреть средь свистящих метеоритов, темных грозовых туч, града, грома и молний пролетающие мимо или летящие рядом, ласкающие глаз, греющие душу, радующие ее, светящиеся добром и улыбками небесные частички-ноты, очень похожие на человечков-светлячков… Их много…

Стоит повнимательнее присмотреться, и убеждаешься, что светящихся больше тех, кто не наделен этим Божьим даром. Значительно больше! Иначе за счет какой же энергии светило бы нам солнышко? Кому-то удается ежедневно погружать его в темноту, но ведь есть же силы, которые неизменно возвращают его нам! Это силы вечной борьбы за свет! Борьба эта – удел способных светиться! А светиться – удел умеющих читать и воспроизводить благозвучные ноты!

Увертюра

Вдали сквозь туман вырисовываются очертания берега-макета с множеством небоскребов… Кто-то на весь океан поет под банджо и писк чаек: «Посмотри на себя у „истока“, затем в „устье“ и поймешь, в ту ли сторону плыл» *(опять мысль С. Е. Леца)*.

Я посмотрел и вспомнил, что как-то, будучи почти у «истоков», плыл на пароходе «Аквитания» в Америку. Мне было около трех лет. Мне не с кем было оставить в России родителей, и – хочешь не хочешь – я вынужден был взять их с собой. Часто штормило. Основным занятием пассажиров было постоянное сгибание туловища за борт судна и желание восстановить нормальный цвет лица.

Я, со свойственной моему «почемучному» возрасту любознательностью, спросил отца, почему, съев всего-навсего одну порцию отварного цыпленочка, извергаю из себя уже пятую или шестую целую курицу. На что получил маловразумительный и, конечно, требующий научного подтверждения ответ: «Так ведь этих курочек шторм тоже укачивает! Не только пассажиров, понял?!» Я промолчал. Честно говоря, настолько мне было тошно (не только на душе, но и чуть ниже ее), что я ничего не понял…

Неубедительный ответ отца породил во мне беспокойство за его судьбу в незнакомой, загадочной, бурливой, далекой Америке… Уже где-то в приближении к среднему течению жизни я узнал, что отец скрыл тогда от меня тот факт, что советское руководство, узнав о том, что я беру с собой родителей, поручило ему по линии треста «Амторг» произвести большие приобретения техники и оборудования для строительства наших металлургических гигантов – Магнитки, Кузнецка, Криворожстали, Днепрогэса…

Мама же по моей просьбе поехала с нами только затем, чтобы помогать мне в трудных житейских делах: встать, поесть, одеться… Настоящие мужчины хорошо знают, что дела эти без женщин делать очень и очень трудно! Справилась она со своими обязанностями (если учесть, что объектом ее внимания иногда был и папа), в общем, отлично.

Время в Америке прошло быстро, и настал день отъезда домой. Знаменателен он тем, что мама несла меня на руках по трапу на пароход (названия его не помню. И то, что описываю, тоже не помню: об этом мама выболтала мне, когда я уже стал «стареньким» – девятилетним мужчиной). Несла она меня очень простуженным, с температурой, закутанного во что-то теплое и большое, и боялась, что больного могут не принять на борт.

Мне тогда было уже пять лет, на английском изъяснялся не хуже, чем на русском, и был уже «опытным дипломатом». Несет она меня, тяжелого «мужика», на руках, а «мужик» хнычет, но… на вопрос чиновника, проверявшего посадочные документы: «А вы, сэр, почему нос повесили, не заболели ли?», глянув в глаза насторожившейся мамы, бодро ответил: «Да нет, не заболел… Жалко Америку покидать». И тут же, неожиданно для мамы, чиновника и (особенно) для папы, который редко (из-за занятости и разъездов по стране) видел меня, запел весьма легкомысленную песенку, подслушанную у мальчишек во дворе. Смысл ее заключался в том, что ковбой остается ковбоем до тех пор, пока женщины не отказывают ему в ночных забавах. Мама рассказывала, что хорошо запомнила смеющуюся физиономию чиновника, даже подпевшего мне окончание строчки. (Не в этот ли миг родился во мне азарт к перевоплощению и лицедейству?) Мы благополучно проследовали на борт океанского лайнера и поплыли навстречу новым декорациям.

Солнце (продолжая свое занятие) всходило и заходило. Менялись декорации. Вдали все отчетливее слышались марши! Бравые! Следующая моя «загранкомандировка» была в Германию. В 1930 году я «привез» родителей в Берлин, а сам поселился в сорока километрах от них – в городе Хангельсберге на Шпрее, в пансионате мадам Вартенберг, специально для таких, как я, молодых «руководителей» своих пап-дипломатов. Конечно, отец тайком от меня опять нашел себе работу. Да какую! Представителя СССР! Отец рос… вместе со мной. Особенно он вырос в моих глазах, когда зашел в магазинчик, расположенный рядом с пансионатом, представил меня его владельцу, оставил ему какую-то сумму денег и договорился с ним, что я буду приходить в магазинчик и получать соблазнительные для меня фрукты, сладости. Дал ему свой берлинский адрес и просил сообщить, когда я проем все деньги, чтобы привезти новые. Молодец папа! Моя школа! Мама – тоже молодец! Она перещеголяла папу – привезла мне велосипед!

Ассортимент товаров в магазине был явно «провокационный», не соответствовавший соцреализму и нашей регулируемой централизованной торговле. Посудите сами: от фисташек – до огромного арбуза, от вишенки – до большущего ананаса, от банана – до волосатого кокосового ореха, от маленькой бутылочки малинового сока – до пятилитрового баллона сока виноградного, от маленькой конфетки – до трехкилограммовой плитки шоколада с орехами, от маленького пирожного – до двух-трехъярусного, размером в стул, торта. А еще – марципаны,

яблоки, груши, инжир, чернослив, лимоны, апельсины, абрикосы… Хватит! Понятно, что все это было нарочно подобрано «шпионами» с явной целью – подорвать наше советское могущество и задеть нашу патриотическую гордость!

Чуть-чуть отвлекусь. Никуда от нас шпионы с марципанами не уйдут… Один умный человек – священник Александр Ельчанинов – хорошо сказал: «И гордость, и самолюбие, и тщеславие – все это виды одного основного явления: обращенности на себя. Откуда же берется эта страсть? Вначале это только занятость собой. Человек любит казаться оригинальным, поразить парадоксом, острить… Говоря о чужом горе, бессознательно говорить о себе: „Я так был потрясен, до сих пор не могу прийти в себя“. Одновременно – огромная зависимость от чужого одобрения, искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии… Уверенность в себе часто переходит в страсть командования; человек посягает на чужую волю, распоряжается чужим влиянием, временем, силами, становится нагл и нахален… Душа становится темной и холодной, в ней поселяются надменность, презрение, злоба, ненависть… целью становится – вести свою линию, посрамить, поразить других… Наконец на последней ступеньке человек разрывает с Богом. Он разрешает себе все!»

Гениальные строчки! Вот только забыл, на кого я хотел намекнуть: то ли на владельца магазина; то ли на нас, в недавнем прошлом гордых строителей светлого будущего; то ли на тех, кто до сих пор «героически» борется за то, чтобы на нашей земле никогда не было такого «свинства», как в маленьком, да еще частном магазинчике 1930 года. Не помню! Не помнил! После октября 1993 года понял, о ком речь!

Ну, да Бог с ним, с магазинчиком! В пансионате мадам Вартенберг я на всю жизнь полюбил простую овсяную кашу – «геркулес» (или «корнфлекс», как она называлась по-немецки). Но главное, что я уже тогда понял, – фашизм ужасен!

Уже тогда, интуитивно ощущая правильность курса на дружбу с африканскими странами, я подружился с негритянским мальчиком Отчи моего возраста. Я помню, как нас не принимали в свои компании дети английских, итальянских и немецких дипломатов. Мы были парнями попроще, менее капризными, и, очевидно, поэтому к нам была очень внимательна милая мадам Вартенберг.

Родители приезжали раз в неделю, рассказывали о бурных событиях, происходивших тогда в Германии. Перед выборами на заборах, на стенах домов наклеивались плакаты с разными

номерами. Для пропаганды, агитации и привлечения на свою сторону избирателей каждая партия имела свой номер. Партии соревновались не только в обещаниях благ, но и в количестве плакатов. На заборах и стенах домов наибольшее впечатление производила та цифра, которая количественно преобладала над другими. Это было результатом активности расклейщиков. Ну а избиратели старались побольше сорвать плакатов с номерами противной им партии.

Я закалялся в этой борьбе как политический боец и, зная номера коммунистов и фашистов, что было силы срывал номера последних. Если бы вы могли себе представить, что творилось среди нас, мальчишек! Мы подглядывали друг за другом, знали, кто какие плакаты срывал. Определяли, какой партии симпатизировал тот или иной. Бурлившая в стране многопартийная кампания в нашем пансионате порождала открытую враждебную неприязнь и даже драки.

В 1933 году, к великому несчастью для истории, победил номер, принадлежавший фашистам. Нас тогда уже не было в Германии, и мне в моей мальчишеской фантазии казалось, что именно поэтому они победили.

Спектакль «Чистка»

Занавес!

Голубое загадочное небо. Звучит церковное пение. В луче солнца возникает Владыка. По небу летают ангелы и ракеты, боги и вертолеты…

Владыка. «Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: „…Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся… Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы…“»

Звучит бодрый марш. Затем другой – еще бодрее. Дым. Костры. В их пепле тлеет Логика. Из тлеющей Логики вырастает голгофа. На ней – мой Папа. Он в невзрачной спецовке, но с двумя орденами Красного Знамени и орденом Ленина на груди… Вокруг Папы летают разные люди с портфелями и почему-то все – на одно лицо…

Молнии над голгофой четко высвечивают: «Кривой Рог. 1935 год».

Уверенный голос. Товарищи! Прошу тишины! Внимание!

Начинаем чистку члена ВКП(б) с мая 1917 года, партбилет номер 241599, начальника Криворожстроя Весника Якова Ильича. Как известно, в ряды нашей партии проникли чуждые элементы, двурушники. Поэтому Центральный Комитет во главе с «отцом всех трудящихся» принял решение о проведении чистки всех членов и кандидатов. Прошу задавать вопросы товарищу Веснику.

Голос из зала. Вы участвовали в первой русской революции?

Весник. Да.

Второй голос. Вам в 1905 году лет десять было? Не больше?

Весник. Одиннадцать. В Минске, в моем родном городе, распространял листовки. В доме прятал печатный станок.

Голос из зала. Кто ваши родители?

Весник. Мать – домохозяйка, отец – купец.

Голос из зала. И он разделял пролетарские убеждения?

Весник. Думаю, нет. Но однажды помог выкупить из тюрьмы приятеля-большевика. Отец богачом не был: он торговал бочками. Поэтому, наверное, и поступил так.

Голос из зала. Вы Зимний штурмовали? Керенского видели?

Весник. Увы, не довелось. Мой отряд Красной гвардии

Выборгского района атаковал дворец со стороны Миллионной улицы.

Голос. Боевые ордена у вас – за гражданскую?

Весник. Да. Награжден двумя орденами Красного Знамени и золотыми именными часами, как член реввоенсовета 8-й, 5-й, 15-й И 11-й армий. *(Одобрительный гул летающих и жужжащих.)*

По небу летят и ржут кони. Видны мигающие пулеметные очереди. Люди убивают друг друга словами и пулями. Слышен стон раненых в душу, поэтому много живых трупов… Гром. Молния пишет на облаке: «Баку. Март. 1921 год».

В «театральный бинокль времени» видно отдельную палату в военном госпитале. На койке лежит Яков Весник. Приподнимается. Смотрит на дверь. Достает из-под подушки маузер. Взводит курок. Появляется медсестра, бросается к больному, пытается вырвать из его рук оружие, тот сопротивляется, она ударяет его по забинтованной ноге. Маузер падает на пол…

Медсестра *(тяжело дыша)*. Как вы могли? Стыдно! *(Она разряжает маузер, кладет патроны в карман халата.)* Как глупо! Сердце должно остановиться само, понимаете? Вам двадцать семь.

Медсестра продолжала, бледнея и краснея, со слезами на глазах, что-то говорить. Но услышать ее было невозможно, так как ее заглушила мощно зазвучавшая в оркестре удивительно нежная мелодия… И лишь много лет спустя я узнал все-таки, о чем моя будущая мама говорила моему будущему папе… Она говорила, что вместо лечащего папу неопытного врача необходимо пригласить другого, потому что никакой гангрены ноги нет, что ампутация не нужна, что она готова посвятить папе жизнь, что влюблена в него… После таких слов громко зазвучавшая нежная музыка на минуточку чуть-чуть притихла, и последние слова моей мамы в этой сцене можно было расслышать.

Мама. Да повернитесь вы к даме лицом, когда (заплакала)… когда она вам объясняется в любви… *(С сердцами будущих моих родителей творится черт-те что.)*

И сразу – уже знакомый **Уверенный голос**. Говорят, вы служили в царской армии? Не офицером ли?

Папа *(снова на голгофе, где тлеют костры)*. Нет! В звании ефрейтора был ранен в Восточной Пруссии. После лечения

слесарил на заводе «Айваз» (ныне «Светлана»), где мастером цеха работал Михаил Иванович Калинин. Потом окончил Политехнический институт…

Второй голос. А за границей как оказались?

Папа. Изучал по заданию правительства металлургическое дело в Соединенных Штатах, Германии… Пришлось заниматься проектированием и закупкой оборудования для Магнитки, Кузнецка…

Третий голос. А я вот слышал, что папаша вам из Америки «форд» прислал. И говорят, денег у него – куры не клюют. На весь наш завод хватит? *(Все летающие с портфелями жужжат, скалят пасти с запломбированными дуплами в зубах мудрости.)*

Весник. От такого родственника не отказался бы: только, увы, отец давно умер в Минске. Мать-старушка с братом в Москве живут. Что касается «форда», так он не мой. Он служебный. Его выделил нам нарком. Придет новый директор – его возить будет. Да и не разъездишься по нашей стройке – колдобина на колдобине.

Голос. А вы своим аэропланом летайте!

Весник. Самолет тоже служебный!

Интерлюдия

В 1932 году отец был назначен директором строительства огромного металлургического комбината – Криворожского. Он был человеком, не признававшим никаких льгот и привилегий, фанатически преданным работе, с обостренным чувством справедливости. Будучи директором крупнейшего завода, отец получал оклад в два раза меньше оклада матери, заведовавшей птицефермой. И назывался его оклад – партмаксимум. Он стеснялся надеть новый костюм, давал его поносить брату, а затем, уже поношенный, надевал на себя. Автомобиль, выделенный ему наркомом для служебного пользования, посылал для перевозок больных рабочих, женщин, детей. На работу часто ездил на трамвае вместе с рабочими. Праздновал новоселья в бараках вместе с ними, знал почти всех по имени и отчеству.

На Украине свирепствовал голод… Однажды мать приняла от хозяйственников подарок: маленький

бочоночек сельдей килограммов на 5–6. Отец, узнав об этом, замахнулся на мать. Не ударил, но замахнулся и сдержал себя. Я это видел. Потом заставил мать отнести бочоночек жившему с нами в одном доме хозяйственнику.

Молния высвечивает на небе: «Кривой Рог. 1933 год».

Энергичный голос. Товарищ Весник! Как с домной-то? Ничего не понять! В который раз в городской газете объявляют: вот-вот пойдет первый чугун, а его все нет и нет.

Голоса. Авария в насосной! Враги! Саботаж! Работа троцкистов!

Папа. Самые заклятые враги – это наши расхлябанность и халатность. *(Непонятно что выражающее всеобщее жужжание.)* Тем не менее не волнуйтесь, первый чугун выдадим в срок. *(Жужжание усилилось, добавились хихиканье и аплодисменты.)*

Уверенный голос. А все-таки, товарищ Весник, объясните, почему капиталистические порядочки заводим? Занавесочки, цветочки, салфеточки, как у буржуев, отрезвитель… Издеваетесь, да?

Папа. А разве плохо? Воров и пьянчужек из магазинов и столовых поубирали. В гостинице «Металлург» салфетки да вазы с цветами появились. Симпатично! Разве это плохо? Люди наши курятину едят. Детей на море в пионерлагерь возим. Ресторан раньше убытки давал, теперь от дотации отказался! О наших женщинах газеты писать начали! За такие, как вы говорите, капиталистические порядки нашим женщинам-активисткам, да и моей жене, не постесняюсь сказать, мы, мужики, должны огромное спасибо сказать! *(Бурные аплодисменты. Но и жужжание.)*

Интерлюдия

Моя мама до гражданской войны училась в консерватории. После войны пела в опере и лишь переход отца на дипломатическую работу за рубежом прервал ее музыкальную карьеру. А узнав, что после работы в Германии отца ждет работа по восстановлению индустрии в России, она успела окончить у немецких специалистов курсы по птицеводству, чтобы быть

полезной на новом месте работы. И, надо сказать, оказалась очень полезной: стала заведовать небольшой птицефермой, помогала обеспечивать продуктами буквально голодавших в 1933–1934 годах рабочих и инженеров завода. Помимо этого, она стала инициатором всесоюзного движения жен инженерно-технических работников за улучшение быта трудящегося люда, за что была награждена орденом Трудового Красного Знамени в 1936 году.

Зазвучала удивительная по красоте музыка. Послышалась песня «Сегодня весело живем мы, а завтра будет веселее» в исполнении всех оркестров, хоров и певцов всего Союза сказочно свободных народов…

Огромный портрет любимого мудреца, знатока русского языка, самого плодовитого отца всех времен, отца всех и вся, во весь рост, в сапогах, с дымящейся сигарой в виде трубки во рту проявился в районах созвездий Гончих псов и Скорпиона… Только маленькие чертенята с большими ушами и длинными хвостиками шуршат по небу, стряхивают пыль с «отца родного» и этой пылью выписывают надпись: «Кривой Рог. 1936 год».

Моя мама, счастливая, красивая, разрумянившаяся, говорит по телефону, установленному на седьмом небе, с папой, очень печальным, сидящим где-то на втором с половиной небе…

Мама. Да, да… У всех на глазах Сам орден Трудового Красного Знамени вручил, а потом букет цветов… Я обомлела. Помахал мне рукой – той, которая у него… *(мах получился укороченным)* и сказал: «Ордэн за общественную работу, а цвэты за лучшее выступление в Крэмле!» *(Эту последнюю фразу произнес Сам, оживший на портрете в небе владелец сапог и трубки)* …Яша, почему ты молчишь? Алло?

Папа *(в трубку)*: Процесс в Москве начинается. Над Каменевым и Зиновьевым. Серго утром звонил. Среди обвиняемых есть кто-то из работавших у нас на заводе… Кто – не сказал. Пока ты отсутствовала, «гости» приезжали, интересовались, о чем говорим, думаем, с кем дружим…

Мама. Мы?

Папа. Мы…

Мама *(показывая на ордена отца и свой)*. После этого?

Папа. Тебе орден вручили не в НКВД!

Мама. Сам! Сам! Сам вручил!

Папа. Несколько дней тому назад «гость» сказал моему заместителю: «Третью домну нужно ввести на полгода раньше».

Тот ответил: «Зачем? Чтобы потом год доделывать? Сколько можно: косо, криво, лишь бы живо?» Гость обозвал его вредителем, и на следующее утро заместителя арестовали. За два часа до твоего приезда я получил вызов в Москву. По какому вопросу не сказали. Вот такие, Генюша, оладушки…

Мама. Яша, ты с ума сошел… Совсем недавно Серго тебя в газетах хвалил. Чуть ли не в наркомы прочил!

Папа. Я уезжаю.

В небе появился «Гость» с телефонной трубкой в руках, с крылышками за спиной. Крылышки ему чистят чертенята.

«Гость». Почему вы не присутствуете на партийном собрании?

Весник. Во дворе меня ждет машина. Я уезжаю.

«Гость». Кто разрешил? Куда?

Весник. В Москву. В наркомат.

«Гость». О подобном ставят в известность горком партии. Как же так, Яков Ильич? Я думал, вы выступите на собрании, объясните, как просмотрели вредителей…

Весник. Я не могу против моего заместителя выступать. Он честный человек.

«Гость». Вы что – НКВД не верите?

Весник. В НКВД тоже люди. Они могут ошибаться. *(Папа еще что-то говорит, тяжело дыша, но его не слышно.)*

Загремели громы, засверкали молнии, а улыбнувшийся огромный «родной отец и учитель» опустил перед папиным носом заскрипевшую тяжелую ржавую решетку. Папа удаляется в глубь космоса, дальше, дальше, он уже неразличим. А на облаке, появившемся из глубины, через решетку видна надпись: «Москва, 1937 год. Квартира Весников». Из темноты под этой надписью высвечиваемся я и Мама.

Я. Мам, стучат! Ма-ма-а-а!

Мама. Кто там?

Голос. Откройте.

Это слово тысячекратно множится вдали, вблизи, слева, справа, сзади: «Откройте. Откройте. Откройте»… На низких тонах, на высоких, большими и малыми хорами, отдельными голосами. На небе возникают названия очень многих городов малых и больших. Слово «откройте» звучит с различными акцентами, на разных языках: «Откройте… Откройте… Откройте…»

Мама. Кто вы?

Второй голос. Телеграмма. Открывайте. *(Мама открывает дверь, вмонтированную в клетку… Входят два молодых человека в одинаковых бостоновых костюмах. Они похожи на летавших вокруг папы, стоявшего на голгофе.)*

Первый бостоновый. Кто еще в квартире?

Мама. Никого. *(Мама делает шаг в сторону: меня знобит и я сажусь на стул.)*

Второй бостоновый. Стоять!!! *(Начинается обыск.)*

Первый бостоновый. Оружие в доме есть? *(Мама отрицательно качает головой.)*

Второй бостоновый. Одевайся…

Мама. Женя, запомни: твои родители ни в чем не виноваты. Все образуется!

Первый бостоновый. Молчать! Вперед! *(Маму уводят.)* «Отец всех живых и мертвых» улыбается из созвездия Гончих Псов.

Особенно ярко освещены его сапоги. Голова освещена меньше…

Дрожа и обливаясь слезами, я закричал в пустоту: «Ма-а-а-а! Ма-а-а-а!»

Интерлюдия

В июне 1937 года отец уехал в Москву выручать своего арестованного заместителя. И не вернулся в Кривой Рог. Он был тоже арестован. Мама и я срочно выехали в Москву, где на Донской улице в доме № 42 у нас была 4-комнатная квартира. Искали отца, пытались обнаружить его следы. Тщетно.

Впоследствии на все вопросы мне отвечали: «Умер в Москве», «Умер в Норильске»… Теперь я знаю, что он расстрелян в 1937 году. По сохранившимся копиям допросов становилось ясным, что он остался до конца жизни таким, каким я запомнил его: честным, не способным на гадость, не предавшим никого из сослуживцев. Я не знаю, где могила отца! Он покоится в сердце моем до последнего его удара.

В ноябре, не помню какого числа, в 5 утра пришли за мамой. Обыск. Вещи и бумаги летали по комнатам, как вспугнутые птицы. Каким-то чудом мама сунула мне в трусы сберкнижку, как потом оказалось – на

предъявителя, вклад всего 800 рублей. Слава Богу, меня во время обыска не заставили снять трусы! Опечатали три комнаты, мне оставили одну маленькую, в 12 квадратных метров, разрешив перенести в нее кое-что из других: книги, вещи отца, кровать, кресло, посуду. Помню, как меня бил озноб на нервной почве. Помню, как мама поцеловала меня и сказала: «Запомни, Женя, родители твои честные люди, и что бы ни было, никому не удастся запятнать их имена!»

Ее увели, а по радио ровно в 6 часов запели: «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля!» Мне было 14 лет.

Через два дня и тоже рано утром пришли за мной. Два человека: один в штатском с выпиравшим из-под пиджака пистолетом, другой – наш дворник-татарин, очевидно в роли понятого. Велели взять с собой смену белья, запасную рубашку, кепку, кое-что из съестного, полотенце, мыло и, сказав, что сюда я больше не вернусь, увели на улицу.

У ворот нашего двора стояла какая-то грузовая машина, по-моему, «АМО». В кузове сидели на корточках несколько мальчишек примерно моего возраста и один-два младше меня. Испуганные, безмолвные. Присел рядом, спросил, куда нас везут. Узнал – в лагерь для детей врагов народа. Мужчина с пистолетом сел рядом с водителем, дворник ушел к себе.

В кузове с нами находился охранник с винтовкой, он стоял к нам спиной, держась за кабину шофера. Мы проследовали по Донской улице мимо завода «Красный пролетарий», объехали справа Донской монастырь. Стало ясно, что грузовик выедет с правым поворотом на Калужское шоссе, теперешнее начало Ленинского проспекта, и продолжит путь или дальше за город, или снова направо, к центру Москвы. Быстро все сообразив, увидя, что боковые ворота Донского монастыря открыты, я тихонечко приподнялся и, воспользовавшись небдительностью охранника и замедлившимся на повороте движением грузовика, сполз с невеликим своим багажом на дорогу и как мышь юркнул в открытые спасительные ворота…

Великое спасибо тем ребятам за то, что не испугались, не предали меня, не привлекли внимание охранника ни единым звуком и дали мне возможность избежать их, конечно суровой, судьбы! Если кто-то

остался в живых из тех, кто сидел в кузове, и помнит описанный эпизод, примите коленопреклоненное спасибо! Спасибо вам, замечательные бывшие мальчишки!

Дальнейшие события развивались, как в детективном кино. Я выскочил на Шаболовскую улицу, быстро добрался на трамвае и автобусе до Курского вокзала, нашел – повезло – через несколько минут отходивший поезд на Харьков! Выбрал чуть полноватую проводницу (у меня с детства добрые люди ассоциируются с образом отца, который к последнему, 43 году своей жизни стал немножко полнеть – раненые ноги не позволяли много двигаться), поведал ей все. Сказал, что хочу скрыться в Харькове на квартире помощника моего отца – юриста Ивони. Мне повезло, я не ошибся в доброте полноватой проводницы. Она спрятала меня на верхней полке за тюками постельного белья, дала погрызть яблочко, и мы двинулись в путь.

Месяц я прожил в темной комнате-чулане с приходившими в гости крысами и черными тараканами. За этот месяц Ивони (прошу прощения, не помню его имени и отчества) связался с Зинаидой Гавриловной Орджоникидзе (наша семья была очень дружна с семьей Орджоникидзе). Она связалась с Михаилом Ивановичем Калининым, под началом которого мой отец еще до революции начинал слесарить на заводе «Айваз» в Петербурге. Они решили спасти меня от печальной лагерной жизни.

Дали знать, что надо срочно явиться в приемную Калинина. Быстрые сборы, прощание с Ивони – и я в Москве. Прямо с поезда на Моховую улицу, в приемную. Прошу доложить, что сын Якова Весника прибыл. Представляю, каково было удивление ожидавших приема, когда какого-то мальчишку, чуть ли не с котомкой в руках, секретарь председателя ВЦИК провел вне очереди в кабинет всесоюзного, как его называли, старосты.

Калинин знал меня совсем маленьким. Мы часто бывали у Орджоникидзе в их кремлевской квартире, где иногда бывал и Михаил Иванович. Первая фраза после: «Здравствуй, Женя» – была тихо произнесенная: «Маму тоже взяли?» Я сказал: «Да». Михаил Иванович спросил, есть ли у меня родственники в Москве. Узнав, что есть, пожелал мне успехов в учебе, дал какие-то деньги,

сказал, что меня никто не тронет, пожал мне руку и приказал отвезти домой. Со мной поехал какой-то человек, привел меня в домоуправление, показал запись в домовой книге: «Несовершеннолетний Евгений Яковлевич Весник, учащийся средней школы, прописан постоянно на площади комнаты в 12 квадратных метров в доме № 42, в квартире 57 по распоряжению М. И. Калинина».

Сургучная печать на двери комнаты была сорвана, и я стал ее постоянным жителем. Остальные три комнаты были украшены сургучом с веревочками и следами грозных печатей. До сих пор я не могу спокойно смотреть на застывшие кружки из сургуча. Они пугают меня своей безжизненностью, мне всегда кажется, что все то, что несет на себе холодный сургуч, обязательно таит зло!

Итак, холодный сургуч был снят с моего будущего, и началась полная неизвестности и тревог самостоятельная жизнь. 15 января 1938 года мне исполнилось 15 лет.

В небе парил «отец родной». Сквозь его китель просвечивало неровно бьющееся сердце. Знакомый голос зазвучал где-то над «отцом народов» высоко-высоко и далеко-далеко от него.

Я узнал голос **Владыки**. «Добрый человек из доброго сокровища (сердце „отца всех“ не мигает) выносит доброе, а злой человек из злого сокровища (сердце под кителем замигало) выносит злое».

Почему-то где-то зазвучала «Лезгинка», послышалась пальба из пушек, и кто-то, тяжело вздохнув, прошептал: «Антракт».

Интерлюдия

Так в 1937 году я вдруг потерял отца и мать: отца навсегда, мать на 18 лет. И остался один в 14 лет. Несмотря на пережитую трагедию, я испытываю гордость за отца и мать, ушедших из жизни, победив тех, кто пытался уничтожить их не только физически. Я знаю, что отец победил расстрелявших его. Не знаю тех, кто

издевался над моей матерью в тюрьмах и лагере, знаменитом лагере «Алжир» под Акмолинском для жен врагов народа, а потом еще в ссылке. Но знавшие мать и здравствующие доселе добрые люди уважительно вспоминают ее и ставят в пример другим. Отец и мать реабилитированы. Именем отца названа улица в городе Кривой Рог, открыты мемориальные доски с именем Якова Весника, память о нем сохраняется в музеях завода «Айваз» (ныне объединение «Светлана»), Криворожстроя.

Я счастлив, что до сих пор, будучи уже пожилым человеком, приезжая в Кривой Рог, встречаю людей, вспоминающих отца добрыми словами. А прошло ведь более полувека!

Моя мать после 18-летнего изгнания из общества вернулась в него, преподав многим, и мне в том числе, уроки мужества, стойкости, оставшись после ужасных лет унижений и травли такой же психологически здоровой, энергичной, красивой женщиной, какой была до 1937 года. Это ли не победа над мерзавцами!

Несмотря на крутые повороты в истории страны, из которых толковые, прогрессивные принимаю всей душой, я не могу ни осудительно, ни с иронией отнестись к революционному и партийному фанатизму моего отца. Потому что – я это знаю точно – ни в каких преступлениях и заговорах он не участвовал и был абсолютно честным человеколюбом! Поэтому и расстрелян.

Запели, загудели, завздыхали колокола.

Антракт закончился. Небо снова рассценилось, затеатралилось… Бинокли направлены на созвездия Гончих Псов и Скорпиона. Там из-за «облаков-кулис» выглянули огромные – в размер целой эпохи – сапожища. Самого «отца сапог и всех народов» не видно.

Раздался душу лечащий голос **Владыки**: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их… Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые».

Веселая маршевая музыка заглушает колокольный звон. Летающие вокруг сапожищ сатанята укрепляют между голенищами транспарант, выписанный буквами из убитых

горлиц: «Москва. 1937 год».

Из миража вырисовывается поясной портрет «вождя». Он висит точно над сапогами, и создается впечатление целостности личности, то есть гармония сапог и всего того, что выше… Проявляется кабинет следователя на Лубянской площади. Два бостоновых джентльмена вводят в кабинет Маму.

Следователь *(привставая из-за стола)*. Евгения Эммануиловна, входите, входите. Будем знакомиться. Капитан Икс.

Мама. За что арестован муж?

Следователь *(с сочувствием)*. Садитесь. Ваш муж арестован, как враг народа.

Мама. Он не может быть врагом народа!

Следователь. Не торопитесь, уважаемая, не торопитесь. Вы хотите установить истину?

Мама. Конечно.

Следователь. Значит, помогайте следствию. *(Смотрит на лист бумаги.)* У вашего мужа, 1894 года рождения, есть старые грешки… Всего год назад, в августе 1936 года ваш супруг Криворожским горкомом партии был исключен из ВКП(б) за пособничество троцкистам: он помогал некоему Дрейцеру, одному из тех, кто замышлял убить товарищей Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Орджоникидзе и многих других. Дрейцер, бывший начальник личной охраны Троцкого, работал у вас на заводе в Кривом Роге. Это – факт?

Мама. Да. Но разве неизвестно, что моего мужа восстановили и в партии, и в должности буквально через десять дней после исключения? Специальным постановлением ЦК партии, опубликованным в центральной печати. За него поручился Серго Орджоникидзе. И Сталин был осведомлен об этой ошибке.

Следователь. Знаю. Но согласитесь, довольно странно: подручный троцкистов летает на самолете вашего мужа в Москву, поддерживает связь с заграничными центрами, а никто, в том числе и ваш муж, ничего не замечает. Удивительно!

Мама. Дрейцер работал в Кривом Роге меньше года. Коммерческим директором завода. И его частые разъезды были абсолютно естественны, по крайней мере, для нас. Уверяю вас, Яков Ильич не мог замышлять чего-либо плохого. Особенно против Серго. Это невероятно. Они дружили с Серго с гражданской…

Следователь. Хорошо. Пойдем дальше. В длительных командировках за рубеж вы сопровождали своего мужа. Так?

Мама. Так.

Следователь. Припомните, пожалуйста, в Германии он

никого из немцев не приглашал к себе? Или, может быть, немцы вас приглашали?

Мама. Приглашали. Как правило, коммунисты, наши товарищи.

Следователь. Вы сказали, «как правило». Значит, были и иные встречи?

Мама. Не помню. Пожалуй, все-таки с членами партии.

Следователь. Пожалуй или точно? Не очень ясно.

Мама. Просто я волнуюсь. Вы что, подозреваете, что Весник – шпион? Но это же, простите, полнейший абсурд. Ему поручали закупать современное металлургическое оборудование для Магнитки, Кузнецка. Это была его главная задача. А для этого приходилось общаться с разными людьми: деловыми, политиками, специалистами. Кстати, фирмы и заводы там возглавляют не коммунисты…

Следователь. Да-да, разумеется.

Мама. Мне обещали встречу с мужем.

Следователь. Это от вас зависит в первую очередь, когда и где состоится такая встреча. *(Встает, ходит. Внезапно.)* А ведь вы нам врете! Все вы прекрасно знаете и помните. И встречи, и шикарные подарки, и шифрованные письма! *(Пауза.)* На кого и для чего учили вас в Оберзее?!

Мама. Как вы… Я…

Следователь. Молчать! Встать! В карцер захотелось? Хватит крутить вола! Рассказывай! Думаешь, нам не известно, что твой муженек в одной армии с Тухачевским служил? *(Кладет перед ней бумагу.)* У нас достаточно материала, чтобы вас обоих расстрелять и без официального признания. Но неужели не захотите выскоблить, вычистить себя перед народом? Пиши: виновата, помогала троцкистам, хотела с мужем завод взорвать. Признавайся во всем, тогда свободу увидишь. Вот ручка, давай, пиши…

Мама. Мой муж – честный человек! И честный коммунист!! Вы что же – донос на собственного мужа предлагаете мне сочинить?

Следователь. Утром встретимся. *(Джентльмены уводят маму.)*

На небе вдруг стало темно, как будто кто-то выключил электричество, но буквально на несколько мгновений, и снова стало светло… «Ночь» пролетела как стрела… Театр!

Снова тот же кабинет.

Мама. Я заявляю протест. Согласно Конституции, никто не может быть арестован без ордера прокурора…

Следователь *(резко)*. Вот ордер на ваш арест. (Кладет перед ней.) Скажите, только без дураков: неужели копаться в курином помете такой красивой, пахнущей хорошими духами даме интереснее, чем выступать на сцене, ловить восхищенные взгляды? А? Вы ведь *(смотрит в записи)* пели в середине двадцатых годов в частном театре в столице. Да?

Мама. Я настаиваю, требую свидания с мужем!

Следователь *(помолчав)*. Мне почему-то кажется, вам не совсем понятно, что в вашей жизни произошли большие перемены… Ну как бы вам сказать… Отцвел, отплодоносил – уступи место другому. Воздай, как говорится, дань мудрости природы. Время от времени требуется убирать лишнее, вредное. Напрасно вы не желаете очиститься перед нами… ради оздоровления народа!

Мама. Попахивает фашизмом…

Следователь. *(Бьет ее по лицу.)* Сука!

Следователя затрясло, согнуло… Он ищет по карманам, очевидно, лекарство, но поздно – он падает на пол: начался эпилептический припадок… Вместе с джентльменами мама помогает больному прийти в себя.

Непонятно почему немножко повыли волки. Как только оркестр заиграл бодрый марш, на небе появился сам «вождь», поставил перед собой огромную толстенную книгу под названием «Акмолинский лагерь ГУЛАГа. 1942 год».

Книга открывается, и мы видим: барак, нары. Полумрак. Входят три женщины. На них грязные робы, в которых они похожи на бесполые существа, платки скрывают лица. Одна из женщин – МАМА, снимающая с себя одежду.

Первая женщина. Тш-ш… *(Прислушивается.)* Что это?

Вторая женщина. Пойду гляну. *(Уходит.)*

Женщины в полумраке продолжают раздеваться.

Возвращается **Вторая женщина**. *(Тоже снимает одежду.)* Помните, Зинке охранник прикладом зубы повыбивал? А корни-то острые остались. Ворочать языком ей трудно. Раздобыла где-то напильник, несчастная, подравнивает… Слышите? *(Все прислушиваются.)* Ох, Господи Боже ты мой, бедная…

Света стало больше. Видно, что женщины молоды, красивы. Их жесты легки и естественны. Они расчесывают волосы, прихорашиваются, словно дома, а не в бараке.

Голос *(за облаком)*. Почта! Почта!

В барак падают две небольшие посылки. Одна из них, мною посланная, и несколько писем. Пауза.

Первая женщина *(глухо рыдает, держа в руке письмо-треугольничек. Сквозь рыдания)*. Как это в Библии сказано: «Всему и всем одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому… Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем». За что? Зачем? Ему всего восемнадцать было… *(Плачет.)*

Прижавшись друг к другу, женщины молчат. Мама протягивает подружкам гостинчики из моей посылки… Тишина… Слышен лишь хруст сухарей на зубах. Вторая женщина потихонечку, опустив голову, затягивает какую-то печальную песню, слов не понять… Первая встает и заводит под песню странный и непонятный танец. Мама уставилась в одну точку – там ей улыбается папа, а я кричу «ма-а-а, мма-а-а-а!!!» Первая, не прекращая танцевать, нервно, истерично хохочет, потом кричит во всю мочь: «За что??!!» И падает в обморок. В наступившей тишине множество голосов кричат: «Тихо, суки!»

В небе творится черт-те что… Поют, стреляют, рассыпаются блестки фейерверков, целуются ангелочки. «Вождь всех времен» поднимает большой бокал, что-то говорит (плохо слышно): «Во-пэрвых», потом еле-еле слышно: «Во-вторых»… И где-то в конце: «За вэликий русский народ». Идут цирковые представления, женщины-матери плачут от горя и от счастья. Все ревет и стонет. Клоун хохочет, а из глаз почему-то брызжут вперед метра на два от него – слезы!

На седьмом небе Мама и я. Она – седая, я – худенький студентик с двумя медалями «За отвагу» и орденом Красной Звезды и значком «Гвардия» на груди. Мы устраиваемся поудобнее в уютной машине времени и говорим, говорим, говорим. Я – о том, как сложилась моя судьба с 1937-го по 1946 год и про войну. Она – про тюрьмы и лагеря.

Интерлюдия

Я наблюдаю за мамой тех лет… Несмотря на то, что после освобождения из лагеря ей не разрешали жить со мной в Москве (называлось это «забота» о таких освобожденных заключенных, то есть осужденных без предъявления обвинения, «минус 100 городов»), она увлеченно преподавала музыку детям городов Савелово и Кимры, завоевала симпатии и уважение всех с ней

общавшихся людей. Осталась такой же доброй и жизнелюбивой, какой и была до «упражнений» вождя с судьбами людскими. И никакого озлобления, никакой трусости – лишь гордое чувство своей невиновности перед Родиной и своего достоинства гражданского, человеческого, политического и женского!

Спектакль приближается к финалу. Уже прозвучали слова Хрущева, разоблачившие кошмары, творившиеся при «сапогах и усах», прозвучал текст реабилитаций…

Финальная сцена небесно-земной истории-спектакля: облака превращаются в кремлевские стены… Зрители и я въезжаем (благодаря оптическому обману) через ворота в кремлевский дворик. Таким же образом нас «въезжают» в красивую гостиную, богато убранную и с большим портретом нового главного человека (без волос и без сапог, но со скрытой страстью снимать с себя обувь). Два человека: Большой-большой (небольшого роста) чиновник и красивая, седая – моя Мама…

Чиновник *(в бостоновом костюме. Над ним загорается рубиновая звезда)*. Уважаемая Евгения Эммануиловна, разрешите мне по поручению советского правительства вручить вам орден Трудового Красного Знамени, незаслуженно отнятый у вас двадцать лет тому назад. *(Вручает, прикрепляет.)*

Огромный оркестр из множества «музыкантов» по сигналу дирижера (в бостоновом костюме) движениями смычков, усилиями надутых щек духовиков, к которым присоединились сотни ударников, извлекает абсолютную тишину! «Много тишины из кажущегося шума» или «много кажущегося внешнего шума из внутренней тишины»…

Чиновник. У меня для вас есть еще одна весть *(вручает Маме конверт)*: за подписью заместителя председателя Военной коллегии Верховного Совета Союза ССР товарища Борисоглебского дело по обвинению Якова Ильича Весника пересмотрено. Приговор Военной коллегии от 17 ноября 1937 года отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Ваш муж реабилитирован. Посмертно. Поздравляю.

Ожила рука дирижера с палочкой, надуты щеки, палочки бьют в барабаны, смычки «зачесали» по струнам, но по-прежнему звука нет…

Чиновник *(над ним горит рубиновая звезда)*. Не желаете ли что-нибудь сказать? *(Над мамой появляется размеренно бьющееся*

огромное сердце, может быть, чуточку взволнованнее, чем обычно.) Я спрашиваю вас, не хотите ли сказать несколько слов?

Мама *(с прикрепленным на груди орденом)* медленно отрицательно качает головой.

Я, наверное, только я заметил, как блеснули в ее глазах слезинки. Оркестр ожил, задвигался всеми своими руками, щеками, смычками, металлом и деревом… Но почему-то (о чудо!) звучит только рояль – любимый мамой великий, добрый, мудрый, неистовый и ласковый, лиричный Рахманинов, тот, которого мама пропагандировала детям в музыкальных школах Кимр и Савелово, мелодии которого напевала в тюрьмах и лагерях…

Прилетевшая стая горлиц закрыла собой все прелести Кремля.

Зазвучал голос **Владыки**. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся… Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят… Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Горлицы летали, летали и вдруг, замерев в полете, образовали своими тельцами надпись: «Спектакль под названием „Чистка“ закончился». Занавес!

Интерлюдия

В Долгинцево (район Кривого Рога) есть улица имени Якова Весника. На доме № 1 – мемориальная доска, объясняющая, что «Я. Весник – первый директор Криворожского металлургического комбината». Хозяин дома – Николай Степанович Сименов, пенсионер, 40 лет проработавший шофером.

– Ну спасыбо вам, шо вот на нашем доме прикрепылы цю доску!

– Вы отца моего не знали?

– Та не-е-е. Знать не знал. Но слыхать слыхал много хорошего. Очень много. Простой, добрый человик, говорят, був. И за доску памятну – спасыбо! Ведь нашу вулыцю теперь першой заасхвальтировалы. Уголь нам першим привозять, водопровод нам першим протянулы. Спасибо вашему батьку. Я вроде вашим родственником

себя ощущаю. Хороший ваш батько человик! Дуже гарный!

– Расстреляли его в 37 году.

– Вот за то, шо был дуже гарный (очень хороший), и убылы!

…Улицы Москвы вечером прелестны, хотя и небезопасны… Пятьдесят лет прошло после окончания кровопролитной битвы с врагом, которого мы не боялись, а теперь вот боимся друг друга! Своих боимся! И кровь своих течет! Абсурд! Люди больны! Страна больна! И не потому, что нет колбасы или дешевого пойла, а потому, что стадо людей не знает, куда идти, где и как пастись… Точнее, не понимает стадо, куда и как идти за лучшим – очень много пастухов. Во время войны знали, что «лучшее» – это Победа! Шли к ней все! Сейчас нет равнозначной замены слову «Победа», а если и бывает победа, то для части людей, иной раз маленькой-маленькой части. Каждый ищет свою победу. Маленькую, но свою. А общая – для всех – чахнет, отдаляется от фанфарного торжества… Ах, если бы Всевышний прикончил ЗАВИСТЬ! Ах, если бы все начали работать в охотку – глядишь, все увидели бы на горизонте… цель!! А за ней – новую…

Под впечатлением от спектакля идем по улицам Москвы. Кто-то спросил: «А почему спектакль называется „Чистка?“» Кто-то ответил: «Люди „чистили“ ряды партии, помещения, головы, зубы…» После 1953 года люди попытались почистить свои ряды, то есть сами себя. Убиенные-расстрелянные помогли этой чистке: доброй памятью о себе они «победили» убивавших, расстреливавших, пытавших. Много дряни вычистили, но, к сожалению, не всех. «Чистка» нужна новая! Под флагами Иисуса, Диогена, Монтеня, Пушкина, Сахарова, отца Александра Меня. И – не боюсь сказать – моих мамы и папы и им подобных. Бескровная, но Чистка!

Зашли в разваленный сад «Эрмитаж». Присели на оставшуюся каким-то чудом захудалую скамеечку. Когда-то сад манил своими огоньками: и электрическими, и творческими. Исчез Летний театр эстрады, захирел и омафиозился знаменитый ресторан, плачут лужами грязные дорожки… Ни попить, ни поесть… Молчат радиорепродукторы, нет детей, нет музыки. Сад нуждается в Чистке!

Воспоминания снижают повышенную температуру возмущения и досады.

Воспоминания о добре и добрых, о талантливых и честных, об умных и красивых превращают лужи, грязь и мусор в красивые клумбы и ухоженные дорожки, а нас в людей, которые «не хлебом единым»…

Воспоминания, воспоминания. Настала и моя очередь…

Школа жизни

Девятый и десятый классы 15-й школы города Москвы стали завершением моего среднего образования и началом суровой жизни. Я знал уже, что Серго Орджоникидзе покончил с собой. Знал, что в стране творится беззаконие: арестовывали ночи напролет целыми домами. Около тюрем простаивали очереди родственников в надежде передать узникам хоть что-нибудь из еды или вещей. У некоторых передачи принимали, у некоторых – нет. Ответные записки от арестованных вручали наполовину перечеркнутые – значит, нам на улице чего-то нельзя было знать о своих родных.

В свои 15 лет я понимал, что происходит что-то обратное тому, что проповедовали своей жизнью и своим трудом мои родители. Меня поражает фарисейство тех, кто утверждает, что не понимали тогда, в годы великих репрессий, что гибнут миллионы ни в чем не повинных людей, что уничтожаются лучшие умы, что лезет в начальники серятина, погубившая в результате все то, что давало надежду на величие страны. До сих пор никто не покаялся перед Богом за варварство советской действительности. Мало того, есть масса слепцов и фанатиков, которые защищают ее и мечтают все восстановить.

…В нашу квартиру вселили новых жильцов: инженера с семьей в две комнаты, а в третью – выдвиженца из села. Выдвиженец вскоре стал владельцем всего нашего имущества в этой комнате, в которой он прекрасно себя чувствовал. Окружавшая нас вакханалия не помешала, а может быть, помогала ему стать большим начальником – сначала в сфере науки, а затем искусства и культуры. Новые соседи относились ко мне внимательно, даже сочувственно. Выдвиженец, несмотря на то что, конечно же, был связан с НКВД, помог устроиться на работу подсобным рабочим на завод «Ниогаз».

Зла на них ни на кого не держу, благодарен за все доброе, проявленное в мой адрес. Спасибо, Исидор Леонтьевич, спасибо, Валентина Павловна, спасибо, Иван Данилович!

Чтобы не голодать, понемногу продавал оставленные мне вещи. Немного помогали родственники, подкармливали матери товарищей, учителя. Спасибо им великое!

Моим ангелом-хранителем была учительница литературы Анна Дмитриевна Тютчева. Одинокая пожилая женщина, в отличие от тех, кто утверждал (от трусости), что не понимает происходившего в стране геноцида, прекрасно все видела и правильно трактовала. Будучи истинно русской интеллигенткой –

она правнучка поэта Тютчева – и истинной христианкой, она старалась помочь всем, чем могла, слабым, бедным, одиноким. Я стал предметом ее особого внимания: она помогала мне учиться, сдавать экзамены, даже рискуя потерять работу, подкидывала мне шпаргалки.

В 16 лет, учась в 10 классе, я связался с компанией, не гнушавшейся выпивки, драк и однажды даже поножовщины. На каком-то школьном вечере Анна Дмитриевна подошла ко мне, сидевшему в мрачном настроении в одиночестве, погладила по голове и тихо, почти шепотом, сказала, что все знает про меня. Что нельзя позорить память о родителях, нужно взять себя в руки, хорошо кончить школу и, вместо того чтобы попусту тратить время на уличные похождения, заниматься в драмкружке, набор в который она объявит через несколько дней и будет сама им руководить. Она называла меня «Женечка», как мама, и погладила по голове. Как мама!

Все изменилось в моей жизни! Со шпаной расстался, стал успевать в учебе, записался в кружок и был в нем самым активным членом, наверное, потому, что никто из мальчишек так не мечтал стать артистом, как я. Во мне проснулись заглохшие было мечты. Сыграл замечательные роли: Тарталью в «Принцессе Турандот», Сатина в «На дне» и народного артиста в пьесе Гусева «Слава». И никак не подозревал, что сам через 30 лет стану «народным», да еще буду играть на сцене Малого театра, за билетами в который готов был стоять ночами в очереди.

Анна Дмитриевна учила нас понимать, что такое высокое искусство – литература, живопись, музыка, театр, кино. Разбирала с нами то, что мы видели и читали. Возводила в высокие образы лишь то, что заставляло задуматься, переосмыслить многое в себе. Она была, повторяю, одинока, детей не имела. И поэтому все материнское, что было в ней от природы, все нерастраченное, все доброе, заложенное в сердце и душу Богом и благородным воспитанием; все то, что так выгодно отличало ее от кожаных тужурок, арестов, тюрем, от коммунистического угарного самообмана, от жестокости людской, от трусости, лжи, предательства, от всего того, на чем держалось и сгнивало общество строителей «светлого будущего»; все, что было чистого, святого в ней, она щедро отдавала нам, в общем, чужой ей ребятне, и особенно щедро тем, судьба которых складывалась тяжело или трагично.

Память о ней, ушедшей от нас много лет тому назад, живет в сердцах каждого, кто испил из ее душевного источника волшебной доброты.

Спасибо, Анна Дмитриевна! Спасибо за все светлое,

радостное, что всегда исходило от Вас! Спасибо!

Ее поддержка моих артистических начинаний и ее совет попробовать поступить в театральное училище решили мою дальнейшую судьбу, счастливую судьбу, в которой она продолжала принимать самое живое участие. Каждую мою работу в театре и кино, на радио и телевидении она рецензировала в подробных письмах. А письма на фронт начинала словами: «Дорогой мой Голубок!», а кончала пожеланием: «Да хранит тебя Бог!»

Еще много, много раз – спасибо за все, дорогая, незабвенная Анна Дмитриевна Тютчева!

Мне бы молодость повторить.
Я на лестницах новых зданий,
Как мальчишка хочу скользить
По перилам воспоминаний.

Эти строчки Михаила Светлова, по-моему, обречены на бессмертие. «Мне бы молодость повторить»! Ну кто из нас не мечтает об этом? Кто из нас не размышляет над тем, что не так было в жизни, что хотелось бы поправить, переосмыслить. Но, к сожалению, это невозможно. «Хочу скользить по перилам воспоминаний». По поводу воспоминаний у Василия Ключевского есть такие слова: «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий».

…Помню, как в 1935 году в Кривом Роге, где мы тогда жили, гастролировал Днепропетровский драматический театр. Отец имел постоянный пропуск в «Палац праци» («Дворец труда»), а следовательно, и на все мероприятия, происходившие там. Он держал этот пропуск на видном месте, и мне не составляло никакого труда им пользоваться. Занятость родителей допоздна, мои солидные 12 лет и «высокое» положение сына директора несколько приглушали грозную силу объявления «Дети до 16 лет не допускаются» и открывали мне новый, чарующий мир сцены, закулисной жизни. Мир, так отличавшийся от жизни завода. Пропуск подарил мне знакомство с жизнью театра и открыл путь в профессию артиста.

Днепропетровцы играли «Отелло» Шекспира, «Аристократов» Н. Погодина, «Детей солнца» Горького. Что со мной делалось! Я мазал лицо сажей, надевал на руки черные чулки и пугал маму. Я рычал, спрашивал ее, молилась ли она на ночь, называл ее Дездемоной и пытался «задушить». Во сне я видел себя в образе Кости Капитана из «Аристократов», беседовал с бандитами,

беспризорниками, наставлял их на путь истинный. И они становились полезными обществу людьми.

Все центральные роли в репертуаре Днепропетровского театра играл Владимир Владимирович Кенигсон, позже блиставший в Московском камерном театре, а затем и в Малом. Я подражал всему, что он делал на сцене. Для меня Кенигсон был артистом идеальным. И надо же так случиться, что через 40 с лишним лет я стал партнером Владимира Владимировича на сцене Малого театра, а позже и его режиссером! Он прекрасно играл Иудушку в моей постановке «Господа Головлевы», заменив в этой роли незабвенного Виталия Доронина.

Приобщали меня к искусству, развивали фантазию и образное мышление и домашние концерты, которые в свободные дни устраивала мама. В них принимали участие владевшие музыкальными инструментами и умевшие петь работники Криворожского завода. Я с упоением слушал классику, высокие образцы музыки: арии и дуэты из опер, слушал рояль, скрипку, виолончель. Но осталось загадкой, как мне удалось воспротивиться усилиям матери и педагогов обучить меня игре на фортепиано? Сомнений в том, что усилия эти были упорными, нет, потому что мама моя была женщиной волевой и если что «положила себе на мысль, то уж поставит на своем, хоть там весь свет трещи!». (Чуть-чуть измененная реплика Лупа-Клешнина из «Царя Федора Иоанновича» А. К. Толстого.)

Причиной того, что я не стал музыкантом, были или мое феноменальное упорство, или, что вероятнее всего, очень большая отдаленность моих музыкальных способностей от способностей, скажем, Бетховена или Рахманинова. Единственное утешение – это то, что не давшие выдающихся результатов усилия по воспитанию из меня музыканта все же сыграли положительную роль: по ходу действия моих многочисленных героев в театре и кино, на телевидении и радио я мог петь или плясать то, что было положено по роли.

Гастроли днепропетровцев закончились, начались представления в цирке. Еще в Германии я научился виртуозной езде на велосипеде. Что я только не вытворял! Ездил на одном заднем колесе, делал на руле стойку на голове, ездил спиной вперед, стоял на месте, держа баланс и не опуская ног с педалей! Случилось так, что в труппе эквилибристов на велосипедах, если не ошибаюсь, латышской, под названием «9-инго-9» заболел мальчик моего возраста, участвовавший в парад-алле. Он выезжал первым на маленьком велосипеде, не притрагиваясь руками к рулю, держа в них два высоко поднятых флажка. В конце номера он поднимался на вершину пирамиды из всех участников, держа в

руках те же два флажка. Кто-то из этой труппы случайно увидел меня то ли на улице, то ли на стадионе, выделывавшего на велосипеде разного рода «кренделя», и предложил принять участие в их выступлениях. Мама разрешила, и в оставшихся выступлениях я вместе с артистами выходил на манеж!

О! Это были, пожалуй, одни из самых запомнившихся на всю жизнь мгновений! Аплодисменты! Впервые я ощутил их чарующую силу. Я впервые в жизни увидел горящие глаза счастливых артистов, слушавших горячие аплодисменты, их раздувавшиеся ноздри и сильные грудные клетки, вздымавшиеся от огромного физического напряжения. Став артистом театра, я всегда вспоминал взволнованные лица цирковых артистов, которым обязан пониманием того, что настоящие, дорого стоящие аплодисменты только те, которые заслужены упорным трудом, творческими открытиями и еще раз трудом! Поэтому часто возмущаюсь аплодисментами зрителей в адрес артистов, ну никак их не заслуживающих. В немалой степени эта строгость – результат моих детских впечатлений от сложнейшего труда и искусства любимых и по сей день цирковых артистов.

Воспоминания, воспоминания…

Театральное училище имени Щепкина при Малом театре, 1940 год.

Сдавать экзамены сюда я пришел уже с большим опытом в этом коварном деле. Я уже сдавал и был принят в ГИТИС. А в театре имени Вахтангова был забракован, как непригодный, из-за отсутствия темперамента (я очень был, как говорят, зажат). Спустя много лет я, к успокоению своему, узнал, что тем же экзаменатором был забракован в свое время и несравненный Николай Гриценко, которому было заявлено: «Вас ждут заводы!»

В экзаменационной комиссии в училище имени Щепкина – Илья Яковлевич Судаков, Александр Алексеевич Остужев, Вера Николаевна Пашенная, Вениамин Иванович Цыганков, Варвара Николаевна Рыжова, Александра Александровна Яблочкина, Евдокия Дмитриевна Турчанинова и много других знаменитых актеров и режиссеров. Во рту все пересохло. Я стою перед теми, глянуть на которых удавалось, лишь простояв ночь в очереди за билетами на «Лес» Островского, «Отелло» Шекспира. Коленки подрагивают.

– Что будете читать? – слышу Голос Судакова и вижу его, слегка пошлепывающего правой рукой по своей шее (у него была такая привычка).

– Я буду чита… играть. Нет… показывать сцену Сатина и Барона из «На дне» Горького.

– Не волнуйтесь, пожалуйста, начинайте, – ласково говорит Судаков.

Я начинаю, точь-в-точь – так мне казалось – воспроизводя интонации Качалова-Сатина и Гейрота-Барона. Пересаживаюсь, вернее, перескакиваю с одного стула на другой, в зависимости от того, за кого – Сатина или Барона – произносил текст. Разошелся, осмелел. Дойдя примерно до середины сцены, резко остановился, услышав хлопки в ладоши Судакова: «Достаточно, что у вас еще?» «Провалился», – подумал я, но тут же немного успокоился, увидев слегка улыбавшиеся и доброжелательные лица членов комиссии. «Стихи! – смело выпалил я и добавил: – Ничего хорошего у меня нет (я имел в виду классику). Есть только „Комсомольская песня“ Иосифа Уткина».

В зале раздались приглушенные смешки. Мне почему-то это придало уверенности, и я бойко прочел стихотворение.

– Басня у вас есть в репертуаре? – услышал я из зала. Слово «репертуар», сказанное в мой адрес, меня почему-то преобразило. Я почувствовал себя уже наверняка принятым в училище, в котором преподавали все знаменитости, которые, конечно же, почувствовали во мне «что-то». И для меня это «что-то» было достаточно, чтобы бойко объявить, что знаю басню испанского автора «Осел и Флейта», и прочесть ее так же бойко. Но до сих пор не понимаю, почему басом – за Флейту и фальцетом – за Осла!

Время прошло немалое, не знаю, остался ли кто-нибудь в живых из свидетелей, но даю вам слово – я имел шумный успех. На первой же реплике Осла, произнесенной на фистуле, в зале раздались отдельные громкие смешки, на второй – смеялись многие, после финальной третьей фистулы Осла зал разразился дружным смехом.

– Спасибо. А почему вы сдавали экзамен к нам? Вы ведь, кажется, пробовались еще в ГИТИС?

Оказывается, Илья Яковлевич Судаков преподавал еще и там. Будучи главным режиссером Малого театра, он набирал курс и в училище Малого театра, который затем сам и возглавил.

– Я и во МХАТ сдал, а вот в Вахтанговский театр не сдал, провалился.

– А что вы там читали?

– «Огоньки» Короленко. Провалился. Нет темперамента, сказали.

– Зря вы читали «Огоньки». Это материал не для вас. Темперамент у вас есть, не беспокойтесь.

После хохота членов комиссии по поводу моей оригинальной находки говорить за Осла фальцетом, а за Флейту басом я

почему-то не очень беспокоился и, мало того, уже видел себя партнером сидевших в комиссии титанов сцены. Я объяснил, что после провала в театре имени Вахтангова сдал экзамены во МХАТ, но потом узнал, что в ГИТИСе учатся ребята из нашей школы, решил и туда сдавать. После удачных экзаменов случайно встретил знакомого и, узнав, что он студент 3 курса и председатель парткома училища имени Щепкина и что он всегда сможет мне помочь, особенно материально, окончательно решил поступать в Малый.

– И укрепить, так сказать, труппу прославленного театра? – серьезно спросил меня Михаил Францевич Ленин.

Я выпалил искреннее и короткое «Да!», чем снова вызвал одобрительный гул комиссии. Сам же я почувствовал себя уже заслуженным артистом! Такая реакция зала! Не шутки!

– Сначала вы хотели укреплять театр Вахтангова, затем МХАТ, теперь Малый! Не велик ли замах? – по-доброму спросил Илья Яковлевич Судаков.

– В Вахтанговский я пошел потому, что мама дружила с актрисой Вагриной, во МХАТ – потому, что мама была знакома с Андровской, в ГИТИС – из-за дружков, а в Малый – из-за месткома.

И снова упоительный успех – смех в зале.

– А какой театр вы больше всего любите?

– Я все театры люблю и актеров тоже всех люблю, но ночи, записываясь в очередь за билетами, простаивал только в Малый.

Так была решена судьба 17-летнего паренька, мечтавшего с детства стать лицедеем. Я стал студентом Театрального училища имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре, студентом 1 курса, которым руководили И. Я. Судаков и Б. И. Вершилов.

Как недавно все это было!

Просится на бумагу множество оживших сценок, ситуаций, словно лента кадров-воспоминаний. Теряюсь в выборе наиболее интересных, запавших в душу людей. В конце концов извлекаю из памяти своей то, что имело отношение к доброму, к любви, к благодарности за учение, за уроки человечности, за помощь в овладении профессией.

Грешно не вспомнить Илью Яковлевича Судакова, который своей работоспособностью, образованностью и человечностью остудил пыл нашей самоуверенности и переоценки самих себя. Первые же беседы с ним открыли нам глаза на сложность выбранной профессии и, естественно, настроили на предельно серьезное отношение к ней. Я до сих пор вспоминаю, с каким

упорством этот большой художник добивался от нас маломальски приемлемого качества работы: будь это этюд, сценка, отрывок из пьесы или просто маленькая реплика. Многократное повторение того или иного нашего действия давало нам ощущение некоторого овладения материалом, а следовательно – маленькой радости, закладывало в сознание необходимость упорнейшей работы. Счастливое начало!

Мы почувствовали отеческое отношение к нам еще и потому, что на наши встречи несколько раз приходила жена Ильи Яковлевича, одна из самых ярких актрис, которых мне пришлось видеть за всю свою жизнь, артистка МХАТа Клавдия Еланская, народная артистка СССР. Мы знали, что Илья Яковлевич тайком помогал деньгами нескольким студентам, не имевшим, кроме стипендии, никаких средств к существованию.

Из бесед со мной Илья Яковлевич узнал, что я сын репрессированных родителей, сказал мне, что он слышал о моих отце и матери. Посоветовал поменьше распространяться об аресте родителей, спросил, как я материально устроен, и, узнав, что я подрабатываю на заводе «Ниогаз», пожелал мне успехов в учебе и здоровья. И – никогда не забуду об этом – погладил меня по-отцовски по голове… Мне стоило больших усилий не расплакаться: меня ведь некому было гладить по голове! Мои чувства уважения и преклонения перед первым театральным педагогом после этой нашей беседы очень напоминали благодарность бездомной собачонки за человеческую ласку и внимание!

Насколько радостными были мои встречи и отношения с Ильей Яковлевичем, настолько тяжело было узнавать, что творилось вокруг фигуры этого большого мастера. Его травили, обвиняли в разного рода художнических промахах, вместо того чтобы ценить за самобытный, свободный от политического лизоблюдства талант. Его выжили из Малого театра и довели, именно довели, до инсульта, до инвалидности. Но Бог не оставил его. Он подарил ему замечательную семью: талантливых дочерей Иру и Катю и преданную жену – грандиозную Еланскую, бывшую всегда с ним, уже разбитым параличом, прикованным к постели. Но в памяти людской он остался душевно красивым, куда более значимым в искусстве, чем те здоровые, которые своей «преданностью» ужасающей идеологии нашего прошлого вырвали его из мира искусства.

Не могу не вспомнить добрыми словами режиссера МХАТа и Малого театра, нашего педагога Бориса Ильича Вершилова, помощника Ильи Яковлевича. Он преподал нам уроки

фанатичной влюбленности в театр, внимательного отношения к людям, и в частности к нам – студентам. Он знал о каждом из нас все: каким мы видим свое будущее, современный театр, свое место в нем; знал, как каждый устроен или не устроен в жизни, что читает, чем увлекается. Он часто проводил с нами время вне стен училища – в театрах, в кинотеатрах, в музеях. Мы часто бывали у него дома и, естественно, испытывали к нему чувство огромного уважения. К человеку его эрудиции, интеллигентности и таланта нельзя было относиться безразлично. Он был одним из маяков, на который нужно было держать курс своих творческих и человеческих устремлений. Таких личностей, как Борис Ильич, ох как не хватает в современных театральных учебных заведениях, где часто преподают люди, сами недостаточно образованные и недостаточно овладевшие театральным искусством, а то и просто малоодаренные.

Просятся на бумагу воспоминания о преподавателе военного дела – пожилом кадровом офицере Гаврииле Козловском. До сих пор слышу его слова о преподаваемом в театральном училище предмете: «Я глубоко, категорически и бесповоротно убежден в том, что предмет „военное дело“ в театральном институте противопоказан, и преподаю его, лишь выполняя приказ!»

Помню, как досконально отвечавшему на вопросы он говорил, что ставит двойку, так как не может «механическое восприятие военного дела оценить более высокой оценкой». А мне за ответ на вопрос: «Что такое граната и ее назначение?» – «Это такой аппарат, который берется в правую или левую руку, в зависимости от степени владения оной, затем после энергичного замаха бросается в сторону врага, бросивший кидается вслед этому аппарату с криками: „Вперед! Ура-а-а!“ Враг бежит! Победа близка! И неважно, разорвалась граната или нет – „Вперед! Ура-а-а! Победа!“» – сказал, что поставит пятерку, потому что такого рода ответ «являет собою чувственное и творческое восприятие военного дела».

Вот по такому принципу он раздавал пятерки и двойки. Только пятерки и двойки! А по окончании опроса или зачета всякий раз громко захлопывал большой учительский журнал и, упиваясь собственным остроумием и хитринкой, словно большой ребенок, радостно и громко, по-военному четко докладывал: «Смирно! Всем отвечавшим сегодня в журнале проставлена отметка 4. Поздравляю. Вольно. Разойдись. Ха-ха-ха!» Мы устраивали овацию любимому преподавателю категорически не нужного, как он говорил, предмета в театральном училище.

Как-то уже после начала Отечественной войны в учебном тире на занятиях по стрельбе мы, пятеро студентов, должны были

из мелкокалиберной винтовки лежа выполнить следующую команду: «По презренной фашистской мишени одной мелкокалиберной пулей…» Но вот команду «огонь» наш милый Гавриил Козловский не смог подать, а мы не могли стрелять, так как сзади нас раздалась команда начальника всех московских институтских кафедр военного дела по фамилии Горячих.

– Отставить! Вы подаете не уставную команду, – обратился он к нашему любимому.

Мы замерли.

– Товарищ начальник, на линии огня командую я, прошу не мешать. Повторяю: по презренной фашистской мишени одной мелкокалиберной пулей…

– Отставить! – снова прозвучала команда начальника. – Вы подаете не уставную команду.

– Повторяю: на линии огня командую я, прошу не мешать. По презренной фашистской…

– Отставить!

– Послушайте, не пойти ли вам… вон отсюда! – волево предложил наш Козловский.

О, ужас! Чтобы дать волю душившему нас смеху, мы начали беспорядочный огонь из винтовок.

Гавриил Козловский больше не появлялся на занятиях. Встретив его как-то на улице, мы спросили, почему он не на войне. На что он не без досады заметил: «Не могу достать билет на фронт!»

Мы, юнцы, не понимали, что он давно в отставке и от службы, тем более от войны, освобожден. Зато память знавших и учившихся у Гавриила Козловского не освободит его и не отправит в отставку остроумного и смелого человека.

Мальчишкой я отчаянно завидовал своему отцу, который во время гражданской войны был награжден двумя орденами Красного Знамени, а в 1935 году – орденом Ленина. Во время своих первых свиданий со школьной подругой, когда на двоих съедалась одна порция мороженого, не обсуждались архиглобальные проблемы человечества, я сетовал на то, что не смогу быть таким же героем, как отец, не смогу заслужить столько наград, сколько у него. В 16 лет я не мог предположить, что стану кавалером двух медалей «За отвагу», орденов Красной Звезды, Отечественной войны. Я переживал тогда, что не смогу завоевать в глазах подруги уважения к себе, так как больше не будет войны.

К великому сожалению, я ошибся – 22 июня 1941 года началась страшная война. В начале сентября 1941 года

большинство студентов училища, получив телогрейки, сапоги и лопаты, отбыли в товарных вагонах на трудовой фронт под Смоленск. Роя противотанковые рвы, мы получали отметки не за глубину проникновения в суть и характер роли, а за глубину проникновения в землю. Пятерки получали те, кто выкидывал «на гора» семь кубометров. Тревожная обстановка, опасность приближения врага, чувство ответственности за порученное нам дело быстро уравняли наши способности и усилия, и все мы, щепкинцы, стали круглыми отличниками. Как бы обрадовались наши педагоги – ведь в учебе наши успехи редко бывали столь блестящими!

В начале октября 1941 года пришло известие об эвакуации Малого театра, а вместе с ним и училища. Мы тронулись в изнурительный месячный путь в Челябинск и только в ноябре прибыли на место. Знакомые лица любимых актеров, участие в массовых сценах в спектаклях театра, начавшиеся занятия в училище – все это скрашивало нашу полуголодную студенческую «балконную» жизнь. «Балконную» потому, что долгое время несколько студентов, в том числе и я, спали на балконе Челябинского драматического театра имени Цвилинга.

Великий Александр Остужев

В 1942 году, будучи студентом 2 курса училища, я был призван из Челябинска в армию. Освобождали от службы только студентов 3 и 4 курсов, остальные должны были воевать. Не помню, при каких обстоятельствах моя повестка из военкомата попала в руки Остужева. Он внимательно прочел ее. В ней указывался перечень предметов, с которыми я должен был явиться на сборный пункт. Последним в этом списке был котелок. Остужев вернул мне повестку и задумчиво сказал: «И с котелком. Иди, юноша, иди воюй! Если бы мне твою молодость, я, клянусь тебе, непременно пошел бы воевать! Стар я. Иди и обязательно хорошо служи. Армия – школа жизни, я это знаю, она поможет тебе стать артистом. Я ведь тоже по-своему воюю. Я отдал все, что у меня есть, в Фонд обороны, все. Пусть хоть полкрыла самолета будет моим! Я отдал государству огромный золотой канделябр. Пусть воюет. Воюй и ты. Я буду рад видеть тебя живым и здоровым! С Богом!»

Через несколько дней во всех газетах была опубликована телеграмма Главнокомандующего Иосифа Сталина народному артисту СССР Александру Алексеевичу Остужеву: «Благодарю за заботу о Красной Армии».

Силу могучего таланта этого артиста можно представить себе хотя бы по такому факту: ему пришлось сменить свою настоящую фамилию Пожаров на Остужев. Часто возбужденные зрители разных театров России, в которых приходилось выступать Александру Алексеевичу, по окончании спектакля выражали свое восхищение игрой артиста не только аплодисментами, но и криками «Браво!». А чтобы никто из других актеров не принял ажиотаж зрителей в свой адрес, акцентированно выкрикивали фамилию любимого артиста: «По-жа-ров!» Это приводило порой к панике среди зрителей и даже срочному вызову пожарной охраны.

Я часто наблюдал Александра Алексеевича Остужева и даже общался с ним в дни эвакуации Малого театра и его училища. Как-то над Челябинском пролетал самолет. Я стоял перед входом в театр рядом с Александром Алексеевичем. Он взял меня легонько за локоток и громко, глядя в небо, спросил: «Какая высота?» Я на глазок определил и так же громко ответил: «Наверное, километр!» Он крепче сжал мой локоть и совсем уж громко сказал с досадой: «Не верно. Не меньше трех километров!» И, сжав еще крепче локоть, ласково посмотрев мне в глаза, уже с грустинкой, но тоже очень громко и в только ему присущей

манере говорить добавил: «Эх! Мне бы частицу твоей молодости!»

Остужев говорил громко сам и ему отвечали очень громко, потому что он плохо слышал. Мало кто знал, что Остужев, общаясь с партнером, произносил свои реплики не по звуку голоса, а по смыканию его губ, а если он был на подмостках один и текст его зависел от разного рода машинерии, то по сигналу, дававшемуся суфлером, загоравшейся лампочкой или взмахом руки.

Я не могу утверждать, но мне казалось, что его слабый слух был причиной больших психологических переживаний и даже страданий. Он был замкнутым, очень скупо говорил, редко появлялся на людях и производил впечатление человека одинокого. Женат он в конце жизни не был, жил один, в свободное время увлекался токарной и слесарной работой; у него дома стояли станки, и он ими очень гордился и любил показывать. В Малом театре Остужев сыграл ролей немного, были даже неудачи. Зато в последних двух работах – в ролях Отелло и Уриеля Акосты потряс театральный мир и заслуженно занял в нем одно из самых престижных мест.

Я могу с гордостью говорить, что играл вместе с Остужевым, и это не будет противоречить действительности. Мне, студенту, доверили бессловесную роль молящегося в спектакле «Уриель Акоста». Действие происходило в синагоге, и суть его в том, что священнослужители заставляли ученого Акосту отречься от своих прогрессивных научных открытий, противоречащих религиозным законам о положении нашей планеты в галактике. Поддавшись натиску неучей, он отрекался от своих новаций, уходил из синагоги. За кулисами его ждала команда студентов из четырех-пяти человек, которая, по заранее срепетированному сценарию, обхватывала его крепкую фигуру, не давая вырваться из объятий. За кулисами раздавался хорошо слышимый в зрительном зале крик-вопль, напоминавший то ли рев раненого зверя, то ли стоны страдающего от мучительной боли человека, зовущего на помощь: «А-а-а-а!» Затем Остужев изо всех сил пытался вырваться из объятий молодых парней и с еще большей энергией как бы взывал о помощи: «А-а-а-а!» И тут наконец-то наступало освобождение. Вспотевший, он влетал на сцену, пугая бешеным темпераментом уже торжествовавших было победу над ним священнослужителей, а вместе с ними и зрителей, и весь театр, еще сильнее прежнего гремел: «А-а-а!» И, чуть обмякший, счастливый, добавлял: «А все-таки она вертится!» – и изможденный падал на колени, а затем всем телом на пол.

У нас, артистов, мурашки бегали по спине. Некоторые, в том числе и я, не могли скрыть слез, зал взрывался долгой-долгой

овацией… Незабываемые минуты!

Рассказывают, что на гастролях Малого театра в Ленинграде, после спектакля «Отелло», игравшегося На сцене Александринки (теперешнего театра имени Пушкина), занавес давали 42 раза! Остужев стоял в центре сцены со скрещенными на груди руками и плакал. Занавес открывался, он слегка склонял голову и шептал сам себе: «Спасибо, спасибо». Занавес закрывался, он поднимал голову, смотрел как бы в небо, глубоко вздыхал и чуть громче говорил как бы Господу Богу: «Спасибо». Затем снова склонял голову и снова со слезами на глазах: «Спасибо, спасибо».

После такого фурора зрители с трудом узнавали в выходившем из театра, ничем не выделявшемся из толпы, грустном и тихом человеке невысокого роста титанически одаренного, гениального Александра Остужева.

Если Акакий Хорава в роли Отелло был обманутым полководцем, если Ваграм Папазян – безумно ревнующим мужчиной, если в Отелло Михаила Ленина больше всего ощущалось раненое тщеславие не очень тонкого мужа, а прежде всего военачальника, если в Отелло Владимира Тхапсаева господствовал необузданный зверь, если в Отелло Сергея Бондарчука трудно было ощутить какое-то решение образа, что выводило на первый план какое-то безволие бесхребетного мужа, то Отелло Остужева был самообманутым любовником-лириком с романтическим, необузданным характером и темпераментом, мучившимся черным цветом своей кожи. Последнее решалось артистом эффектнейшим образом: две черные кисти опущенных рук Отелло – на фоне белой фактуры декорации. Произнося «черен я-я-я», Остужев с невероятной силой и злостью долго бил одной рукой другую. Грандиозно!

Мало кто знает и помнит, что Александр Алексеевич Остужев был исполнителем роли «От автора» в спектакле «1812 год» – инсценировке романа Толстого «Война и мир». Эпизод, о котором хочу рассказать, стал, мне кажется, самым благозвучным аккордом жизненной коды великого мастера. Разгром фашистских войск под Москвой, огромной гипнотической силы талант Остужева и его популярность, патриотический потенциал народа – вот предпосылки, способствовавшие рождению того торжества. Иметь право на такое не многим дано.

1942 год. Челябинск. Спектакль Малого театра «1812 год». Зрительный зал полон – аншлаг. На спектаклях с участием Александра Остужева не могло не быть аншлага, нигде и никогда. В роли есть текст о том, что Москва освобождена от врага и снова русская! И хотя речь шла о войне 1812 года, Остужев произносил

его с таким вдохновением, вкладывая в него свое гражданское отношение к тогдашней военной ситуации, с такой физической и голосовой отдачей, что нам, стоявшим за кулисами, было страшно за него, пожилого человека. А зрители в едином порыве вскочили со своих мест и устроили длительную овацию, сломавшую и ход, и темп, и ритм спектакля…

Я в этом спектакле исполнял безмолвную роль камер-лакея Наполеона и оказался счастливым свидетелем происходившего. Помню раненого молодого солдата-фронтовика с костылем, пытавшегося влезть на сцену. Помню крики «ура» из зрительного зала, скандированное «Ос-ту-жев, Ос-ту-жев». Вспомнил тогда рассказы о том, что бывало, когда скандировали в свое время его настоящую фамилию Пожаров.

Александр Алексеевич должен был по ходу спектакля продолжать текст, однако сделать это никак не мог. Он уходил со сцены, снова выходил и снова уходил: овация не стихала. Тогда опытный и находчивый помощник режиссера, ведущий спектакль, решился на сокращение оставшегося текста Остужева и закрыл занавес. Артисты продолжили спектакль, но под овации, которые только минуты через две наконец-то смолкли. Люди расселись по своим местам, и спектакль благополучно завершился. Но! Артисты разгримировались, вышли через служебный ход на улицу, ожидавшая их толпа окружила Остужева, подняла на руки и понесла! Понесла в гостиницу, где он жил. Я понял, что только в эти минуты кончился этот поистине уникальный спектакль, в котором финальную точку поставили не артисты, не режиссер, а зрители!

Уникальный спектакль! Уникальный зритель! Уникальнейший артист – Александр Алексеевич Пожаров-Остужев!

На фронте

Война приняла меня в свои объятия в 19 лет и отпустила на волю 22-летним. Ушел на войну романтически настроенным юнцом, фантазером. Воевать даже нравилось… когда наступали, и не очень, когда отступали. Когда, например, разрушали своими орудиями вражеские коммуникации или часть сопротивлявшегося населенного пункта, да еще получали награды за это, то, конечно, чувствовали себя «орлами», Чапаевыми и Петьками…

Но, вернувшись с войны, я осознал свое, хочешь не хочешь, причастие к человекоубийству, случайность того, что сам остался в живых; понял, сколь трагична и никчемна бывает суета человеческая, но в то же время – настолько могуче человеческое единство во имя любой цели! Любой! Мы воевали за как бы непременный, уже осязаемый рай! Но рая нет! Есть что-то сатанински «разъединительное», нет ничего «объединяющего». Есть лабиринты самоуверенности! И нет – Примера! Высокого!

Назрела необходимость изменить жанр нашего существования – трагикомический, с туманными декорациями несколько надуманной демократии сверху – на светлый народно-реалистический жанр истинной демократии, основанной на нормальных деловых человеческих взаимоотношениях, приносящих людям благо и счастье. Такой демократии, которая опиралась бы на человеческий разум, образование, профессионализм и интеллигентность, что позволила бы остановить разгулявшуюся дьявольщину зла, некомпетентности. Остановить все то, что открывает путь в самое страшное для разумных человеков – в возможность кому-то сделать всех своим подобием и рабами одной идеологии!

К черту печаль! Когда вспоминаю войну – вспоминаю добрых, смелых, душевно красивых людей; вспоминаю все, что связано с юмором, дружбой, взаимовыручкой, добром, любовью… Как ни странно, самое смешное случалось и придумывалось в самые опасные для жизни мгновения. Итак, о дружбе, любви, преданности…

В день годовщины начала войны, 22 июня 1942 года, я был призван в армию и зачислен в ряды курсантов Смоленского артиллерийского училища, эвакуированного в уральский городок Ирбит.

Факт принадлежности к искусству усложнил мою военную жизнь. Занятия надо было совмещать с работой в художественной самодеятельности. И конечно, чего греха таить, на

самодеятельность уходило времени значительно больше, чем на изучение артиллерии.

В январе 1943 года более семисот молодых людей, стоя в строю, слушали, затаив дыхание, приказ о присвоении им офицерских званий. Всем было присвоено звание «лейтенант», лишь мне одному – «младший лейтенант». Вот что сделала со мной художественная самодеятельность. Я установил второй за свою жизнь оригинальный рекорд. Первый – в школе на уроке украинского языка, когда в диктанте из 300 слов было 122 ошибки. Второй – в артиллерийском училище.

Самое распространенное, помимо пребывания на гауптвахте, наказание в армии – наряды вне очереди. Это означает: мыть пол, чистить картошку, стирать скатерти и занавески сверх тех дней, когда тебе это положено по расписанию. Рядового курсанта нарядами вне очереди могли «награждать» и твой сержант, и старшина батареи, и командиры-офицеры. Чем больше чин, тем большим количеством нарядов вне очереди мог он одаривать.

Как курсант я должен был всех приветствовать словами: «Здравия желаю, товарищ…» – и далее произносить звание того, кого приветствовал. Я с трудом привыкал к жизни по уставу, к муштре, к военной службе: все-таки недоучившийся артист, да еще руководитель самодеятельности! Вместо уставного приветствия часто говорил: «Здорово!» Вместо того чтобы произносить звание, просто добавлял имя: «Здорово, Петя или Ваня». За это, как правило, – награждение двумя-тремя нарядами вне очереди. За то, что не успевал постирать воротничок и ходил в несвежем – три-четыре наряда. За то, что задерживался на репетициях в клубе позже отбоя и являлся в казарму тогда, когда все спали, – тоже минимум пять нарядов. За то, что смешил анекдотами на занятиях и не успевал приготовить уроки – наряды, наряды, наряды… Одним словом, рекорд мой равнялся 52 нарядам вне очереди за месяц! За настоятельную просьбу заменить нарядов десять на один день ареста и пребывания на гауптвахте мне влепили еще два наряда вне очереди – «за разговорчики в служебное время».

* * *

«Семибратские кустики» – так называется место под городом Коломна, где во время войны формировались и готовились к отправке на фронт разного рода воинские части, в том числе и 1-я гвардейская артбригада резерва Главного командования, с которой мне предстояло отправиться на фронт. Я младший

лейтенант, командир огневого взвода, в моем подчинении 17 человек, в том числе заряжающий орудие рядовой Богаев. На очередной утренней перекличке на фамилию Богаев никто не откликнулся.

Меня вызвали в штаб бригады. Командир бригады полковник Сергей Петрович Гудзюк, выслушав мой доклад, говорит: «Позор на всю бригаду! Гвардейскую бригаду! Что хочешь делай – найди!» На следующее утро Богаева тоже нет. Оформляю документы, беру с собой ординарца, едем в родной город дезертира, недалеко от Москвы. У военного комиссара узнаем адрес матери Богаева, берем лошадь, телегу. Приехали к матери. Так, мол, и так, ваш сын дезертировал.

Мать в слезы:

– Боже мой, это я виновата! Мой сынок ухаживал за девчонкой, был влюблен. Потом его в армию забрали, а ее черт попутал! С местным попом стала жить. Недавно поп умер. Я сыну об этом написала. У нее он, наверное. Это я виновата. Не надо было ему писать!

До поповского дома несколько километров, добрались к шести часам утра. Дом около церкви, на околице села. Света в окнах нет. Ушел Богаев из части с автоматом, так что шутки плохи!

– Давай из автомата очередь – выше дома! – приказываю ординарцу.

Свет не зажигается.

– Еще очередь!

Зажегся свет. Проходит минута, другая, затем, как в сказке: открывается дверь и появляется ОНА! Красави-ца-а, диво дивное, распущенные светлые волосы ниже плеч, длинная полотняная рубаха. Падающий из горницы свет контражуром вычерчивает фигуру. Удивительное, волшебное зрелище. Спрашивает:

– Что ему будет?

– Ничего не будет, – говорю довольно грубовато. – Пускай автомат отдаст, оденется и едет со мной. Даю честное офицерское слово, что ничего ему не будет. Мне бы было, если б не нашел его: сослали бы в штрафную роту. И его бы потом туда же. А сейчас пусть одевается. Автомат только сначала вынеси и патроны, которые у него есть.

– Сейчас.

Ушла. Через десять минут появляется и в руках, словно хлеб с солью, несет автомат с патронами. Спускается к нам с крыльца. Мой ординарец забирает автомат, патроны, я повторяю, что телега его ждет.

– Ладно, ждите.

Опять ушла в дом, закрыла дверь. Сидим на телеге, ждем. Погас свет. Ждали минут тридцать. Курили, не разговаривали. Наконец появился…

Дальше – как в немом фильме. Я не сказал ему ни слова. Ехали молча. Богаев сидел в конце телеги спиной к нам, свесив ноги. Приехали к матери. Мать вышла во двор, подошла к сыну да как влепит ему пощечину, заплакала и тут же стала целовать. Никаких слов! Потом погладила его и, утирая слезы, ушла в дом. Молча доехали до военкома. Сдал я лошадь, потом на вокзал. К вечеру добрались до расположения части.

Утро следующего дня, перекличка: Иванов! Я! Петров! Я! Богаев! Я!

Воевал Богаев очень хорошо. В середине 50-х годов, когда я стал появляться на экране, очевидно, был узнан Богаевым в каком-то фильме. На «Мосфильм» на мое имя пришло письмо, в котором он сообщал мне, что женился на девчонке, которая «вам известная», стал папой, мать свою похоронил. До сих пор чувствует себя виноватым за доставленные неприятности, но в конце оправдался: «Не махнул бы тогда домой – счастья не нашел бы!»

* * *

Настал день отправки на фронт. Станция Голутвин под Коломной. Никто из нас не знал, куда мы едем. Знали день погрузки, знали, кто в каком вагоне едет, знали все, кроме направления. И командир бригады не знал, полная секретность.

Разместили нас по вагонам: офицеры в одних, солдаты в других, на платформах пушки, прикрытые брезентом. Едем. Подъезжая к Ленинграду, стали догадываться, что ждет нас Ленинградский фронт, или Карело-Финский. Остановились на станции Шаткуса. Ясно, что мы на Карело-Финском будем форсировать реку Свирь. Добрались до города Олонец. Здесь в штабе отступивших финнов обнаружили документы. Среди них – донесения финской разведки, что такого-то числа 1-я гвардейская бригада под командованием полковника Гудзюка в составе такого-то количества офицеров, такого-то количества орудий, полков, дивизионов, батарей и т. д. отправляется со станции Голутвин. Далее следовали характеристики на всех офицеров бригады.

Я нашел характеристику и на себя. Там было написано, что я молод, курю, позволяю себе выпить, темпераментный, впечатлительный, что у меня неоконченное театральное

образование.

В донесениях был расписан не то что по дням, а по часам наш маршрут следования, где и как будет происходить разгрузка, указывалась станция Шаткуса, поставленная перед бригадой боевая задача… Мы не знали ничего, а финны знали все! Кто предал?

* * *

По дороге на фронт несколько офицеров играли в «дурачка». Всякий раз перед отправкой на фронт или началом серьезной операции всеми овладевала особая внутренняя сосредоточенность. Исчезала привычная шумливость солдатской жизни. Команды подавались негромко. Песен не пели, никто не смеялся, радио не гремело, даже сапоги не так стучали об землю. И вот даже в карты играли молча, молча разливали и выпивали где-то добытое зелье. Звякали лишь стаканы, когда картежники чокались, да постукивали, вызывая тревогу или уныние (что впереди?), увозившие нас в неизвестном направлении колеса. Тук-тук-тук…

Капитан Мирошниченко – самый старший в офицерском вагоне по возрасту и по званию – вдруг резко бросил карты и, побледневший, с каким-то блуждающим взглядом, тихо произнес: «Хлопцы, а ведь меня первого убьют!»

Его успокоили, налили, и игра продолжалась в еще более гнетущей тишине и сконцентрированной до предела внутренней сосредоточенности.

На Карело-Финском фронте при первом артиллерийском налете первым был убит капитан Мирошниченко…

* * *

Первые фронтовые шаги, форсирование реки Свирь. Мы – на одном берегу, финны – на другом. Видим друг друга в бинокль, а иной раз и без него. Когда бой? Никто не знает.

Командование договаривается с противником, и мы на недельном курорте! Именно так мы называли неделю перед форсированием реки – «курортная неделя». С согласия противоположной стороны мы выходили на берег и с 6 до 7 утра мылись, проводили физзарядку под музыку, звучавшую из репродукторов, играли в футбол и волейбол. Курорт!

То же самое делали финны с 7 до 8 утра.

Райская неделя кончилась, прошло несколько дней. И рано-рано утром – два часа беспрерывного артиллерийского огня и авиационной бомбардировки. Раскалившиеся стволы орудий, гул сотен самолетов, беспрерывные команды «огонь!», «огонь!». Смерчи разрывов на том берегу, языки пламени «катюш».

В этом давящем, принижающем тебя разгуле машинерии, как нигде в другой обстановке, чувствуешь себя козявочкой. Чуть побольше, когда идешь вперед на врага, и совсем маленькой козявочкой, когда драпаешь назад. Мне кажется, много говорящие о войне, о героизме не были в настоящих переделках. Только нюхнувшие запах беспощадной войны говорят мало, они не хотят даже вспоминать войну или говорить о ее возникновении вновь. Поэтому, собравшись на встречу, настоящие фронтовики предпочитают вспоминать смешное, несуразное, вспоминать любимых женщин, петь песни и плакать, поминая убитых друзей.

Поэтому истинные фронтовики ищут возможностей быть полезными обществу и семье, заниматься делом, стараются быть примером детям и внукам. Они многое хотят делать и делают. Но не орут, как те, не прошедшие настоящего пекла, что могут в полупьяном состоянии выйти с хулиганскими плакатами в руках, за бутылку водки или за 100 рублей, на любую площадь, по любому поводу, в любой день и орать, но ничего не мочь. Плакат и лозунг не съешь. Недаром говорят, что хлеб всем открывает рот; от себя добавлю – а отсутствие хлеба развязывает язык. Но язык не сеет!

Я отвлекся. Итак, не встречая никакого сопротивления (на нашем участке), мы навели понтонный мост, переправили людей, пушки и обнаружили… только одного убитого солдата. И это после такой артиллерийской и авиационной подготовки! Почему финны ушли, куда ушли, как узнали о начале наступления? Неизвестно. Стоило нам углубиться на территорию противника, как мы тут же почувствовали коварность и мастерство врага. Финны меняли направление своих атак, появлялись то слева, то справа, то в нашем тылу, отличались сверхточностью в стрельбе из минометов, ничуть не уступали в дисциплинированности немцам. Каждая из воюющих сторон имеет своих героев!

В один из жарких боевых дней я помогал своими мощными тягачами вытаскивать грузовые машины пехотной части. Как же я был обрадован, когда узнал в командире этого подразделения своего друга, тоже воспитанника Щепкинского училища, артиста Якова Сергеевича Беленького. Ни опасная обстановка, ни надвигавшаяся ночь не помешали повару нашей батареи быстро приготовить «праздничный ужин» и найти даже «кое-что». Читали

вслух стихи, вспоминали театр, спектакли, любимых артистов, училище. Незаметно нас окружили солдаты и офицеры, и наша встреча вылилась в импровизированный концерт.

* * *

В нашей бригаде было хорошее правило: после занятия нашими войсками отвоеванной территории, по которой мы вели прицельный огонь во время артподготовки, проверять точность попадания и подсчитывать количество воронок от снарядов наших пушек-гаубиц. Для этого подсчета выделялись поочередно разные офицеры. Делалось это нечасто, но при благоприятных условиях и явной полезности делалось. Дошла очередь до меня и еще одного офицера. К тому времени я из командира взвода был переведен в адъютанты командира бригады. Это очень ответственная должность: адъютант должен уметь вести на карте корректировку огня бригады, четко передавать команды командира по полевому телефону и выполнять множество других функций.

Долго бродили мы по хвойным лесам и пескам, подсчитывая наши воронки. От нечего делать, в ожидании куда-то удалившегося напарника я решил потренироваться в стрельбе. На бруствере окопа лежала пустая консервная банка. Вытаскиваю свой старенький наган, выпаливаю все патроны. Доволен – промазал только один раз. Хочу положить наган в кобуру, и вдруг из окопа рядом с простреленной банкой поднимается, держа руки вверх, финский солдат! Он замер, и я замер. Он – с поднятыми руками и испуганными глазами, я – с не дотянувшейся до кобуры рукой с наганом, уже без патронов, и тоже наверняка с испуганными глазами.

Подошел мой напарник. За бруствером окопа он не мог видеть финна, но, увидев меня в окаменелой позе, спросил, что со мной. Я не мог ответить, потому что перехватило дыхание, словно нырнул в холодную воду. Перепрыгнув окоп, он повернулся, глянул туда, куда я вперил свой взгляд, и все понял.

Финн очень пригодился начальству, так как рассказал много полезного, а мне впервые пришлось испытать чувство настоящего испуга. Не познав страха, не испытаешь и бесстрашия!

* * *

В январе 1945 года мы начали победное шествие по

Восточной Пруссии. Я в составе 5-й гвардейской артиллерийской бригады на 3-м Белорусском фронте. Кстати, во время первой мировой войны мой отец, рядовой царской армии, прошел тот же путь, что и я: от Кибартай до Пилау, через Фишгаузен и Кенигсберг.

С большой осторожностью, под носом у противника мы строим наблюдательный пункт. Вызывают к полевому телефону: «Срочно явитесь в штаб бригады!» Снять меня с важной работы – я руководил строительством – командование могло только при особых обстоятельствах. Что же случилось?

Оставляю сержанта вместо себя, даю инструктаж, пробираюсь к своему замаскированному «виллису» и через несколько минут уже докладываю начальнику штаба: «Товарищ гвардии полковник, гвардии лейтенант (уже лейтенант!) Весник по вашему приказанию прибыл!» Полковник ничего не объясняет, лукаво улыбается и приказывает немедленно побриться, помыться, почистить сапоги и срочно отправиться к начальнику штаба армии. Молниеносно привожу себя в порядок и мчусь дальше. Приезжаю. Докладываю: «Товарищ генерал-майор, гвардии лейтенант…»

«Срочно идите вон в тот дом, – приказывает генерал. – Там вы все сами узнаете и поймете!» Вхожу в дом. Вместительный зал забит офицерами. Идет спектакль. Смотрю на сцену. Что такое? Не верю своим глазам. Неужели они? Да-да! Борис Кордунов, Галина Сперантова, Метельцев играют спектакль. Наши «щепкинцы»! Спрашиваю рядом сидящих: «Что за театр, Малый?!» – «Нет, не малый. Фронтовой».

Ребята знали, что я на 3-м Белорусском фронте. Узнали в штабе, где я сейчас. Начальство разрешило вызвать. И вот сижу в душном зале и плачу. На меня смотрят, как на идиота: пьеса смешная, а я реву. От счастья неожиданной встречи, от внимания, проявленного ко мне. Незабываемый вечер!

* * *

…Необходимо было узнать расположение немецкой танковой дивизии. Нужен был «язык».

Еду на «виллисе» к наблюдательному пункту командира дивизии и вдруг вижу, как с подбитого немецкого самолета на парашюте спускается летчик. Определить место его приземления было трудно, но вместе с водителем мы пробрались через канавы, кустарники и развалины до немца. При нем был только пистолет. Вести прицельный огонь ему было нелегко – расстояние, нервы,

ветер, неотцепленный парашют. Несколько пуль прошли мимо меня. Остальное, как говорят, было делом техники. Через несколько минут рыжеватый молодой человек сидел рядом со мной в машине. Я владею немецким языком в достаточной степени, чтобы объяснить человеку, что при хорошем поведении ему будет сохранена жизнь.

Привез его на наблюдательный пункт и при генерале начал допрос. Показываю на карту, спрашиваю, где находится пятая танковая дивизия. Летчик молчит.

– Ну-ка, напугай его пистолетом, – говорит генерал.

Я вытащил наган, наставил ему в лицо. Взвел курок, но немец, вместо того чтобы испугаться, улыбаясь, засвистел. Да так, что я и сейчас могу воспроизвести эту мелодию. На меня это произвело колоссальное впечатление! Он долго мне снился. Ас!

Но при летчике была оперативная карта, и разобраться, где находится пятая танковая, специалистам оказалось несложно. Через час огонь наших орудий уже сокрушал расположение немецких танков.

За этого летчика-«языка» я получил свою первую награду – медаль «За отвагу». А ведь мог проехать и мимо.

Второй «язык» и вторая медаль «За отвагу».

Однажды командир бригады полковник А. Ф. Синицын и я, пользуясь нашими неточными картами местности, забрались чуть ли не в расположение немцев. Случилось так, что у меня было небольшое отравление и мне понадобилось… выйти из машины. Укрылся в кустах над балкой, и вдруг на дне балки появляется немец с автоматом. За ним несколько солдат без оружия, без ремней. Я понял, что ведут немецких «гауптвахтников».

Проходят по дну балки и скрываются за поворотом. Идущий последним решил задержаться. Приспичило человеку. Я, толком не застегнув как следует штанов, тихонько свистнул. Немец повернулся на свист, и я ему показал пистолетом, чтобы он шел ко мне. Немец поднял руки, подошел. Я его довел до машины, привезли в штаб, и он оказался очень полезным «языком»!

* * *

Меня назначили временно исполняющим обязанности раненого командира батареи управления дивизии. Должность ответственная, капитанская, а не лейтенантская. В батарею управления входили и переводчики, и разведчики, взвод тяги, взвод строителей наблюдательных пунктов, хозяйственный взвод.

Прошло несколько дней. Вызывает начальник политотдела подполковник Якимюк.

– Вот шо, Евгений. Приихалы до менэ гарни хлопчики – два генерала и тры полковника. Узналы, шо мы на отдыхе. (Отдых – это два-три свободных от боевых действий дня для приведения в порядок материальной части.) Трэба трошки посидеть, побалакать с друзьями. Так вот, просьба у мэнэ до тэбэ – возьми в хозвзводе жбанчик водки и принэси. (Жбанчик – это двадцатилитровая канистра.)

Парень я был независимый, молодой:

– Товарищ подполковник, я не могу этого сделать. У меня все распределено: по сто граммов на разведчика, по сто граммов строителям. Что вы! Это же скандал будет!

– Ну, добрэ. Я тэбэ у другий раз говорю, шо до мэнэ приихалы гости. Разумиешь? Дуже гарни хлопцы. Трэба трошки посидеть. Принэси жбанчик водки.

Я не сдаюсь.

– У третий раз прошу – принэси жбанчик водки!

– Не могу! Это воровство, товарищ подполковник!

– Правильно, Евгений, воровство! Молодец, – улыбается Якимюк. – Но в каких условиях воровство? В трудных условиях Великой Отечественной войны! Так шо – принэси. А отвечать перед солдатами буду я!

Я принес. Через два дня жбанчик водки он мне вернул. Зря я волновался, так как по неопытности не знал, что у командира его ранга был законный неприкосновенный запас продуктов, которым он мог распоряжаться как хотел. Просто у него в тот день не было этого запаса, и он одолжил его у меня. И вернул.

Должен признаться, что упрямство мое ему явно понравилось и его доброе ко мне отношение вскоре проявилось в очень неприятной для меня истории.

* * *

Каюсь! Был грех – ударил человека за невыполнение приказа. Я был временно назначен командиром огневой батареи в один из полков нашей 5-й бригады. Полк был придан стрелковой части, находившейся в некотором отдалении от командира бригады полковника А. Ф. Синицына. Командиром огневой батареи я пребывал по совместительству с должностью его адъютанта. В разгар нижеследующей истории связь с ним была затруднена, а с дивизионным начальством связаться было легко, тем более что после моего пребывания на должности командира батареи

управления все секретные телефонные позывные я знал наизусть.

Итак, грех! Я, офицер, ударил солдата. По моему приказу он должен был взвалить на себя «катушку» с телефонным проводом и под обстрелом, стоя на подножке едущей автомашины «додж», стравливать нитку до тех пор, пока машина может продвигаться по бездорожью. Затем ползком или бегом дотянуть «нитку связи» до окопов и, подключив ее к аппаратуре, обеспечить тем самым мою связь с командиром стрелковой части. Мы должны были помочь пехоте своими орудиями, четырьмя мощными 152-миллиметровыми пушками-гаубицами.

Времени для выполнения приказа давалось 20 минут. Они проходят – связи нет. Проходят 25 минут. Отсутствие связи могло выглядеть как моя нерасторопность, что влекло за собой весьма неприятные последствия. Состояние взвинченное, кругом разрывы снарядов. Одним словом, «жарко». Вскакиваю в свои «виллис», еду по «нитке» и наталкиваюсь на сидящего под деревом, трясущегося от страха моего связиста.

– Ты что же делаешь, такой-сякой? Хочешь, чтобы меня расстреляли? Батарея не знает, куда стрелять! Почему сидишь здесь?

– Живот заболел, схватило. Не могу идти, – отвечает.

Взбешенный, выхватил пистолет, но сдержал себя, только ударил.

Сам дотянул провод. Все наладилось. Но замполит полка, который невзлюбил меня за умение дружить с солдатами, решил за рукоприкладство предать меня офицерскому суду. Такие суды в случае доказанности вины для офицера кончались разжалованием в рядовые и отправкой в штрафную роту. А штрафная рота – это минимум шансов остаться живым!

Что делать? Дозвониться до комбрига по своей связи никак не могу. Решаюсь и звоню подполковнику Якимюку. Все коротко рассказываю. Приказывает – ночью прибыть к нему вместе с замполитом полка.

– Шо вин зробыв?

– Ударил солдата. Рукоприкладство, товарищ гвардии подполковник. Недопустимо.

– Так. А шо зробыв солдат?

– Он не выполнил приказ командира. Но все-таки это рукоприкладство.

– Добрэ. Значит, лейтенант Весник ударил солдата. И вы его, значит, решили судить. Так, товарищ капитан? А шо написано в уставе по поводу нэвыполнения приказа командира в боевой обстановке?

– Расстрел на месте.

– Так. А шо зробыв лейтенант Весник?

– Ударил солдата…

– Давайте еще разок. Значит, шо зробыв лейтенант?

– Он ударил солдата.

– А шо вин должон был зробыть по уставу? За невыполнение боевого приказа?

– Расстрелять на месте.

– Так. Давайте, значит, у третий раз: шо зробыв Весник?

– Ударил…

– А шо должон был зробыть?

– Расстрелять…

– Значит, так. Вам, товарищ капитан, объявляю выговор за неправильную трактовку устава воинской службы, а гвардии лейтенанту Веснику объявляю благодарность за сохранение жизни боевой единице в лице солдата Красной Армии. Вы свободны, товарищ капитан!

Гвардии подполковник позвонил моему командиру бригады и порекомендовал освободить меня от временного командования батареей и вернуть к исполнению обязанностей адъютанта.

* * *

Кенигсберг. Передовая. Из каждого окопа – выход в сторону противника. Выход из окопа, о котором речь, простреливался немецким снайпером. И лежало там два трупа, которые из-за этого снайпера не могли убрать. Мне срочно понадобилось пройти мимо выхода. Миновать его и не получить пулю – почти невозможно. Что делать? Я знал, что снайперская винтовка укреплена на подставке и упирается в плечо снайпера. После выстрела она, хочешь не хочешь, немного смещается и ее приходится каждый раз возвращать в исходную позицию. Знаю, что у снайпера на поправку прицела уходит пять-шесть, максимум десять секунд. Снимаю с головы фуражку и бросаю в простреливаемый выход из окопа. Снайпер спустил курок. И когда я увидел, что пулька ударилась в тыловую часть окопа, кинулся бегом через опасную зону. Проскочил! Да еще успел послать снайперу воздушный поцелуй!

Для подобных выходок надо быть молодым. Очень молодым! Мне было 22 года. После этого «циркового» номера самоуверенно написал матери: «Меня не убьют!»

* * *

Пригород города Гольдап. Сидим с ординарцем в двухэтажном доме, налаживаем связь. Толком не осознавая, почему я это делаю, забираю рацию и говорю:

– Пойдем отсюда. Здесь будет что-то нехорошее. Я почувствовал. Пойдем…

Вышли из дома, отошли метров на сто, закурили. Через 30 минут дом взлетает на воздух.

И после этого случая писал матери: «Мама, меня не убьют». Не убили!

* * *

Единственный раз в жизни я видел настоящего профессионального разведчика.

Когда 9 апреля 1945 года мы взяли часть Кенигсберга, за высоким забором во дворе какого-то учреждения был выброшен белый флаг. Сошлись парламентеры с нашей и с немецкой стороны, открыли ворота и сдалось огромное количество офицеров и солдат. Первым сдался в плен человек в немецкой офицерской форме. Он подошел к командиру нашей части, обнял его, расцеловался с ним и сказал по-русски:

– Черт, устал, как собака.

Мы были чуть ли не в шоке. С него сняли немецкий китель, накинули полушубок – было еще прохладно. Подкатил «виллис», человек сел в машину и укатил.

Потом нам рассказали, что он-то и «сколотил» эту группу сдавшихся без боя немецких солдат и офицеров. А сдавшихся было более двух тысяч!

Слово о друге

Клянусь, все рассказанное ниже, – быль!

1945 г. Восточная Пруссия. Гольдап (мы взяли город не с первой попытки: наступали – отступали… Наступая, называли город своим именем, отступая – Гольдрапом)…

Неделя отдыха. Для артиллеристов на войне такая неделя – чистка стволов, ремонт орудий, постирушки, обучение пополнения, смена обмундирования… Хлопоты.

Во дворе аккуратненького, брошенного хозяевами двухэтажного домика (в котором разместилось несколько офицеров, в том числе и я) – курятник, битком набитый настороженно кудахтающей и кукарекающей (Кукареку – чужие!) живностью; чистенький коровник (этакая гостиница на 8 коров, уведенных хозяевами), еще пахнущий молоком. Да, да! Не навозом, а молоком и сеном! Гараж с четырьмя боксами. В двух – пусто, в третьем – «оппель-капитан», в четвертом – новенький восьмицилиндровый, семиместный, с открытой крышей и спицеобразными колесами – «хорх»! Мечта!

Все это – одушевленные и неодушевленные свидетельства весьма завидно-добротного немецкого житья-бытья, через несколько лет превращенного в светло-серую среднесоветскую житуху, позволившую переселенцам из Украины, Белоруссии, России, Литвы выращивать на Прусской земле по 16–18 центнеров зерна с гектара и «приколоть» за это орден на «грудь» Калининградской (что делал в этой Пруссии Калинин???) области, напрочь забыв о том, что поверженный враг получал на этой же земле по 50–60 центнеров…

«Ну, присоединили к России Восточную Пруссию – цветущий уголок земли. Что из этого получилось? Сейчас туда прежних хозяев и в гости-то пустить стыдно…» (Коваленко В. Имперский синдром. Огонек. 1993. № 42–43.)

Так вот, все это житье-бытье глядело на нас с каким-то, я бы сказал, осудительным любопытством и всем своим видом словно задавало вопросы: «А дальше что? А с нами что?», на которые ответить мы, конечно же, были не в состоянии. Лишь предчувствие подсказывало ответ: «Не жить вам так, как жили…» Ну, а как именно? – предчувствие молчало…

В середине двора – собачья будка и на длинной цепи – ее квартирант. Красавец пес! Немецкая овчарка! Цепь позволяла красавцу дотянуться до ворот в коровник, в птичник, до дверей гаража, жилого дома и до озерца-прудика. Пес был единственным «предметом» двора, не задававшим своим видом никаких

вопросов. Он действовал! Он прогонял нас! Он пугал! Он был принципиален и без устали рычал и гавкал на незваных гостей. Во избежание физических схваток, мы были вынуждены забаррикадировать от него вход в наше жилище.

Озерца-прудики, а их было многое-множество по всей Пруссии – до «обработки» их нашими «тружениками», теми, кто «был ничем, а стал всем», – выглядели явно «враждебно»: они кишели рыбой, раками, да и вода была в них до «безобразия» чистой, без цветущей зелени-ковра родных водорослей… Одним словом, непорядок! Правда, надо сказать, что через несколько лет все встало на свое место: все озерца-прудики приняли наш облик: красивый ковер ряски покрыл все водоемы; раки, которых не успели сожрать, спокойно скончались, рыбу всю выловили в связи с необходимостью поднимать благосостояние народа… И успокоились! Каждый имеет право на отдых! Уж больно отвлекали эти озерца советского труженика от строительства нашего, невиданного доселе, будущего…

Однако вернемся к вражескому псу. Очень он мне понравился. Мордочка и глаза изумительно выразительные, кокетливо подвижные и часто изменявшие свой рисунок брови: то они обе дугой приподняты, то смыкаются очень сурово, то одна приподнята, а другая нет, и наоборот. Постоянно менялось положение головы: когда он лаял – она приподнималась носом вверх и направлялась, как пушка, прямо на тебя, то неожиданно склонялась то влево, то вправо. Уши его словно два флажка в руках матроса, передающего сигналы по системе Морзе. Описать этот танец ушей-локаторов просто невозможно! И никакого движения хвостом…

Очень мне хотелось подружиться с псом. Но как? Да еще за неделю! И все же я додумался! Я попросил всех, разместившихся в доме, не давать псу никакой еды, не обращать на него никакого внимания и даже иногда бросать в него камушками… Таким образом, на фоне этих неприветливых дядей появлялся я – дядя-ангел, который (стоя сначала на безопасном расстоянии) подкидывал ему то суповые косточки из солдатского котла, то кусочки колбаски, то сладенького чего-либо: сахарку, конфетку или печеньице…

В конце второго дня пес стал лишь взглядом реагировать на кличку Рекс, почему-то присвоенную ему с первого взгляда.

На третий день расстояние между ангелом и псом сократилось вдвое, и при желании пес мог закусить слегка и мной. Братание развивалось благоприятно… На мое «Рекс!» – пес движением ушей уже стал как бы отвечать: «Ну, я Рекс! Что дальше?»

Утро четвертого ознаменовалось тем, что, приблизившись к моему новому знакомому с каким-то лакомством, я заметил легкое помахивание хвостом, робкое, неритмичное – хвост то замирал, то оживал, то нервно подергивался, то пару раз резко смахивал пыль с дорожки, на которой лежал. (Кто-то когда-то рассказывал мне, что после такого поведения хвоста собака, как правило, агрессивно себя не поведет.) Я решился на самопожертвование, подошел и предложил ему какую-то вкуснятину из рук. Пес посмотрел мне в глаза, лениво поднялся, приблизился к руке, понюхал гостинчик и осторожно-осторожно, прямо-таки максимально интеллигентно, как бы стесняясь, принял его огромными клыками.

Ну, что ж, первое «лапопожатие» состоялось!

Не могу не отвлечься… Осторожность, с какой пес принял еду, напомнила мне маленький рассказ Анны Владимировны Дуровой, художественной руководительницы уголка им. В. Л. Дурова, названного так в честь ее отца, легендарного циркового дрессировщика. 4 мая 1977 года в ее кабинете зазвонил телефон. Ей сообщили о смерти мужа – Прова Садовского, художественного руководителя Малого театра (он долго и тяжело болел). Анна Владимировна разрыдалась. Во дворе гулял слоненок. Он услышал всхлипывания своей воспитательницы, подошел к окну (кабинет находился на первом этаже), долго разглядывал ее, плачущую, надавил своим огромным лбом на решетку открытого окна, сломал ее, протянул к лицу Анны Владимировны хобот и его чувствительнейшим окончанием стал осторожно вытирать ее слезы… «Я уверяю вас – так нежно, так осторожно и ласково человек даже губами сделать подобное не способен!» – говорила потом Анна Владимировна. Откуда такая осторожность, такой такт в поведении животных – вообще, и у моего нового знакомца в частности? Не знаю…

Итак, первое пожатие лап… В конце пятого дня Рекс позволил мне положить ладонь на свою голову, да еще так, что глаза оказались прикрытыми ею. Специалисты-собаководы знают, что это означает – полная, безоговорочная доверительность!

Рекс оказался талантливым приятелем. Все семь дней я подавал команды, дублируя немецкие слова русскими, да еще иллюстрируя их жестами. Например, «лиген» – «ложись», «зитцен» – «садись», «фу» – «нельзя», «ком» – «ко мне»… Если употреблял только русские слова, то обязательно наглядно показывал, что нужно делать соответственно команде. Если говорил «бегом!», то бежал вместе с Рексом, если «голос!» – сам лаял. Очень немного времени прошло после первого «гав-гав» и до дня, когда Рекс стал понимать мои команды уже без немецких

слов. Он стал «говорить» со мной на русском языке.

Мы – человеки – тратим значительно больше сил и времени на овладение иностранным языком, нежели их израсходовал мой дружок. Ах, если бы люди могли точно расшифровывать, что означает рык, лай, вой, скулеж собак, они, собаки, попадали бы в институт иностранных языков легче, чем человеки! Люди утратили Божий дар – дар предчувствия. А собаки, не говорящие, но мыслящие существа, дара этого не потеряли. Наша собака – немецкая овчарка Джолли – перед арестом заместителя моего отца, жившего с нами в одном доме, всю ночь выла. Всю ночь! Второй раз она выла, увидев плачущую маму, которой сообщили, что в Москве во время командировки арестован отец. Ах, если бы люди, предчувствуя беду, были способны выть, как Джолли! Я думаю, что вой миллионов уберегал бы нас, людей, от многих и многих бед. Это дьявол отнял или приглушил этот дар в человеке!

…Продолжились боевые действия нашей артиллерийской бригады. Мы шли по Восточной Пруссии к Кенигсбергу. Рекс был всегда со мной, спал, как и я, в кузове крытого, мощного «студебеккера» – американского грузовика. Как правило, ночью военные действия прекращались, все замирало. И тогда педагогические занятия с Рексом проходили именно в это время – «ночной лицей».

Результаты были потрясающими. 8–10 раз ровно в 5.30 утра срабатывал будильник, и каждый раз при этом я подавал синхронно со звонком команду «голос!» и сам вместе с псом лаял.

Пример – лучшее учение! И вот… будильник я не завел. Хотите верьте, хотите нет: ровно в 5.30 дружок залаял!! Да как!

Вид у него был, ну просто получившего пятерку счастливого ребенка! Он понимал, что совершил что-то очень правильное и выдающееся: как плетью, размахивал хвостом, счастливый, радостно возбужденный лаял, громко попискивая. Проявленная мною всеми доступными мне средствами выражения благодарность за демонстрацию высокого интеллекта и таланта только поддерживала его неистовую радость и унять его стоило большого труда.

Но стоило мне как-то утром не выказать своего восхищения в его адрес (а он все последующие дни продолжал меня будить ровно в 5 ч 30 мин), а, наоборот, очень сухо сказать: «Фу! Тихо! Фу! Нельзя лаять! Фу!» – как он моментально сник, чихнул почему-то, облизался, высунул язык и, часто дыша, уставился на меня в ожидании последующих указаний. И… опять хотите верьте, хотите нет – на следующее утро не разбудил меня, спокойно ждал, когда я проснусь.

Я проводил опыты: заводил будильник и на 6 часов и на 7 и снова на 5.30. Достаточно было два утра подряд, просыпаясь по звонку, скомандовать «голос!» и самому немножко полаять, как на третий день он будил меня в соответствующее время без звонка! Чудо!

Музыку по радиоаппаратуре мы на фронте слушали часто и в любых условиях – на отдыхе, на передовой, в окопах, в автомобилях. Когда звучала синкопированная джазовая музыка, я усиливал звук и подавал команду, показывая на приемник: «Гитлер! Голос! Гитлер!» – Рекс, заражаясь громко звучавшим оркестром и резко подаваемой мной командой, громко и зло лаял на источник звука. А поймав лирическую мелодию, я убирал громкость и очень тихо говорил: «Сталин, Сталин» – и, как правило, давал при этом что-нибудь вкусненького, поглаживая дружка. Он вилял хвостом, высовывал язык, повисавший вниз сантиметров на пятнадцать, и часто дышал. Затем, после нескольких уроков, в первом случае я отбрасывал команду «голос» и только на «Гитлер» Рекс зло лаял, а во втором – после «Сталин» вилял хвостом и от удовольствия высовывал язык. Рассказам моим об этих экспериментах никто не верил – приходилось проводить множество показательных сеансов и ни в одном из них мой новый друг не подвел меня! Партнер верный!

Накануне штурма Кенигсберга я был легко контужен и девять дней лежал в полевом госпитале, разместившемся в больших палатках. Из-за сильных головокружений в первые пять дней вставать с койки было невозможно. И говорить громко было тяжело… Рекс ждал меня, бродя вокруг палатки. Два дня отказывался от пищи. Не подпускал к себе никого, рычал. Врач посоветовал мне сделать большой мякиш из каши, хлеба, масла и кусочков мяса – обязательно своими руками, и так как палатка пропахла медикаментами, подержать его (извините!) под мышкой, чтобы он впитал в себя запах моего тела. Я все потихоньку проделал и отдал мякиш врачу. Тот вышел из палатки, назвал моего дружка по имени, в отдалении от палатки положил на камушек мякиш, сказал: «На!» – и отошел. Рекс подошел к камушку, понюхал круглый гостинчик, слегка вильнул хвостом и осторожно, не спеша, интеллигентно слопал его… Проблема кормежки была решена, а на шестой день я сам вышел к другу…

Описать нашу встречу не под силу человеку – нужно обязательно влезть в шкуру преданной животинки… Но как? Рекс часто-часто замахал хвостом, заскулил, не позволив себе резко кинуться лапами мне на грудь… Лизнул несколько раз мою руку и все время поскуливал. Он говорил мне что-то, явно

успокаивал… Ей-ей, он понимал, что я болен, он сочувствовал мне, он жалел меня, он все время смотрел мне в глаза, он изучал меня – больше я ничего не могу сказать. Помню только, что еле-еле сдержал слезы.

Заметил я еще одно феноменальное качество пса. Ему передавалась степень человеческой напряженности и сосредоточенности. Ему было понятно – это совершенно ясно читалось любым, не только мною, – что людям не до него, что они заняты чем-то очень важным, что нельзя им мешать, что обращать их внимание на свою персону нескромно. Рекс никогда в такие минуты не лаял, не приставал с ласками, а если случалось, наши взгляды скрещивались, то хвостом, только хвостом посылал немую телеграмму: дескать, понимаю все, желаю удачи, любящий тебя и преданный Рекс!!

Окончились тяжелые бои за город Кенигсберг. Мы вышли к Куршскому заливу и практически к 1 мая 1945 года закончили военные действия. Мы – воины прославленной 5-й гвардейской артбригады Резерва Верховного Главнокомандования – получили право на отдых… Расположились в живописном месте под Кенигсбергом, разбили палатки, в том числе военторговскую, прилавок которой предлагал довольно приличный ассортимент всякой всячины. Продавщицу – младшего сержанта – звали Маша. Несколько раз наведывался я в эту манящую к себе палатку и, конечно, в компании с Рексом.

Один из моих солдат – я к тому времени носил звание гвардии лейтенанта – опытный в прошлом собачник, посоветовал мне натаскивать Рекса на команду «ищи!»: далеко бросив палку от себя или дав ему понюхать, спрятать ее где-нибудь и, дождавшись, когда он ее найдет, требовать принести ее: «Палку ко мне!» По дороге к Маше я постоянно произносил ее имя: «Идем к Маше. К Маше! Маша хорошая!» К шее Рекса я подвешивал сшитый той же Машей из портянки мешочек, а когда приходил с ним в палатку, просил передние лапы положить на краешек прилавка, с тем чтобы Маша могла достать руками сумку. Когда Рекс это исполнял, он делался на голову выше продавщицы. Маша доставала из сумки заранее положенную туда записку с перечнем нужных мне покупок и деньги на их приобретение. Товары и сдачу укладывала в сумку и при мне несколько раз подавала команду «Домой!». И так несколько раз.

Наконец настал день великого испытания. Я причесал пса, аккуратно бантиком завязал на шее веревочки от сумки, положил туда деньги, список покупок: папиросы, спички, печенье, колбаса, хлеб – и скомандовал: «Ищи Машу! Машу! Ищи!» Словно стрела, пес ринулся в сторону военторговской палатки… Ровно через

пятнадцать минут запыхавшийся, со светящимися от счастья глазами, гав-гавкая уже на расстоянии 150 м от меня, Рекс примчался, положил свои лапищи мне на грудь, пытаясь меня лизнуть, дождался, когда я освободил его от сумочки, и… стал демонстрировать какой-то немыслимый танец, кружась вокруг самого себя, подпрыгивая и почему-то рыча, очевидно от удовольствия. На протяжении всего этого буйства он не переставал следить за выражением моих глаз и вообще за моим поведением, требуя разделить с ним праздник победы в сложном деле высшего образования, в сфере диалога с человеком, в котором собака мало чем уступала собеседнику в сообразительности, в логике и дисциплине!! Рекс окончил вуз!

9 мая 1945 года вся страна праздновала День Великой Победы, а наша бригада в составе большой группы войск шла на войну, так как Курляндская группировка войск противника не капитулировала. Шли и ехали мы все, естественно, довольно понурые… Надо было видеть Рекса! Складывалось впечатление, что он осознавал сложности военной обстановки и отлично всех нас понимал. Он был подавлен, нем, очень походил на нас всех и даже выражение мордочки было адекватным нашим тревожно-настороженным лицам. На марше, если не ошибаюсь, с 11-го на 12 мая нам объявили, что Курляндская группировка прекратила сопротивление. Началось радостное буйство людей по поводу окончания войны, по поводу того, что теперь гарантирована жизнь! По поводу того, что впереди мир, семья, дом – рай, одним словом!! (Тогда, в 45-м году никто из нас не мог предположить, что страна наша так распорядится своей судьбой, что скатится в болото бездарных и преступных распрей людских.) Так вот, буйство это выражалось в том, что люди кричали, пели, некоторые почему-то стреляли в покрышки автомобилей, очевидно, чтобы не двигаться дальше, некоторые яростно боролись друг с другом, падали на землю. Я выпил кружку водки и (почему – не знаю) лег в канаву и рычал! Генерал наш, интеллигент дореволюционной военной закваски, не позволявший себе ни одного грубого слова, называвший нас «господа офицеры», объезжал наши порядки, стоя без кителя в «виллисе», стрелял в воздух из ракетницы, кричал: «Ура! Победа!» – и добавлял самые что ни на есть крепкие русские слова, приводя нас в восторг и изумление!

Мой старшина Калоев не смог совладать со своим кавказским темпераментом и от счастья, обнимаясь с другом и целуясь с ним, надкусил ему мочку уха… Апогей вакханалии счастья – хохочущий солдат с чуть-чуть кровоточащим надкусанным ухом и плачущий, кричащий старшина! Оба держат, как дети на уроках

по танцу, друг друга за руки. И на этом фоне – мой Рекс, задравший свою «физиономию» в небо, бьющий хвостом по земле и по воздуху – вверх-вниз, вверх-вниз, влево-вправо, влево-вправо и почему-то воющий, как и я, рычащий в кювете! Ноты воя были не минорные: он пел. Мой друг пел! Не выл, а пел! Он пел радость, он пел победу, он пел человеческий праздник! Рекс оказался еще и композитором: он пел свою песню! Свою красивую, полную добрых собачьих чувств песню!

Годовщину нашей крепкой фронтовой дружбы с Рексом мы праздновали в военном городке Пери в полусотне километров от Ленинграда. В начале апреля 1946 года я отпросился в Москву, разжалобил там начальство тем, что, если не демобилизуюсь из армии до конца месяца, потеряю целый учебный год в училище имени Щепкина при Малом театре, два курса которого закончил до мобилизации в армию в 1942 году. Через несколько дней я вернулся в Пери, имея в кармане все документы для освобождения в срочном порядке от военной службы.

Никто из встретившихся мне по возвращении в воинскую часть не мог знать об этих документах и, естественно, никаких изменений в общении со мной не было… Все как всегда: «Здравствуй! До свидания!» И лишь одно существо, не умеющее говорить и писать, мой любимец… Однако все по порядку…

Я вернулся. Подошел к двери квартиры, в которой жил. Квартира была коммунальная. Рекса я оставил на попечение добрых соседей, которых он слушался в мое отсутствие. Поднимаясь на третий этаж, слышал приветственный особо восторженный, с попискиванием, лай явно в мой адрес. Я открыл дверь… Пес в неистовом порыве радости бросился мне лапами на грудь, успел меня облобызать и, глянув мне в глаза, вдруг задержал дыхание. Снова часто задышал, снова попридержал очередной вздох, сник, вяло сбросил лапы с моей груди и понуро залез под диван… Я все понял: он почувствовал предстоящую разлуку! Хотите верьте, хотите – нет, но это так!

Вечером за письменным столом я готовил прощальные документы. Мой милый Рекс, потихонечку подобрав (так казалось) свои когти, выполз из-под дивана, подошел ко мне, положил бочком голову на колени и в упор смотрел на меня… Долго смотрел… Не двигался. От пищи отказался и на ночь снова залез под диван, чего раньше никогда не делал. Я всю ночь не спал… Меня встревожило и озадачило необъяснимое собачье предчувствие! Что это? Кто наделил их этой удивительной способностью? Я вспомнил свое детство… Нашу собаку Джолли…

Дальше писать печально, горько, страшно… Я уехал. Соседи дали слово ухаживать, кормить Рекса. Я оставил друга…

Объясню, почему я решился на разлуку. Я возвращался в Москву в никуда. Скромная комната в 12 квадратных метров во время войны была занята. Родственники, жившие чрезвычайно скромно, принять меня с собакой, естественно, не могли. Чем кормить собаку в карточной Москве? Проблема сложнейшая! Рекс оставался в условиях лучших, чем те, которые ждали меня – студента. Лишь эти соображения оправдывали тяжелую разлуку с животинкой…

Эпилог. Соседи, которым я оставил Рекса в Пери, рассказывали, что несколько раз Рекс бегал на железнодорожную станцию – ждал электрички, высматривал меня. Его приводили на поводке домой, но на следующий день он снова сбегал на станцию. Худел, почти ничего не ел… Кто-то посоветовал сдать его в школу сторожевых собак при МВД. Учился он плохо. Зачах и вскоре ушел из жизни…

Я до сих пор чувствую себя виноватым в том, что не взял его в Москву, несмотря на то, что легче ему не было бы – так я считал. Только теперь с уверенностью могу сказать, что, конечно, было бы легче, потому что дружба и преданность выше всяких благ – и для Собаки и для Человека!

Прости меня, Всевышний, прости меня, любимый пес, если я поступил не так!

Рекс! Я уверен – ты слышишь меня! Прости…

Из всех воспоминаний о войне извлекаю лишь то, что имеет отношение к добру, к человеческой дружбе! Основа дружбы – это способность сопереживания и сострадания! Без этих подарков Бога людям не существует дружбы! Если человек говорит о том, что дружба – надуманное свойство людей, это означает, что он обделен, что он грешен, что он в лапах Сатаны!

В страшной войне **Добро** было сильнейшим оружием! Странная формулировка, да? Нет, не странная. Когда ощущаешь доброе к тебе расположение солдат, начальства, пишущих тебе письма – о! – это так помогает побороть в себе страх, сомнения. Это удваивало и духовные и физические силы и, если хотите, обязывало быть мужественным. Вообще на войне трудно было быть плохим. На войне человек – как на «рентгене»!

И в заключение мне хочется сказать несколько слов молодым людям. Да, вам трудно только позитивно (или, пользуясь современной избитой терминологией, – однозначно) размышлять по поводу выигранной нами адской войны. Не стоит тратить энергию и время на то, чтобы оценивать то так, то эдак то, что сделали мы – старшие! Не надо пилить опилки, надо лишь

поверить тому, что большинство из нас воевало с чистыми сердцами и совестью. Надо обязательно поверить тому, что все свои силы люди должны тратить на Единение во имя того, чтобы не повторился тот кошмар, в котором под грохот моторов, металла и огня скрежетала чудовищная, неописуемая мешанина лжи и героизма!..

* * *

Война окончена. Я, молодой лейтенантик, еду в троллейбусе по Москве. На одной из остановок в салон вошла симпатичная девушка. Влюбился моментально. Настолько влюбился, что пропустил свою остановку. Решил непременно познакомиться.

Она между тем внимательно посмотрела на меня и многообещающе улыбнулась. У камерного театра, теперешнего имени Пушкина, вышла, я за ней.

– Можно с вами познакомиться?

– Конечно, – ответила девушка, по-прежнему улыбаясь.

Протянула мне руку и назвала имя.

– Я провожу вас!

– Ладно, – и улыбка ее стала просто неземной.

Мы подошли к дому, который я очень хорошо знал. Поднялись на четвертый этаж, остановились у двери. Девушка позвонила, дверь открылась, в дверях – мой двоюродный брат художник Борис Немечек.

– Куда ты запропастилась? Я уже беспокоиться начал, – выговорил он девушке.

– Не сердись, Боря. Зато я встретила и привела к нам Женю.

Угораздило же меня влюбиться в жену брата! Мы никогда с ней прежде не встречались. Я не знал, что Борис женился. А она меня еще в троллейбусе узнала по семейным фотографиям.

В троллейбусах с тех пор с женщинами никогда не знакомился: каждая из них могла оказаться родственницей! Чем черт не шутит!

* * *

Умолив штабных офицеров выдать на руки (что не положено) демобилизационные документы, чтобы ускорить их оформление, в апреле 1946 года я распрощался с армией, очень многому меня научившей, и явился в столицу, чтобы продолжать овладевать профессией артиста. Я не хотел лишиться возможности быть

зачисленным на окончание второго курса училища имени Щепкина, чтобы тем самым не терять целый год учебы.

Я окончил училище круглым отличником по мастерству актера, уже играл маленькие рольки в Малом театре. Дважды заполнял анкету для зачисления в штат этого театра и дважды не был зачислен. Как выяснилось потом – по причинам неблагонадежности: сын врага народа. А то, что я воевал, имел награды, не было принято во внимание.

Деталь для нашей советской действительности очень типичная!

Обидно, но, как говорится, все к лучшему. Поступил в труппу театра им. Станиславского, затем Театра сатиры. Там я получил возможность сыграть большое число ролей. Обижаться на судьбу никак не могу еще и потому, что в конце концов я был приглашен в коллектив Малого театра уже сложившимся артистом с именем. Я прожил в нем интересную творческую жизнь, заслужил высокое звание «Народный артист СССР». К боевым наградам прибавились ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Алексей Дикий

Бог, редко чудеса творя,
Подобных в свет мужей являет.
Создав Великого Петра,
Поныне отдыхает.

Г. Державин.

«На изображение Петра Великого»

Моя память удерживает тысячи лиц, походок, жестов. Хранит облик и манеры многих актеров и режиссеров, с которыми я работал. Отчетливо помню тех, кто поразил меня своим талантом, интеллектом, оригинальностью характера. А в жизни мне случалось встречать немало интересных и даже выдающихся людей. И все же, если бы меня спросили, кто из них оставил в душе и памяти наиболее яркий след, я бы ответил не задумываясь – Алексей Денисович Дикий.

Я услышал это имя еще мальчишкой в Кривом Роге, где впервые попал в чудесный мир, именуемый Театр. В то время в город приезжали на гастроли коллективы столичных артистов. От них-то я и узнал о Диком. О нем всегда рассказывали что-то заманчивое: то восхищенно говорили о какой-то «Блохе», называя спектакль балаганом, раешником; уверяли, что Дикий в спектакле необыкновенно играет Платова. То восторгались его режиссерской изобретательностью в «Первой Конной», в «Леди Макбет Мценского уезда». Называли Дикого потрясающим, невероятным, отчаянным, диким Диким.

Этот человек завораживал меня своей загадочностью. Я упивался рассказами о нем, о его постановках и ролях, о его натуре, его таланте, богемности. По-моему, я знал о нем все. Знал даже мизансцены спектаклей, которые никогда не видел. А мизансцены Дикого были настолько неожиданны, талантливы, что всегда вызывали взрывы аплодисментов.

К примеру, в одном из спектаклей у него на сцене в накуренной комнате сидели мужики, а над ними в клубах табачного дыма висел топор! В «Смерти Тарелкина» персонажа уводили на допрос в полицейский участок. Уводили жгучего брюнета, с допроса возвращался абсолютно седой человек. Даже

два чучела медведей, которые в прошлом нередко стояли у лестниц в вестибюлях домов богатых людей, от ужаса оживали и пятились за кулисы.

Надо же так случиться, что, демобилизовавшись, я попал на курс, которым руководил Дикий! Я был влюблен в Дикого заочно, но окончательно он меня покорил вот как.

Позволю себе небольшое отступление. До возвращения в училище я имел дело в основном с начальниками, военными, чаще всего людьми безапелляционными. И чем хуже человек разбирался в своем деле, тем был безапелляционней. Так складывалось, что я чаще подчинялся, нежели проявлял себя, верил, что старшие, руководящие люди действительно ближе к истине. Я тушевался перед опытом других.

Естественно, что Дикому я просто смотрел в рот, стараясь не упустить не то что сказанного слова, но даже намека на мысль. Для меня он был почти пророк.

На одном из занятий я задал Дикому какой-то вопрос. И вдруг этот талантище, умница задумался! Через большую паузу этот великан мне, мальчишке, признается:

– Не знаю.

Вот в это мгновение я влюбился в него на всю жизнь!

Попробуйте сегодня найти режиссера новой формации, который бы признался, что чего-то не знает. Спросите его, сколько яичек откладывает комар или какое количество газа выпускает трактор «Дурбинтурмур-2» в течение полугода в жаркие дни? Он вам ответит на все! Нынешние «знают» все! А Дикий:

– Не знаю.

Проводить время в обществе этого самобытного и, не побоюсь сказать, гениально одаренного человека было счастьем. Плотный, широкоплечий, в свободно сидящем пиджаке, большая, гордо поднятая голова, чуть печальный и чуть насмешливый взгляд. Всегда казалось, что он смотрит в самую душу. При своем среднем росте Дикий производил впечатление гиганта.

Позднее, когда мы уже сдружились, он как-то пришел ко мне домой. Мама накрыла на стол, Алексей Денисович немного выпил. Посмотрел на мою мать и сказал:

– Эх, моложе б ты была.

Мама понесла разогревать холодную свинину. Он перехватил у нее сковороду:

– Кто ж под водку свинину греет, матушка?!

После его ухода мама сказала:

– Ты знаешь, Женя, я всегда тебя считала крупным молодым человеком. Но вот явился Дикий, и комната мне показалась

меньше, потолок ниже, а ты рядом с ним щуплым и невыразительным юнцом.

А ведь Дикий был намного ниже меня ростом. В любом обществе, в любой компании Дикий затмевал всех, сразу становился центром всеобщего внимания. В его манере вести себя была удивительная освобожденность от всякого фарисейства, ханжества, фальши, заботы о том, что о нем подумают или скажут.

Облик его был необычайно артистичен. Это проявлялось в умении рассказать анекдот, красиво есть, ухаживать за женщинами, в умении кратко и зримо передать впечатление о человеке, произведении искусства.

У Дикого был острый, образный язык. Словечки его гуляли по Москве. Он нисколько не заботился о том, чтобы его мнение не дошло до того, о ком он довольно резко высказался.

Сам он был живым парадоксом, совмещавшим в себе крайности и противоречия. Лиризм в нем уживался с едкой насмешливостью, бравада с мучительными сомнениями, наивность с мудростью, смелость с застенчивостью. Он любил жизнь! Жадно, со вкусом жил.

Одни любили его до обожания, другие боялись и недолюбливали. Но даже враги не могли отказать ему в широте, в размахе, в какой-то особой русской удали.

Дикий был репрессирован, лишен всех званий, сослан в Сибирь. Потом Дикого выпустили из лагеря, разрешили ставить спектакли. При нем во всех поездках находился майор НКВД: жил в одной гостинице, ел с ним, сидел на репетициях, на спектаклях. И содержался за счет договоров, заключенных Диким с театрами. В договорах же Дикий всегда вписывал как одно из условий пункт, по которому ему должны были выдавать 0,5 литра спирта ежедневно.

Майор следил за Диким неотступно, и, разумеется, Алексей Денисович делился со своим конвойным спиртом.

Через три месяца уже Дикий следил за майором, искал его после репетиций и спектаклей.

– Где майор? Нам надо ехать!

Майор спился.

Позже Дикий примкнул к работавшему в Омске театру имени Вахтангова. С ним и вернулся в Москву. Его восстановили во всех правах, он вновь стал получать звания. Позже выбрали на какую-то почетную должность в профсоюзе работников искусств. Там-то на одном из собраний Дикий и сказал свою знаменитую фразу:

– Ребята, там, где бьет ключом общественная жизнь,

кончается искусство!

О Диком в актерской среде ходили легенды. Из них складывался образ художника оригинального, стихийного, порой чуть ли не безумного! Говорили, как о праздном гуляке, творившем по наитию, не задумываясь. Но те, кто учился у Дикого, работал под его руководством, знают, каким великим тружеником был Алексей Денисович, как упорно искал и находил свои блистательные решения спектаклей и ролей.

Этот человек с репутацией неуемного жизнелюбца, личность анархическая, своевольная, ни разу не опоздал на репетицию, не пришел в театр неподготовленным, не знающим точно, что он сегодня будет делать.

В своей режиссерской работе Дикий всегда исходил из интересов актера, и только из них. Он говорил:

– Режиссер все должен сделать для актера! Но он ничего не может сделать за актера.

Дикий считал своей обязанностью разбудить его фантазию, а уж дальше актер должен был действовать самостоятельно и даже уметь навязать свою творческую волю режиссеру.

Однажды я наблюдал, как Дикий принимал гримы. Актеры, если у них острохарактерная роль, любят изменять себя так, чтобы никто не мог узнать! Один из актеров, сдавая грим Алексею Денисовичу, надел парик, наклеил брови, прилепил нос, подбородок, увеличил уши. Дикий посмотрел на него, одобрил:

– Хорошо, только ты пойди уши накладные сними. Парик тоже сними, потом приди и покажись.

Актер снял уши, парик. Возвращается.

– Ну а сейчас?

– Это значительно лучше, – говорит Дикий. – У тебя там подбородочек приклеен? Ну-ка, подбородок сними. И нос.

Актер снимает подбородок и нос. Остались одни брови.

Дикий:

– Вот уже почти хорошо. А сейчас быстренько сними и брови.

Актер остается совсем без грима, в «своем лице». И слышит:

– Потря-са-юще! Утверждаю!

Дикий мечтал об актере мыслителе, аналитике, сорежиссере. Мечтал о таком артисте, который бы имел основания сказать о себе:

– Скажите, что мне сыграть, а уж сыграть я сумею.

Дикий любил актеров и считал день, проведенный без общения с ними, потерянным.

– Жизнь артиста – цепь бесконечных проявлений, – любил повторять он. – В нашем деле можно знать, не умея, но нельзя

уметь, не зная.

Сам Дикий знал очень много, был образованнейшим человеком, владел несколькими иностранными языками, был почетным членом каких-то академий.

Я считаю, что творческая жизнь Дикого удалась не вполне. По ряду обстоятельств, от него не зависящих, он сделал меньше, чем мог. Образ прожитой им жизни щемяще-точно выражает его надгробие на Новодевичьем кладбище: мраморная плита, рассеченная трещиной из угла в угол.

Дикий считал себя учеником Станиславского и Немировича-Данченко, хотя, по собственному признанию, он не укладывался в рамки мхатовских критериев. Как каждый большой художник, он шел в искусстве своим путем. Его творческий опыт обогатил и расширил учение Станиславского и, конечно, заслуживает глубокого изучения.

Когда Дикого утвердили на роль Сталина в фильме «Сталинградская битва», начались согласования о том, какую сумму поставить в договоре за исполнение роли вождя. Предложили в дореформенных (до 1947 года) деньгах сто тысяч рублей.

Прошло немного времени, и Дикий звонит на студию:

– Я не против предложенной суммы, но как-то неловко.

– А что такое?

– Ну как же. Борису Федоровичу Андрееву за абстрактный образ солдата в фильме «Падение Берлина» вы платили сто пятьдесят тысяч рублей, а мне за образ товарища Сталина – сто тысяч. Как-то, понимаете, неловко.

– Минуточку, мы подумаем. Мы вам позвоним.

Через полчаса звонок:

– Алексей Денисович, все в порядке! Вы правы. Вам предлагается сумма в сто двадцать пять тысяч!

– Значит, интервал от товарища Сталина до абстрактного солдата, которого сыграл Борис Федорович Андреев в «Падении Берлина», стоит двадцать пять тысяч. Как-то, знаете, сомнительно. Если узнают…

– Поняли! Не додумали. Сейчас, буквально минуточку, мы обсудим и вам позвоним.

Опять прошло тридцать минут. Звонят:

– Все в порядке! Действительно, вы правы. Извините. Техническая накладка, понимаете ли. Мы даем вам тоже сто пятьдесят тысяч!

– Дело не в деньгах, – говорит Дикий. – Но вы ставите на одну ступеньку товарища Сталина и абстрактного солдата, которого сыграл Борис Федорович Андреев в фильме «Падение

Берлина».

– Поняли! Поняли! Тогда просто без обсуждения – сто пятьдесят пять тысяч!

– Ну вот это другое дело. Все-таки на пять тысяч отличается Сталин от абстрактного солдата, которого сыграл Борис Федорович Андреев в фильме «Падение Берлина».

После того как на экраны вышли обе серии «Сталинградской битвы», в доме у Дикого устроили мальчишник. Было нас четверо. Накрыли мужской стол: горчица, чеснок, хрен, сосиски и водка. Женщин не было. Сидим беседуем. В четверть двенадцатого ночи звонок в дверь.

Дикий посмотрел в глазок двери и говорит:

– Наверное, опять за мной. Женя, открой.

– А что такое?

– Да вот… подполковник НКВД. – И ушел в другую комнату.

Я открыл дверь.

– Алексей Денисович дома?

– Дома.

– Его через сорок пять минут ждет товарищ Сталин. В Кремле.

Дикий услышал и вышел к нам.

– Я не могу.

– Почему?

– Я выпил водки, съел чесноку. Нет-нет, от меня пахнет. Я не могу.

– Согласитесь, глупо будет, если я доложу, что вы наелись чесноку, выпили водки и поэтому не приедете! Приведите себя в порядок, все будет нормально. Поедемте. Неудобно.

Алексей Денисович побрился, переоделся, сказал нам, чтобы ждали, и уехал. Вернулся через полтора часа. Вот что он рассказал.

Приехали они в Кремль, привели его в комнату, где стоял большой мраморный стол без скатерти, и оставили одного. Ждал минут двадцать. Приходит Сталин. Поздоровались.

Сталин:

– Я хотел с вами побеседовать. Вы знаете, что это я назначил вас на роль Сталина? Мне Берия предложил посмотреть двенадцать актерских проб. Я выбрал вас. Потому что вы никакого акцента в роли Сталина не играли. И внешнего сходства нет. Мне это понравилось. Могуче выглядите в этой роли. Скажите, почему вы не пользовались этими атрибутами, которыми все артисты пользовались? Ни акцентом, ни внешним сходством.

– А я, извините, не вас играл, – говорит Дикий, прикрывая

ладонью рот, чтобы не слышно было чесночного запаха.

– Позвольте узнать, кого же вы, в таком случае, играли?

– Я играл впечатление народа о вожде!

Сталин зааплодировал. Потом говорит:

– Я в курсе всех ваших дел. Вы не должны обижаться на советскую власть за то, что были репрессированы. Великий Ленин сказал, что каждый настоящий большевик должен пройти через тюрьму.

– Иосиф Виссарионович, Ленин сказал это до революции, – выпаливает Дикий.

Сталин хлопнул два-три раза в ладоши – и не понять: то ли поаплодировал, то ли?.. И ушел. Потом вернулся. В левой руке между мизинцем и безымянным пальцем держит бутылку вина, между большим и указательным – лимон. В другой руке точно так же зажаты два фужера. Поставил все на стол, сам нарезал лимон, плеснул вина в фужер Дикому, себе налил полный, чокнулись, выпили.

Сталин утер усы и сказал:

– Надеюсь, товарищ Дикий, мы можем теперь на равных с вами разговаривать? – То ли учуял, что Дикий дома пригубил, то ли доложили об этом.

Маленькая деталь. Играя в фильме Сталина, Дикий дважды говорил слово «каммуникация». Это было единственное слово, которое он произносил с акцентом, и создавалось впечатление, что он осетин.

Во время болезни Дикого я часто навещал его и как-то спросил:

– Дядь Леша, почему вы были ко мне так внимательны? Почему ко мне так хорошо относились?

Он ответил:

– Во-первых, знал, что у тебя нет родителей. Мне нравилось, что ты пошел на фронт. Но в основном я тебя уважал и любил и сейчас люблю за то, что ты не записывал за мной мои мысли, как другие. И ты спорил со мной. Вот главное: ты со мной спорил. Мне это очень нравилось.

Где бы они ни встречались – на заседаниях, на улицах разных городов, в павильонах киностудий, в ресторанах или гостиницах, – везде, не сговариваясь, падали друг перед другом на колени. Потом через несколько секунд, не сказав ни слова, вставали и расходились…

В Харькове коленопреклоненных (прямо на тротуаре) двух гениев пригласили в отделение милиции, оштрафовали за нарушение общественного порядка. Штраф был уплачен, и снова

задержанные опустились друг перед другом на колени, но на сей раз – после объяснения мотивировки своих «коленопадений», как выражения высочайшего восхищения талантом каждого. Штрафы были им возвращены, на милицейских машинах «нарушители» были доставлены в гостиницу, за что сопровождавшие их получили на память о приятной встрече автографы: «Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Амвросий Бучма» и «Народный артист СССР Алексей Дикий» (пятикратный лауреат Сталинской премии).

Ресторан Дома актера. К Дикому подходит человек: бородка, слегка не выговаривает «р», очень нервный, глаза горят.

– Вы Дикий?

– Я.

– Вы подлец!

– В чем дело?

– Я сидел вместе с вами на пересыльном пункте, в тюрьме. Вас любили все. Вы делили блатным посылки, вас называли «паханом». И вдруг после всего этого вы позволили себе сыграть на экране Сталина! Вы подлец!

Дикий спокойно поднялся из-за стола, торжественный и строгий, поднял бокал:

– Я его не сыграл. Я его создал.

Какой-то сидевший за соседним столом товарищ бросил вилку и, как ошарашенный, выскочил из ресторана, очевидно, чтобы не быть свидетелем этого диалога.

Незнакомец остался с Диким. Сидели, долго говорили, пили водку…

Дикий в постели. Совсем больной, обречен, знает об этом. Медицинской сестре, приходившей делать укол, каждый раз говорил:

– Я вас прошу, не надо. Бросьте. Идите домой. Я режиссер. Я хочу знать, что такое смерть.

В последние недели, дни был обложен сочинениями Льва Толстого. Перечитывал, ругал, называл Толстого фарисеем:

– Он обманул меня!

Его последние дни – у-ди-ви-тельные: отказаться от уколов, терпеть адскую боль и ругать Толстого! Что это?

Начало

Константин Сергеевич Станиславский сказал: «50 процентов таланта – сценическое обаяние». А я, извините, беру на себя смелость добавить: «Остальные 50 процентов – наблюдательность!» Писатели свои наблюдения чаще всего фиксируют в записных книжках. Актеры же, как правило, подсмотренные особенности человеческого характера, внешности, манеру говорить, подсказки для грима, заложенные в физиономиях людей, фиксируют в своей памяти. В своей, если можно так сказать, устной записной книжке. Из нее они извлекают для создания образа запомнившиеся, необходимые детали. Чем солиднее такая устная книжица, тем легче создавать в каждой роли новый образ, новый человеческий лик.

1948 год. Работаю в театре имени Станиславского. Начинал я актерствовать с ролей стариков, очень, очень стареньких. И благодарю судьбу за это, так как играть такие роли в 25–26 лет – это настоящий подарок! Хочешь не хочешь, а уходить от своих данных необходимо, надо учиться «ремеслу» перевоплощения. Я убежден в том, что сыгранные роли стариков в начале моей карьеры во многом определили характер и стиль дальнейшего ее развития, когда наблюдательность и фиксация впечатлений стали играть решающую роль.

В пьесе «С любовью не шутят» получил роль старика Дона Педро. Репетировать было трудно: никак не мог найти, за что «ухватиться». Мучился, мучился, но как-то зашел в Центральный дом работников искусств (ЦДРИ). Заглянул в малый зал: там шло какое-то собрание или конференция. Объявляют очередного выступающего – скульптора из Ленинграда. Вижу, как к трибуне идет человек с грозным взглядом и львиной гривой волос. Потрясающая внешность: густые брови, невероятной величины скулы, подчеркнуто волевой подбородок. Энергично поднимается на трибуну! Власть! Сила! Человечище! Небольшая пауза. Оратор набирает полную грудь воздуха и вдруг – тоненьким голосочком, почти на фальцете, с трибуны жалобно спорхнуло:

– Материала нету. Инструмента нету. Что делать? Не знаю!

Моя роль Дона Педро была для меня решена!

«Наследники Рабурдэна» Эмиля Золя. Роль дядюшки Рабурдэна. Хитрый, 80-летний старик, обжора, толстяк, окруженный алчными наследниками, соперничающими в подхалимаже.

Снова поиски, поиски. Необходимы новые краски, характерные детали, походка. Перебрал все «полочки» своих наблюдений. Отчаяние… И вдруг звонок моего любимого учителя, дорогого Алексея Денисовича Дикого, знавшего все о моих мучениях.

– Алло! Здравствуйте, молодой человек. Дикий говорит… Сообщение информбюро: в зоопарке на площадке молодняка появился (впервые в Москве) пингвиненочек. Присмотритесь к нему внимательно. По-моему, он вылитый дядюшка Рабурдэн!

Мчусь в зоопарк. Признаюсь – недоумеваю: при чем тут старый, хитрый француз-южанин и малыш-детеныш из Антарктиды?!

Вот она – площадка молодняка, и вот он – пингвиненочек! Ах ты, мой красавчик! Ах ты, обаяшка! Я всегда считал, что в природе ничего не может быть милее щеночка, котеночка, медвежонка, белочки… Но, нет! Пингвиненочек всех превзошел. Симпатичнее никого нет на всем белом свете! Маленький человечек: ходит чуть покачиваясь на ножках-ластах, а вместо ручек, как бы обнимающих свое тело, тоже ласты; беленькая манишка, выразительные глаза, прическа с игривым хохолком, большущий нос-клюв «а ля де Голль», абсолютное бесстрашие, детское человечье любопытство, предельная доверчивость, ворчливое пофыркивание. Того и гляди, вот-вот скажет: «Привет! Жарко тут у вас!»

Рядом с «приезжим» – маленькая-маленькая собачечка, беспрерывно гавкающая от несуразного, вертикально передвигающегося незнакомца. А этот джентльмен в белой манишке внимательно, с каким-то благородным состраданием смотрит на разгулявшуюся шавочку, ждет, когда она приблизится настолько, чтобы можно было достать ее ручкой-ластой. И – хлоп ее по мордашке! Кутенок кувырк с лапок! На мгновение замолкает, затем встает, энергично отряхивается всем своим комочком, вздыхает глубоко, как ребенок, и… снова принимается за работу – облаивает заморского гостя до очередного нокаута. И… опять все снова…

К прутьям ограды прижался «мужчина» 4–5 лет от роду. Держа в ручонке, протянутой в сторону представителя Южного полюса, конфетку, повторяя бесконечное «на, на, на, на», подзывает его к себе. Приезжий фат не торопясь подходит к «мужчине», который ростом чуть-чуть больше его самого, внимательно осматривает предлагаемое (никто из присутствовавших не знал и не подсказал, что пингвины, кроме рыбы и прочих морских яств, ничего не употребляют в пищу), смешно принюхивается, фырчит и, осудительно глянув на

маленького «мужчину» и смешно кашляя, покачивающейся походочкой, оглядываясь на обманщика, удаляется в дальний угол вольеры, отвесив на ходу очередную оплеуху охрипшему и очень уставшему от лая щенку. Тот в очередной раз не удержался на ногах, но подниматься не стал и через минуту… заснул. Не дождавшись, когда поднимется на ноги этот нестрашный враг, носатый боксер удивился такому развитию событий, тихонечко приблизился к спящему комочку и сострадательно стал его разглядывать. Вдруг песик зевнул, на секунду открыл глазенки, увидел чудище с Южного полюса и… дружески завилял хвостиком. Еще раз зевнул и снова погрузился в сладкий сон…

На следующий день – у меня очередная репетиция в театре. Я пришел часа за два до начала. Вылепил себе огромный нос, причесался «а ля пингвин», попробовал его походку – коротенькими шажками, – прижал локти к своему туловищу и стал жестикулировать только нижней половиной рук. Получилось нечто похожее на движения ласт… Добавил фырканье, осудительный взгляд, быстро сменяющийся на любопытствующий, попробовал морщиться – словом, пытался скопировать, как мог, милого пингвиненочка.

Бедненький, он никогда не смог бы понять, что стал соавтором роли, которая принесла мне широкую известность среди московских театралов. Спасибо тебе, миленький мой малыш!

Началась репетиция. Свои пингвинские находки я вынес на сцену и… получил активное одобрение. Все расспрашивали, где это я подсмотрел такого оригинального человечка. Никто не верил, что прототип – представитель животного мира. Спектакль имел большой успех. Знаменитый артист Владимир Яковлевич Хенкин подарил мне торт с надписью из крема: «Старость перед молодостью пас». Оказалось, что Владимир Яковлевич мечтал сыграть эту роль, но, увидев в ней меня – молодого артиста, резвого, подвижного, да еще в сложном рисунке с большой физической нагрузкой, – решил, что в его солидном уже возрасте трудно реализовать свою мечту…

Чего греха таить – я гордился тортом от самого (!) Хенкина. Но согласен с ним не был: он мог и должен был сыграть свою мечту, предложив свое решение. Разве нельзя было играть дядюшку Рабурдэна этаким «ромали» с одышкой, еле передвигавшимся и очень стареньким, но активно хитреньким притворой. В исполнении Хенкина это не могло не быть убедительным, не могло не быть смешным…

А самое главное во всей этой счастливой для меня творческой истории – подсказка гениального Алексея Денисовича

Дикого! Спасибо, дорогой мой дядя Леша!

Здесь уместно вспомнить слова мудрого немецкого педагога прошлого века Адольфа Фридриха Дистервега: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учитель ее находит»…

Роль старика Рабурдэна получилась, и я играл с большим удовольствием. Был уже, по-моему, пятидесятый спектакль, когда мои товарищи решили надо мной подшутить. По ходу спектакля я на сцене ел, меня кормили. Мне приходилось съедать чуть ли не целую тарелку манной каши и еще чего-то. Перед этим спектаклем я целый день постился, нагуливая аппетит, чтобы «с удовольствием» поесть на сцене. Мне прислуживали, подкладывали в тарелку, наливали «вино». Родственники, близкие, слуги заискивали перед богатым дядюшкой, улыбались, угодничали. Итак, актеры решили меня разыграть. Но в антракте их «предали», и я оказался подготовленным. Заключительная сцена: мне подвязывают салфетку, кормят, наливают в фужер «вина» – обычно это чай. А тут вместо чая наливают коньяк! Почти двести граммов коньяка! Аппетитно уминая свою еду, я должен жадно выпить весь фужер «вина», а потом мне еще должны подлить и я опять должен выпить. Все следят за мной, все готовы к забаве. Прекрасно зная, что у меня в фужере, весело веду сцену, балагурю, ем, запиваю с удовольствием «вином». Коньяк выпил спокойно, не дав никакого повода даже подумать, что пью не чай. Вижу, как партнеры перестали обращать на меня внимание, как «выбились» из игры, растерялись: смотрят друг другу в глаза, пытаясь понять, что произошло. Стоят, пожимают плечами. Еще налили, и опять коньяк! Я преспокойненько выпил. Кто-то понюхал пустой фужер – никакого подвоха: пахнет коньяком! Еще налили, я опять выпил.

Наконец спектакль кончился. Аплодисменты. Занавес. А уже за закрытым занавесом начался хохот! Они смеялись над собой, а я над ними. Я получил большое удовольствие от столь щедрого угощения!

Мелькают, как кадрики на киноэкране, множество ролей на первой в моей жизни профессиональной сцене на улице Горького (теперь это Тверская)…

Пэнкс в «Крошке Доррит» Диккенса. Нервный, стаккатированный и синкопированный человек, очень темпераментный. Успокаивавший сам себя (что приходилось ему делать часто – раз, два, три… до десяти) и добившийся хороших результатов в этом сложном психотерапевтическом приеме самовнушения, что вызывало громкую реакцию зрительного зала.

Прототипом моего Пэнкса была (прошу не удивляться) Цецилия Львовна Мансурова – ведущая актриса театра имени Вахтангова. Да, да! Я играл Цецилию Львовну, но в мужской интерпретации. Она была очень эмоциональна, нервна, очень легко воспламенялась и столь же стремительно сникала, могла мгновенно перейти от хохота к истерике и снова вернуться к смеху сквозь слезы. Одним словом, была натурой сложной, неожиданной и очень талантливой! Лучшего Пэнкса представить себе невозможно – Цецилий Львович Пэнкс!!!

Воспоминания возвращают меня к тому времени, когда состоялась моя первая в театре имени Станиславского режиссерская работа: постановка пьесы М. Жежуры-Калиновского и Л. Устинова «Правда об его отце» под художественно-педагогическим руководством А. Д. Дикого.

Пьеса рассказывала об усилиях послевоенной передовой немецкой молодежи в перевоспитании, а затем и привлечении на свою сторону фашиствовавших сверстников. В этом спектакле чуть ли не первые свои большие роли сыграли тогда еще молодые Евгений Леонов и Евгений Шутов. Я сыграл целых четыре, и самых разнообразных, заменяя любого заболевшего коллегу, не будучи ни на одну из них назначенным.

Как всегда, получал духовное, творческое наслаждение от общения с Алексеем Денисовичем. Но все же главным уроком в этой очень для меня полезной работе стали высокая принципиальность и независимость в своих суждениях и трактовках моего Учителя в беседе с всеправной фигурой начальника Главного управления репертуарного комитета. Времечко было «веселое», с ароматом вагонов с решетками и неплохо организованным туризмом в сторону северных «курортов».

…Спектакль сдан. Обсуждение его происходило в кабинете больного туберкулезом упомянутого большого начальника… Начальник одаривает нас руководящими идеологическими сентенциями, сидя за своим письменным столом. В двух креслах для собеседников – друг против друга – А. Д. Дикий и директор театра Василий Осипович Гвелисиани – неудавшийся в прошлом артист театра имени Моссовета. В дальнем углу – я и помогавший мне в режиссуре Лев Елагин. Самым дорогим «перлом» начальника было требование «убить» самого отрицательного молодого немца, а не показывать, как он, политически прозревший, вступает в ряды молодежного союза, демократического и прогрессивного, осудившего эпоху Гитлера. Убить – и все тут!

Дикий спокойно, внимательно слушал речь. Директор лихорадочно (упаси Господи не успеть записать нетленные мысли) фиксировал все указания большого «знатока» театрального искусства. «Знаток» закончил «разгромное» исследование спектакля, утомленно откинулся на спинку «трона» и замер в ожидании реакции противной стороны.

Директор сложил блокнот, положил его в портфель, ручку-самописку прицепил чуть дрожащей рукой к нагрудному кармашку и, заметно побледневший, обратился к Дикому:

– Алексей Денисович, катастрофа! Замечания не простые, а политические. Что делать?

Дикий задумался и после солидной паузы тихо ответил:

– Ищите замену.

Директор быстро достал спрятанный блокнот, взял в руку ручку-самописку и с готовностью на любые меры для «спасения» спектакля спросил:

– Кому?

Не задумываясь, Дикий ответил:

– Себе!

Всеобщее замешательство…

Покидая кабинет идеологического босса, Алексей Денисович обернулся и очень по-доброму сказал:

– Свитнев! Упаси вас Бог повторить при ком-либо все, что вы рассказали нам. Ведь могут не понять, что вы шутите…

Спектакль шел без каких-либо переделок – под личную ответственность Дикого – и с успехом!

Было бы несправедливо не назвать еще несколько ролей, сыгранных мною почти за семь сезонов на сцене театра имени Станиславского:

Молодой студент – в пьесе «Две судьбы» Н. Хигеровича и Р. Зелеранского.

Роль конферансье Флюгера, поющего и танцующего, – «Жизнь начинается снова» В. Собко.

Евгений Ситников – «Отцы и дети» И. Тургенева.

Колхозник Семен – «В тиши лесов» П. Нилина.

Атаман Кропильников – «Семья Бугровых» А. Максимова.

Фон Шратт – «Дни Турбиных» М. Булгакова…

Театр имени Станиславского подарил мне общение с М. М. Яншиным, М. А. Светловым, И. О. Дунаевским, Самедом Вургуном; подарил мне творческие контакты с талантливыми Лилией Гриценко, Семеном Лунгиным, Николаем Дупаком, Борисом Левинсоном, Борисом Лифановым, Тиной Гурко, Евгением Леоновым, Алексеем Головиным, Евгением Шутовым,

Иосифом Падарьяном, Галиксом Колчицким, Марией Стуловой, Александром Роговиным, Лялей Черной, братьями Борисом и Николаем Эрдманами, Борисом Эриным и многими-многими другими…

Михаил Яншин

Незабвенный, добрый, открытый, созданный для улыбки и юмора, уютный и магнитообразный, в чем-то незащищенный, талантливый, обаятельный, сентиментальный, очень темпераментный и чуть-чуть ленивенький, любитель вкусно поесть и пригубить, спеть романс, азартно поиграть на бегах и «поболеть» за футболистов «Спартака», неспособный тратить время на интриги и кляузы, любимец публики – дорогой Михаил Михайлович Яншин!

Однажды он сказал:

– Я не понимаю четырех вещей: 1. Зачем нужно было делать революцию? 2. Как на радио вырезают буковку из слова? 3. Как по воздуху передают цвет? 4. Зачем Бог придумал гомосексуалистов?

– А что для вас самое непонятное, Михаил Михайлович?

– Первое, зачем было делать революцию?

Пять утра. Утренняя чудесная Москва. Грузовики развозят по булочным ароматный хлеб. По улице Горького (теперешней снова Тверской) идет одинокая фигура, читающая на ходу вслух книгу. Поднимает голову. Узнаем – Яншин!

– Доброе утро, Михаил Михайлович!

– Доброе. Что, молодежь, не спится?

– Мы на рыбалку, а вы?

– Да вот, работаю. Готовлюсь к постановке «Кровавой свадьбы» Гарсиа Лорки в театре «Ромэн»

– Успехов вам.

– А вам клева.

– Спасибо!

Яншин в качестве главного режиссера театра имени Станиславского присутствует на заседании коллегии Министерства культуры. Ведет Коллегию министр Екатерина Фурцева.

– Екатерина Алексеевна, меня ваше министерство и вы постоянно с утра до ночи учите, как мне работать, что и как ставить. Я устал от подсказок. Я вот, например, не подсказываю колхозникам и их передовой представительнице мадам Загладе, как и зачем продавать огурчики за бешеные деньги!

Общеизвестно, что после этих слов Михаил Михайлович уже с затруднениями продолжал руководить театром, ощущая на себе пресс чиновничьего мира.

Как-то пригласили Михаила Михайловича Яншина поработать на дублировании иностранной кинокартины.

А делается это так: на экране идут склеенные в кольцо несколько десятков метров пленки, кадры которой повторяются до тех пор, пока наш артист не рассмотрит смыкания губ иностранного артиста и не «вложит» в эти смыкания русские слова (текст лежит на пюпитре перед глазами дублера).

Михаилу Михайловичу предложили озвучить полного по комплекции, очень похожего на него, французского артиста, но, в отличие от размеренного, с придыханием, медленно говорящего Яншина, «выталкивавшего», подобно пулеметной очереди, свой текст. Колечко пленки, предложенное для пробы, было продолжительным, слов много. И Яншин, конечно же, «застрял» в этой ювелирной охоте за синхронным попаданием русских слов в смыкания губ «пулеметноговорящего» артиста. Устал, взмок. Время идет. Режиссер, молодой человек, очень осторожно осведомился:

– Ну, как, Михаил Михайлович, может быть, попробуем записать?

– Давайте попробуем. Но вот какая петрушка получается… В отдельные слова я кое-как попадаю, вроде бы синхронно получается, а вот попасть в смыкания нескольких слов и тем более в весь этот отрывок… Не знаю, не знаю… Ну, давайте попробуем.

Режиссер командует «мотор!» Это означает, что сейчас пойдет запись. Тишина. На экране пошли кадры, герой картины уже начал говорить. Михаил Михайлович, уже сбросивший пиджак, подготовившийся к бою с экраном, набирает воздух, приближается к микрофону и… «А уже все кончилось», – жалуется он режиссеру. Было несколько попыток поймать синхронность и записать «кольцо». Безрезультатно! Преодолеть темп речи француза наш русский Яншин не смог и на прощание, расстроившись, сказал:

– М-да… Эта адская работа не для беленького человечка!

Самое смешное в том, что в зале в это время сидел артист, которого Яншин не знал и фамилия которого была Беленький. Яша Беленький потом был утвержден на роль «пулеметного» француза.

Сценка, произошедшая между Яншиным и режиссером мультфильма, в котором Михаил Михайлович должен был говорить за огурчик-корнишончик, может показаться ерундой, чудачеством. Но каждому истинному профессионалу она дорога,

как образец высокоответственного отношения к своему труду. На вопрос режиссера, понравилась ли ему роль огурчика, Яншин ответил:

– Очень сложно действовать в образе огурчика. Нужно нам договориться, какой у него характер, знает ли огурчик, что его съедят. Потому что, если знает – это один жанр, если нет – другой. Он может быть замкнутым, мало слов произносящим в первом случае и болтливым, легкомысленным, звонким – во втором. Потом, ведь очень важно, каким вы будете рисовать для экрана этот огурчик? Если он перележал на грядке – это одно, если только-только завязался на корню – это другое, если он сорван и находится в руке сорвавшего – третье, если лежит в ведре в компании других огурчиков – четвертое. Важно еще и то, где в ведре он лежит: если сверху – я буду говорить свободно и легко, потому что свободно и легко дышу, а если он где-то в середине или на дне ведра – пойди поговори бодро, придушенный своими же собратьями, – это драма, Освенцим какой-то…

Я знаю по рассказам работников студии, что в каждом мультфильме, в котором текст разыгрывался до появления на свет рисованных героев, роли, исполнявшиеся Яншиным, всегда выходили у художников очень похожими на полненького Михаила Михайловича. И были всегда такими же обаятельными, как он.

– Женечка, – обратился ко мне Михаил Михайлович. Это было в начале 50-х годов, когда я работал в руководимом им театре имени Станиславского. – Мне очень нравится, как вы аппетитно едите. Пойдемте-ка в ресторан «Баку» пообедаем. Рассчитываемся так: кто съест больше, тот не платит.

Несмотря на то что зарплата моя была просто нищенской, никудышной и обед мог обойтись в сумму, большую ее полумесячного размера, отказаться от такой компании я был не в силах. Надеялся, конечно, на победу, так как знал бездонность своего полуголодного организма. Заказываем легкое кахетинское в бутылках по 800 граммов и к каждой один шашлык. За разговорами о театре, о ролях, о постановках время шло незаметно и так же незаметно сменялись яства. Наступило насыщение, но победитель не выяснен. Заказываем еще, если не ошибаюсь, по четвертой бутылке и по четвертому шашлыку. Взмокли, дышим тяжело. Каждый хочет победить. Я с невероятными усилиями допиваю и доедаю все поданное. Михаил Михайлович не справляется с последним, как назло, самым жирным куском шашлыка. И проигрывает, выдохнув из себя:

– Не могу, не могу больше. Проиграл, плачу…

Через двадцать минут мы были уже на ипподроме, где проводились рысистые испытания, которыми очень увлекался Яншин, и не без успеха: иногда даже выигрывал в тотализатор. Оставив меня у забора, отделявшего зрителей от беговой дорожки, в состоянии, когда уже свет не мил и хочется только спать, он отправился в кассы делать ставки. Прошло два заезда, то есть 40 минут. Яншин подходит ко мне и говорит:

– Я немножко выиграл. Пойдемте, Женечка, в ресторан. Я угощу вас замечательной соляночкой!

Мне, пардон, стало плохо.

Позже, услышав от меня пересказ всей этой эпопеи, один из лучших друзей Михаила Михайловича Андрей Петрович Старостин – знаменитый футболист, обаятельный и мудрый человек – сказал мне:

– Вы плохо знаете Яншина. Съеденное им в ресторане «Баку» – легкая закуска перед обедом на бегах. Он специально проиграл вам соревнование, чтобы освободить вас от оплаты. А чтобы это выглядело красиво и чтобы вы внутренне торжествовали победу, сыграл вам этот этюд «объевшегося человека».

Через несколько месяцев я случайно оказался с Михаилом Михайловичем за столиком в буфете театра. Нам подали кофе и по паре бутербродов. Все было быстро поглощено, но, в отличие от Яншина, я оставил в чашке глоток кофе, а на тарелке остаток бутерброда. Когда буфетчица подошла к нам за расчетом, я сказал:

– С меня за двоих, я проиграл и поэтому плачу!

Яншин хохотал, как всегда непосредственно и заразительно, до слезинок, и, переводя дыхание, подытожил:

– Ничья! 1:1.

В каждом доме бывают моменты, когда запасы продуктов съедены, в холодильнике и на кухне хоть шаром покати, но не в каждом бывает так, как случилось в доме Яншина…

Михаил Михайлович очень поздно пришел домой.

Раздеваясь в передней, спросил у открывшей ему домработницы Нюши:

– Есть ли что-нибудь поесть?

Услышав, что ничего нет, уткнувшись в висевшее на вешалке пальто, заплакал, как обиженный, обделенный конфеткой мальчик.

В театре имени Станиславского в должности главного

администратора работал человек, заметный хотя бы потому, что весил более 150 килограммов. Он был владельцем огромной шишки на лбу, что придавало ему вид какого-то сказочного героя, доброго и умного. Это был любимец театра Яков Моисеевич Гитман. К нашей великой радости, у него была загадочная странность: он давал в долг в два раза больше той суммы, которую вы у него просили.

– Яков Моисеевич, одолжите, пожалуйста, 25 рублей.

– Пожалуйста, вот вам 50.

– О, спасибо, спасибо.

– Яков Моисеевич, одолжите, пожалуйста, 100 рублей.

– Пожалуйста, вот вам 200.

– Ой, спасибо, как кстати. – Я стеснялся попросить больше ста.

– Яков Моисеевич, одолжите, пожалуйста, 1000 рублей. (Тысяча рублей в те дни равнялась для меня, например, двухмесячной зарплате.)

– Пожалуйста, вот вам 2000 рублей.

Эта феноменальная щедрость заинтриговала Михаила Михайловича Яншина.

– Я разгадаю, в чем тут дело. Попрошу в долг большую сумму, и все станет ясным: принцип ли это, щедрость или просто пижонство.

Встреча с Гитманом не заставила себя долго ждать.

– Яков Моисеевич, у меня к вам просьба: не могли бы вы мне одолжить 20 тысяч рублей буквально на несколько дней.

– Вечером, пожалуйста, – невозмутимо ответил Гитман. И действительно принес не 20 000, а 40 000 рублей.

Яншин был поражен и смущен:

– Ради Бога, извините меня. Но деньги мне не нужны, возьмите их обратно. Я хотел проверить стабильность вашего принципа одалживать людям таким непостижимым методом. В чем секрет, Яков Моисеевич, ведь почти весь театр заинтригован?

– С удовольствием объясню: когда я давал людям в долг то, что они просили, многие из них забывали отдавать деньги. Но когда я стал давать вдвое больше, это стало, как осколок: обязанность вернуть деньги врезалась в память. И все стали возвращать аккуратно, день в день.

Через некоторое время Яншин и Гитман встретились в Доме актера у буфета, который торговал, кроме всего прочего, апельсинами, бананами.

Гитман обратился к Яншину:

– Михаил Михайлович, я забыл взять с собой деньги. Если можно, одолжите мне, пожалуйста, до завтра десять рублей, хочу

взять домой фруктов.

– Пожалуйста, – радостно ответил Михаил Михайлович, – вот вам 20 рублей!

Гитман, чуть не пустив слезу, сказал:

– Спасибо! Я никогда не думал, что главный режиссер театра, да еще такой, как вы, станет моим таким способным учеником!

– А я – что вы моим учителем-должником! Нам надо отметить эти два выдающихся события. Девушка, налейте нам два фужера шампанского!

И два добрых толстяка чокнулись.

Мало кто знает, почему, несмотря на свою огромную популярность, Яншин не появлялся на концертных площадках в одиночестве, а только со своими коллегами в отрывках из спектаклей театра. Триумфальное исполнение молодым Яншиным роли булгаковского Лариосика из «Дней Турбиных» принесло ему славу и массу приглашений на концерты, в кино, на радио. Как-то еще в начале своих сольных выступлений он был приглашен в Колонный зал, на самую престижную концертную площадку Москвы.

– Позвольте представить молодого артиста Художественного театра Михаила Яншина, – объявил конферансье.

Дружные аплодисменты придают уверенность каждому артисту. Выход на сцену – воля и внимание собраны, сосредоточенность полная. Произносится первая фраза и вдруг – ни к селу ни к городу – смешки в зале. Текст сам по себе не мог вызвать такой реакции, он был нейтральным и только вводил в суть рассказа Чехова. Еще фраза – смех усиливается. Яншину делается не по себе. Первая мысль – что-то с костюмом не в порядке. Путая текст, произносит еще одну фразу – всеобщий смех и бурные аплодисменты.

Яншин, растерянный, красный от волнения, по инерции кланяется и уходит со сцены.

Оказалось следующее: как только Яншин произнес первые слова рассказа, на сцене за его спиной появился пожарный в железной каске, в обмотках вместо сапог, важно покуривая козью ножку. За день до концерта он был принят на работу и важно обходил свои владения.

Историю эту рассказал сам Яншин. Что было дальше с пожарным и с Михаилом Михайловичем в тот вечер – не знаю. Но то, что после этого концерта Яншин один никогда не выходил на эстраду – знаю точно.

Самые сильные впечатления от Яншина, оставшиеся в моей

памяти, – это его преданность друзьям, объективная оценка своих творческих возможностей и преклонение перед мастерством других. Вот тому примеры.

Беззаконие сталинских времен коснулось и спортсменов: знаменитые братья Старостины, гордость советского спорта – Николай, Александр, Андрей и Петр, – были арестованы и сосланы в разные концы страны. Рискуя своим благополучием, Михаил Михайлович посылал своему другу Андрею Петровичу Старостину в лагерь посылки. И это в то время, когда от страха родственники могли отказываться друг от друга или даже подтверждать клевету.

Другой пример. Главные режиссеры театров, как правило, ревниво относятся к приходу сильного режиссера и предпочитают иметь под рукой уступающих им по одаренности. Каково же было мое восхищение Михаилом Михайловичем, когда он с радостью принял мое предложение пригласить в театр имени Станиславского гениального Алексея Денисовича Дикого руководителем моей первой постановки – пьесы «Правда об его отце». И каково было восхищение всей труппы театра, когда Яншин сам устроил торжественную, с участием сымпровизированного оркестрика, встречу первого прихода Дикого в театр!

Каким прекрасным и чистым, не боявшимся конкуренции, даже не очень выгодной для себя, утвердил себя Яншин в глазах всего театра, когда с большим интересом, молча, не желая мешать никому, подсматривал репетиции Дикого. Это было не только трогательно, но и очень поучительно.

Михаил Светлов

Михаил Аркадьевич Светлов всегда казался мне худеньким цыпленком, в глазах которого – удивление. И еще тоска. Но этот не очень громкий, скромный человек был очень мужественным. Будучи смертельно больным и зная это, выпустил несколько сборников стихов. О его чувстве юмора ходили легенды. Однажды позвонил своему другу и сказал: «Рак у меня есть, привези пива». Спросил в Литфонде, по какой категории его будут хоронить, и, узнав, что по высшей и что по смете это будет стоить 1000 рублей, в старых деньгах, попросил похоронить его по третьей категории, что стоило значительно меньше, а разницу в деньгах выдать на руки на пиво…

Не все ладно складывалось дома. Часто засиживался в ресторане. Бывало, брал такси, просил водителя почитать книгу или погулять, а сам засыпал в машине на несколько часов. Платил в несколько раз больше положенного по счетчику.

Для одного из спектаклей театра имени Станиславского Михаил Аркадьевич написал песенку. После премьеры в складчину устроили банкет. Светлов – человек щедрый, бессребреник – внес самую большую лепту. Все прошло весело, шумно. Каждому участнику спектакля Светлов написал на афише шутливые стишки, и каждый читал их вслух. Это было нечто вроде тоста. Не прочел его посвящения один я. Банкет закончился. Я провожал Светлова до дома.

– Стагик! – Он негромко грассировал. – А ты почему не прочел то, что я тебе написал?

– Да мне неудобно было, Михаил Аркадьевич. Я в главной роли, сорежиссер, а вы мне написали… Неудобно как-то читать.

– А что я написал?

– Вы написали: «На сцене ты чудесник-чародей. Отдашь ты двадцать пять рублей?» Я не брал у вас денег – мне было неловко.

– Ты смешной человек. Напгасно не прочел. Так ты не бгал у меня двадцать пять гублей?

– Слово вам даю: никогда в жизни.

– Знаешь, подведи меня к фонагю. Вон к тому, там светлее.

Он полез во внутренний карман, долго рылся там, потом опять спросил:

– Так ты точно говогишь, что не бгал у меня двадцать пять гублей?

– Клянусь.

Достает деньги:

– На тебе двадцать пять гублей, я гифму не нашел.

В коктейль-холле на улице Горького сидел Михаил Аркадьевич и потягивал через соломинку коктейль. Вошел Константин Симонов, увидел его, всплеснул руками.

– Миша! Стагик! – Симонов тоже немного грассировал. – Ты что здесь делаешь?

– Газве не видишь? Утопающий за соломинку хватается.

– Пегестань валять дугака! Тебя десять дней ищет министг культугы товагищ Михайлов! Почему ты к нему не являешься? Ты что, боишься министга культугы?

– Нет, я министга культугы не боюсь. Я боюсь культугы министга.

В последнее время Светлов жил один в однокомнатной квартире. В этом же доме жила актриса Ольга Аросева. Как-то он обратился к ней:

– Оля, у меня к тебе такая пгосьба. Уезжаю недельки на тги. Пегед отъездом хочу посидеть с дгузьями. Ты знаешь, у нас, евгеев, целая индейка – как бы символ богатства, символ счастья. Пожалуйста, закажи в гестогане целую индейку, и чтобы на блюде! Скажи – для меня. Пусть зажагят хогошую-хогошую индейку.

Ольга Александровна выполнила просьбу. Привезли индейку, поставили блюдо на стол. Светлов встретился с друзьями и уехал. Через две недели лифтерша обращается к Аросевой:

– Ольга Александровна, какой-то запашок из светловской квартиры.

Ключи были у Ольги Александровны. Вошли в квартиру: пустые бутылки, все закуски съедены, а в центре стола на блюде лежит нетронутая огромная индейка! Все убрали, помыли, индейку выкинули. Приезжает Светлов. Аросева к нему:

– Михаил Аркадьевич, что же вы? Такие деньги бешеные за индейку выбросили. Все съели, выпили, а она нетронутая осталась?

– Оля, неужели ты думаешь, что я позволил бы своим дгузьям пгитгонуться вилкой или ножом к евгейскому счастью?!

Светлов встречает Аросеву у подъезда дома:

– Олечка, я хотел с тобой посоветоваться. Я ведь пгофан в пгактических делах. Мне лифтегша постигала тги губахи. Я ей за это купил шегстяной отгез. Я ее не обидел?

Самое мое любимое изречение гениального поэта:

Счастье поэта – всеобщее,
Несчастье – конфиденциальное.

Евгений Леонов

В 1946–47 гг. по лестнице Театрального училища имени Щепкина, на этаж выше наших классов, туда, где располагалась балетная студия при Большом театре, частенько поднимался симпатичный, полноватенький, коренастенький молодой человек, обладатель пухленьких розовых щечек и очаровательной, стеснительной улыбки… Ну, никак не похожий на длинноногого и поджарого балетного франта, с гордо поднятой головой и с миной человека, обремененного философскими размышлениями… (Став очень знаменитым и маститым, Евгений Павлович Леонов на вопрос корреспондента «Огонька»: «Какое человеческое качество, одно-единственное – самое главное для Вас?» – ответил: «Стеснительность!»)

Никто из нас, щепкинцев, не знал и не понимал, чем он там наверху мог заниматься? Да и вообще, кто он и откуда? И лишь в 1994 году, в беседе со старшим братом Леонова Николаем Павловичем я выяснил, что Женя учился актерскому мастерству в театральной студии у Андрея Александровича Гончарова, а музыкальное образование (уроки пластики, движения и танца) получал в экспериментальной студии синтетического искусства при Большом театре, художественным руководителем которой был знаменитый балетмейстер Ростислав Захаров…

В 1948 году мы стали коллегами: нас приняли в труппу театра имени Станиславского, главным режиссером которого был Владимир Федорович Дудин. Расположен был театр в подвальном помещении расформированного к тому времени театра Дзержинского района на Сретенке, в Последнем переулке (теперешней улице Хмелева), где сейчас находится филиал Академического театра имени В. Маяковского. Коллектив первого в нашей жизни театра сложился из учеников великого реформатора. (К сожалению, К. С. Станиславский ушел из жизни, не успев довести до конца программу создания из студии Нового театра, что, естественно, сказалось на художественном развитии осиротевшего коллектива не в лучшую сторону.)

Женя говорил в своем последнем огоньковском интервью:

– …Нам было не просто… Что у меня, что у Жени Весника, что у Жени Шутова, что у Жени Урбанского…

Естественно! Ведь все им названные – «чужаки», «пришлые», да еще начинающие, учившиеся к тому же у разных педагогов, имена которых – независимо от степени их одаренности – меркли пред культовой личностью Реформатора! (А он, между прочим,

неоднократно говорил и писал о том, что его система не нужна талантам, ибо каждый из них – своя система!) Для костяка труппы – учеников Константина Сергеевича – мысли их педагога были абсолютом в искусстве. (Не потому ли, что их собственных способностей не хватало на свои творческие поиски, находки.)

В отличие от «старожилов» театра-студии, возведших в идеал актерского мастерства лишь органику (естественность) и верное действие (что, конечно же, основа и трамплин для творчества и импровизации), но превративших эту основу в самоцель, Женя Леонов уже в начале своего творческого пути, не теряя «собачьей актерской правды», преодолевал невероятными усилиями (только близкие его товарищи знали об этом) комплекс неуверенности в себе из-за своих специфических и (как казалось ему) ограниченных внешних данных (невысок, толстоват, носат, неуклюж, стеснителен, малоподвижен, не идеальная дикция и т. д. и т. д.). Но уже тогда потихонечку-полегонечку проявлялся широкий диапазон его потенциальных творческих возможностей… Внимательный глаз уже тогда замечал его способность в самых маленьких, с ограниченным словесным материалом рольках выражать суть очень разных человеческих характеров. И при этом не только средствами органики, но и внешней и внутренней характеристиками, разными темпами и ритмами (что далеко не одно и то же!).

Из истории театральных курьезов. Очень крупный артист еще императорского театра (каждый раз почему-то называют другую фамилию), появление которого на сцене и уход награждались аплодисментами зрителей, поспорил с коллегами: «Вот выйду статистом в массовой сцене, в ничего не значащей бессловесной роли, изменю до неузнаваемости свой облик – то и тогда вызову аплодисменты зала». И он выиграл спор. Вечером появился на сцене, не узнанным даже коллегами, не то что зрителями, пробыл там вместе с двумя десятками статистов положенное время, ничем не обращая на себя внимания, проделал все, что было положено делать другим, и покинул сцену, как все, повернувшись к зрительному залу спиной, но… последним! И вдруг – хохот и аплодисменты! Дело в том, что уходил он со сцены еле-еле передвигая ноги, штаны его, заштопанные на деликатном месте, представили публике богатую мозаику из ярчайших лоскутов, а рукава его грязной-грязной куртки были залатаны белой тканью…

В связи с рассказанным выше – другой случай. Группа артистов театра – учеников Станиславского! – «отбывает повинность», изображая в массовой сцене спектакля «В тиши

лесов» (в постановке Б. И. Равенских) советских колхозников, стыдливо прикрывая свои негримированные лица платочками, разными головными уборами, наспех прикрепленными бородами, усами. Или просто прикрываясь руками – дескать, зубы болят, или солнце светит в глаза, или не слышно говорящих. Среди них – молодые Женя Леонов и Игорь Козлов… Первый – с обгрызенной буханкой черного хлеба в одной руке и с наполовину выпитой бутылкой молока в другой, беспрерывно жующий и как бы плохо слышащий, поэтому часто спрашивающий (не слышно, конечно, для зрителей) у Козлова, о чем речь. И в ответ каждый раз получающий толчок – дескать, отстань, дай послушать! На голове у Леонова – лихая выцветшая кепочка, щечки красненькие, нос курносенький. Ангелок! Второй, Козлов, – с огромным топором в руке, другая перевязана бинтом, чуть-чуть тронутым красной краской. Под мышкой у него две доски – всех они Задевают, всем мешают, челка волос свисает на горящие от любознательности глаза. Он весь – внимание!

Массовая сцена закончилась, громко звучит музыка. Все расходятся, но наши герои (подобно большому актеру старого театра) – последними! Леонов громко (все равно зрители теперь уж ничего не слышат – музыка заглушает) спрашивает о чем-то у Козлова, тот по-доброму, шутя, пугает его топором, а Леонов – ангел! – очень зло замахивается на него буханкой… В зале смех. Покидая сцену, Козлов резко меняет направление своего движения и длинноватыми досками больно хлопает по Леонову, который, не разобравшись, откуда удар, ищет обидчика в направлении, противоположном движению партнера. Лицо растерянное, ребячье, чистое, дурашливое! Он один на сцене. Аплодисменты!!!

Прошло полвека, но до сих пор стоит в глазах эта сцена и оба моих любимых артиста! Минимальные, ими же придуманные средства выражения, отсутствие текста, а художнический эффект велик: тут тебе и элементы перевоплощения, и характер, и биография образа. И доказательство формулы: «Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты». Клянусь, никого из исполнителей центральных ролей в том спектакле, убей, не помню! И как бы ни было им обидно, но лишь исполнители тех бессловесных ролей («колхозники» – и все) Е. Леонов и И. Козлов стали известными артистами, мастерами! И это закономерно! Урок! Многим! И мне тоже! Уже тогда, давно, я сказал про Женю Леонова: «Мал золотник, да дорога у него большая!»

Он служил в трех театрах, и мне казалось, что это могло затормозить его рост как театрального артиста: ведь приход в

новый театр отнимает много времени и энергии на адаптацию… Я ошибался. Цитата из статьи Олега Янковского: «Леонов актер, который умел созидать не только роли, а умел созидать счастливое состояние театра. Так было в театре имени Станиславского, в театре имени Маяковского и так, буквально в день его прихода, почувствовалось в Ленкоме. Он как большая серьезная материя – и в буквальном, и в переносном, и в философском смысле – притягивает к себе».

Очень хорошо сказано! Привел я эти слова потому, что мой словесный эскиз к этой теме был зафиксирован в дневнике, но не доведен до завершения: «Леонов – это не просто судьба большого артиста, это еще и тема для серьезнейших раздумий о судьбе, о долге, скромности, парадоксе. Это многое еще, еще и еще».

Из последнего огоньковского интервью: **ЛЕОНОВ**: «Это я с вами так разговорился, между прочим. А вообще-то я не такой уж добрый. И хулиганства во мне всякого много. В молодости мы „капустники“ делали. Однажды – на замечательного режиссера Бориса Ивановича Равенских *(был он, кстати и Ро́венский, и Рове́нский, и Ра́венский, и Ровенски́х.* – **Е.В.***)*. Он очень любил такую мизансцену: все бросаются на землю и начинают ее целовать. Вот мы сделали такой безумно смешной этюд. Пустили музыку из его спектакля „В тиши лесов“ – знаете? „Рос-с-и-я во-ольная…“ Один из нас от страсти грыз биллиард. А Весник изображал дом. Я стучал. „Кто там?“ И я с воплем бросался на землю и кусал ее».

И как кусал! Бешеный Отелло! Землетрясение!

1949 год. Гастроли театра имени Станиславского в Ленинграде. Лето. Белые ночи. Гостиница «Астория». Мальчишник. Играем в домино. Леонов проиграл и прикорнул на диване. (Дирекция театра давала буквально голодавшим артистам немного подработать: грузить и разгружать декорации, «шуметь» во время спектаклей: «изображать» ветер, голоса птиц, взрывы, звон разбитой посуды, цокот копыт… Для этого за кулисами стояла специальная аппаратура… Платили нам за эти имитации горячо желанные 5 рублей.) Дремлет, значит, Женя на диванчике. Чуть-чуть похрапывает… 4 утра. По каменной мостовой Исаакиевской площади проезжает «фиакр» ассенизатора, слышен цокот лошадиных копыт. Женя, не приоткрывая глаз, печально, сквозь сон произносит: «Пять рублей поехало!»

Судьба артиста часто «рулетка»! Сколько талантливых актеров осталось незамеченными, невостребованными, не до конца раскрытыми, не реализовавшими своих способностей. Блаженны те, судьбы которых состоялись, что дало им

возможность, пусть даже и не полностью, но все же высказаться и выказать себя.

Я хорошо знаю, что такое эта «рулетка» – на себе испытал… Не знаю, как сложилась бы моя судьба, не сведи она меня с Алексеем Денисовичем Диким, проявившим буквально отеческое внимание ко мне, следившим за моими проявлениями на театре, в кино, да и на эстраде. И что главное – помогавшим реализовывать их!

Не знаю, как сложилась бы судьба Евгения Леонова, если бы не встреча с Михаилом Михайловичем Яншиным. Они немного похожи. Нет-нет! Не внешне, а внутренним обликом своим, какой-то – при внимательном наблюдении – легкой, обаятельной сентиментальностью. Может быть, поэтому, почувствовав родство душ, что ли, Михаил Михайлович проявил тоже настоящую отеческую заботу о Жене. Упорство, самоотдача, взаимоуважение, проявленные Михаилом Михайловичем и Женей в процессе создания булгаковского Лариосика, могли бы служить для всех наглядным примером настоящего служения искусству, которое непременно приносит ощущение радости от преодоления чего-то невозможного и от победы над самим собой. Не могу забыть, как Михаил Михайлович признался в том, что в Жениного Лариосика он «вмонтировал» не сыгранное им в своем, яншинском Лариосике.

Михаил Михайлович вселил в Женю первые ростки уверенности в себе. После громадного успеха в этой роли Леонов стал совсем другим – он «оперился», в глазах засветилась радостная **надежда**! После первых (без зрителей) прогонов «Дней Турбиных» он тихонечко спросил: «Слушай, ну, как? А? Только честно!» – «Женька, гениально!» – кричал я. «Иди к черту, врешь!» – не верил он. Но когда услышал прием переполненного зрительного зала, возгласы «браво!», убедился в том, что играет грандиозно, – плакал! Я видел это своими глазами: он сидел в гримуборной, сгорбившись, смотрел в пол и плакал! Кто-то принес бутылку вина. Разлили, чокнулись. Женя глотнул и… поперхнулся… Перед нами стоял смешной человек, он кашлял, смеялся и плакал… От счастья!

1950 год. Гастроли театра в Таллине. С большим успехом идет спектакль «Правда об его отце». Женя в роли энергичного немецкого мальчишки Отто, члена антифашистского союза прогрессивной молодежи. Верилось, что обаяние, смелость леоновского героя, правдивость, искренность и темперамент заставляли молодых членов бывших фашистских организаций пересматривать свои жизненные и идеологические позиции и

примыкать к союзу. Это и было основной темой, сверхзадачей спектакля. Воспоминания о войне были еще свежи, они жили в сознании людей, проблемы строительства и немецкого и нашего государств были первозначимыми, трепещущими…

Лев Елагин – мой коллега по постановке спектакля «Правда об его отце» – где-то достал книжку «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше (в переводе с немецкого Ю. М. Антановского, напечатанную в 1911 году в Санкт-Петербурге издательством «Прометей»). В программах средних школ, театральных училищ, институтов и академий фамилия Ницше тогда не встречалась, а если и произносилась кем-либо вслух, то непременно тихо, с оглядкой и в «проверенной» компании. Но так как таких компаний быть тогда (да и сейчас, пожалуй, тоже) не могло, люди часто рисковали своей судьбой. Время было боевое – все под курочком!

Мы с Женей прочли книгу и… сознались друг другу в том, что она потрясла нас. Сейчас смешно об этом писать, но признались мы в этом шепотом, в закуточке. Смешно это и страшно, но личность Левы Елагина показалась нам явно «загадочной» и даже… Одним словом, «Первым делом, первым делом Государство, ну, а человеки уж потом!». И, представляете себе, читаем вдруг у Ницше: «Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, мои братья: у нас есть государства».(Глава «О новом кумире».) «Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно, и эта ложь ползет из уст его: „Я государство, составляю народ!“

Это ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь: так служили они жизни».

Мы с Женей бледнели. Крамола! Как можно такое писать! Что же это за своемыслие? Враг!

Елагин – умный, образованный человек, талантливый артист и режиссер – был намного старше нас. Тем не менее, руководствуясь самыми добрыми, искренними, советскими помыслами, мы не рекомендовали ему впредь давать кому-либо читать этот антигосударственный «бред» и «кошмар». Лева, помню, похлопывал нас по плечу, изображал (как теперь понимаю) на лице испуг и дал клятву члена партии (нам, беспартийным) следовать нашим наставлениям, но… Попросил нас, со временем, когда мы станем совсем уже взрослыми и самостоятельными в своих суждениях, все же найти эту напугавшую нас книгу и внимательно ее прочитать еще разок.

Прошло много лет. Ницше стал появляться на советских книжных полках.

Встретились мы с Женей на концерте в кинотеатре

«Варшава».

– Ну, как, признайся, вспомнил ли ты наставления Елагина?

– Да, да, слушай, Весник. Я обалдел от Ницше! Гений! Прочел еще и «Антихристианина». Ну, знаешь, грандиозно! А из «Заратустры» даже наизусть запомнил и иногда использую этот текст после концертов, когда вопросы разные задают. Слушай: «Рождается слишком много людей: для лишних изобретено государство!» А? Как? Ничего? Или вот еще: «Посмотрите же на этих лишних людей! Они всегда больны, они изливают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить!»

Через некоторое время, узнав о том, что мы снова встретимся на концерте (помню, в МАИ), я специально выписал для Жени еще одну цитату из того же «Заратустры», чтобы он и ее наизусть выучил: «Там, где оканчивается государство, начинается впервые человек, который не есть лишний, там начинается песнь тех, кто необходим, мелодия, единожды существующая и невозвратная.

Туда, где оканчивается государство, туда смотрите, мои братья! Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку?

Так говорил Заратустра».

– Да, да, да, вспоминаю. Это из главы «О новом кумире». Здорово, здорово… Но все спорно… Все не истина… Недаром же говорят: «Истина, переданная из уст в уста, – уже не истина!» Вот я тебе, знаешь, что скажу… (Леонов произнес страшные слова. Не хочу их комментировать, не хочу их трактовать каким-нибудь образом… Глупо. Я их просто приведу, как помню.) Что там Ницше, что там споры о государстве, о философах, о сверхчеловеке. Вот когда меня за границей вернули на свет божий, вытащили назад… оттуда… Ну, конечно, рад был и сына увидеть, и жену, и небо, и многое, многое другое… Водички рад был попить, глоточек… Но о Ницше и государстве, извини, не думал. А потом уж, когда работать стал, так худо становилось. Я ведь один, только один я знал, как мне – ох! – как мне худо было. Так худо, что, бывало, подумаешь: ну на черта немцы меня воскресили! И ругаешь их, замечательнейших врачей, последними словами. Вот так, честно тебе говорю. А Ницше – сверхчеловек, песня… Конечно, все это интересно, это все необходимо читать. Даже просто для нашей профессии, пригодится… А то, что ты мне принес, учить наизусть не буду… Нет времени. Мне бы еще пару ролей сыграть – одна мечта и отрада. А ты помнишь, Весник, как мы с тобой Ницше перепугались и растерялись. Смешно. (Хохочет.) Ей-богу, и смешно, и грустно. Да и стыдновато. Всегда, кстати, так бывает: грустно, но и смешно. Смешно, но и грустно.

Чаплиниада. Вот чудаки-то были мы с тобой! А? Что время-то делает! Раньше и Библию-то никто из советских не читал. Не хотели. Боялись. А бывало, и не знали, с чем ее едят. И не модно было. А теперь ее необходимо детишкам самым малым читать, прямо с двух лет. Теперь Библия – лучшая конституция. Десять заповедей Божьих, да Нагорная проповедь Христа – вот тебе и конституция – спорить не надо и бумагу тратить незачем.

– Женька, дай я тебя обниму. Ну просто мои мысли ты встряхнул. Спасибо тебе, – сказал я.

Мы обнялись. Помню, чуть слезу не пустил.

– Как ты сейчас себя чувствуешь?

– Старик, долго и нудно рассказывать, – ушел от ответа Леонов.

– Евгений Павлович, ваш выход, – на ходу бросил режиссер концерта.

На сцене ведущий объявлял: «Народный артист Советского Союза Евгений Леонов». Женя мгновенно изменился – исчезла печальная полуулыбка, глаза заблестели, он нервически потер ладонь о ладонь и энергичной походкой двинулся на «амбразуру». Шквал аплодисментов долго не смолкал и при его появлении, и тогда, когда он прощался со зрителями. Я подумал тогда – вот оно лекарство для артиста: признание твоего таланта и жажда людей встретиться с тобой. Аплодисменты – один из неотъемлемых компонентов этого признания! Надо видеть глаза артиста, покидающего после выступления сцену, слышать его частое дыхание, представить себе, как учащенно бьется его больное сердце, и только тогда можно понять, какое счастье для артиста заслужить аплодисменты зрителей, испытавших от общения с ним чувство радости. Взаимной радости!

Неуверенный в себе или ленивый артист «выжимает» все из первого же (часто бывает и последнего) успеха – зарплату, интервью, квартиру, концерты… Получит – не получит, а потом ждет… Чуда! Это – удел бездельников! У Н. Бердяева есть строчки о том, что ожидание чуда – одна из слабостей русского народа, один из самых больших соблазнов. Истинно одаренный не останавливает своего внимания на успехе, он устремляется на зов будущих работ, ему некогда смаковать восторги окружающих, он спешит и старается продлить этот восторг, оправдывать его новыми творениями. Ему некогда «важничать», он уже в новой работе, в плену новой роли, он уже не принадлежит себе…

Это постоянное устремление в тайны новых ролей отнимает время и возможности для «дегустирования» своей популярности… Нетрудно представить себе трагедию такого артиста, как Евгений Леонов, блистательного и в кино, и в театре, и на концертной

площадке, когда внезапно обрушившаяся на него смертельная болезнь сердца выбила его из привычных ритмов и темпов жизни, отняв силы, здоровье, свет и улыбку! Слава Богу, обошлось. На время.

Когда после поклонов он вернулся за кулисы, я не мог не сказать: «Женька, дай Бог тебе, дорогой мой, здоровья и долгой жизни! Дай Бог». Это была наша последняя встреча. Бог не услышал моих… наших молитв.

Но память, словно в утешение, возвращает меня в молодость.

1950 год. Вечеринка моего драмкружка. Женя Леонов – наш гость. Гостю все понравилось, особенно одна молодая инженерша, разведенная хозяйка трехкомнатной квартиры. Получилось так, что мы оставили их вдвоем… Не прошло и пяти минут, как Женя выскочил со слезами на глазах из комнаты, схватил пальто и, не сказав никому ни слова, ушел.

– Что случилось? – спрашиваю хозяйку.

– Он хотел меня поцеловать, – отвечает. – Я не позволила. Тогда он расплакался и сказал: «Одолжи мне два рубля на такси!» И вот уехал!

Женя Леонов повзрослел, стал мужем, отцом, дедом; стал знаменитым, популярным, любимым; поседел немного, но в памяти моей остался чистым, наивным ребенком с пухленькими щечками и немножко печальными глазами… Женя Павлович, дорогой друг!

Ляля Черная

Святой Иоанн Златоуст говорил: «Чистые сердцем – это те, которые приобрели всецело добродетель, то есть постоянное доброе расположение сердца, лежащее в основе всех их дел, которые не сознают за собой никакого лукавства… Только чистому сердцем дано лицезреть Бога».

…С таким чистым сердцем жила Надежда Сергеевна Киселева. Ею нельзя было не восхищаться, невозможно было не видеть, не чувствовать в ней существо незаурядное. Главным в этой удивительно красивой, с огромными выразительными глазами, элегантной женщине были доброта, честность, открытость, хлебосольство. Она все умела делать красиво: танцевать и петь, любить и ненавидеть, смеяться и плакать. Она была чрезвычайно темпераментна, но беззащитна, легко ранима. Всегда была окружена людьми, но в то же время – одинока. Умела самозабвенно любить, но и разлюбить тоже, и честно в этом признаться.

Ее душа была открыта для всех, но мало кем понимаема. Ее широкая натура толковалась часто, как чуть ли не распущенность, а доброта – как ложная поза, самореклама.

Она была душевно богата, очень популярна и любима народом, а материально весьма бедна. Если от случая к случаю подрабатывала, то потом все раздаривала или отдавала, помогая подчас незнакомым людям. Заболевал работник театра, родственник или просто знакомый – Надежда Сергеевна, как правило, первой навещала их, доставала лекарства, приводила медицинское светило.

Как-то по телефону сообщила, что закончила концертную поездку, получила гонорар, радовалась возможности рассчитаться с долгами и просила через два дня встречать ее. Приехала без копейки: все отдала цыганам, узнавшим ее – свою королеву! Свою Лялю Черную! Ну как же она, королева цыганская, и не поможет цыганскому табору?!

> И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это – дар Божий.
>
> *Книга Екклесиаста. Гл. 3, стих 13*

Как-то одна из дам, гостивших у Ляли, воскликнула: «Ах, какая у Вас кофточка!..» И ушла домой в этой «ах, какой

кофточке». Однажды хозяйка дома, принимавшая у себя Лялю, восхитилась ее гранатовым браслетом и тут же стала его обладательницей. После сильного дождя в один из летних дней Ляля пришла домой без туфель, босиком – она встретила пожилую женщину с 10-летней девочкой, просивших милостыню. Девочка была без обуви…

На комплименты незнакомых мужчин в разных вариантах отвечала примерно так: «Слова свои в пустоту ты говоришь. Завтра другой артистке такие же слова скажешь… Ты эти красивые слова жене скажи – посмотришь, какая она счастливая будет!

Не надо чужим женщинам такие красивые слова говорить! Жене говори! Дома хорошо тебе будет! И ей хорошо будет!»

Однажды на вопрос: «Сколько вам лет?» – ответила: «Ой! Так просто, с ходу – не подсчитать!»

Она не имела ни высшего, ни даже законченного среднего образования, но благодаря удивительной интуиции была мудрее многих ученых специалистов.

Мне трудно документально доказать то, что я сейчас скажу о ней. Поверьте на слово, что это правда. В наших разговорах она часто размышляла о Родине, о правителях, об искусстве. Еще в 50-х годах она предсказала крах партии коммунистов и как следствие этого краха – развал Союза! Она была набожна и предсказывала Божью кару за расстрелы невинных, за лживость правителей, называла страну концлагерем! И это притом, что она была совершенно непричастна к политике, очень далека от нее.

Я знал знаменитых наших художников, которые, не найдя названия своим живописным опусам, специально приглашали Лялю, чтобы выслушать ее впечатления от их работ. Интуиция подсказывала ей смысл, настроение, главную тему картины, а затем и образное название.

Как-то долго всматриваясь в пейзаж, она вдруг произнесла: «Какая печаль!» И картина получила название «Сельская печаль». В другой раз, любуясь натюрмортом, она воскликнула: «Ой, вкуснота какая! Такое только присниться может!» И картина была названа… «Сон гурмана».

Вот так же интуитивно она предугадывала человеческие поступки в разных обстоятельствах – общественных и художнических. Она редко ошибалась в своих анализах и прогнозах. Не ошиблась она и в предчувствии печального конца своего жизненного пути.

Блиставшая на театральных подмостках и в кино, завоевавшая широкую популярность и любовь зрителей, сводившая с ума толпы влюбленных мужчин, покорявшая своим

темпераментом и красотой концертные залы многих городов, она «заслужила» нищенскую пенсию (но не роптала по этому поводу) и тихо, незаметно ушла. Конечно – в рай. Она всю жизнь отдала людям и не требовала за это чего-либо взамен. Большая пенсия и пышные похороны были бы диссонансом в ее жизненном финале. Поэтому она – в раю. В ад таких, как она, не принимают. Там боятся таких, как Надежда Сергеевна Киселева, как Ляля Черная.

> Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это – доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
>
> *Книга Екклесиаста. Гл. 3, стих 22*

…Маршрут моей гастрольной поездки пролегал из Тбилиси в Самтредиа. На станции Гори мне понадобилось зайти в здание вокзала. Наш поезд опаздывал, но пассажиров не предупредили, что 15-минутную стоянку сократили, и… я остался на перроне в одной дорожной пижаме, без копейки, один в чужом городе. Дежурный «обрадовал» меня сообщением, что в Самтредиа я смогу попасть только завтра. За багаж я не волновался: в уехавшем от меня поезде был мой коллега. Что было делать – не знал. Вдруг… метрах в двухстах от вокзала увидел табор. В кармане пижамы каким-то чудом оказалась фотография, на которой в группе артистов были запечатлены Ляля и ваш покорный слуга. Я почувствовал, что есть выход из этого идиотского положения. И не ошибся!

Знакомлюсь с вожаком табора, представляюсь другом Ляли Черной, показываю фотографию и… убеждаюсь в чудодейственной силе популярности «цыганской королевы»! Я был обласкан, накормлен, напоен и одет с головы до ног: шляпа, костюм, галстук, туфли, часы. Мне дали денег. Мы обменялись адресами. Потом была нанята машина, которая доставила меня в Самтредиа значительно раньше, чем туда прибыл поезд с моим коллегой и багажом…

Вернувшись в Москву, я рассказал все Надежде Сергеевне. Мы подсчитали стоимость подаренного мне гардероба, прогона автомобиля и телеграфным переводом отправили деньги моим спасителям. Утром следующего дня деньги вернулись в Москву также телеграфным переводом с припиской: «Не обижай, королева».

Почему – Ляля Черная? В 11 лет хрупкая, как куколка, красивая девчушка зарабатывала на хлеб цыганскими танцами,

сначала от случая к случаю, а позже – в серьезных концертах. Как-то кто-то крикнул из зала: «Браво, Ляля!» То есть: «Браво, кукла!» Так и пошло – Ляля, Ляля… Волосы у Ляли – лаково-жгуче-черные. Так из соединения слов «черная» и «кукла» родилось – Ляля Черная. Я к этим словам добавляю – светлая. Светлая Ляля Черная!

Почему «цыганская королева»? После триумфального успеха кинофильма «Последний табор» с Лялей Черной в главной роли цыганскому люду, благодарному за проявленный интерес к его жизни, было бы странным не произвести в ранг своей королевы самую популярную, самую красивую, самую добрую дочь.

К девочке Наде судьба благоволила. Не имея специального актерского образования, как и большинство артистов старого цыганского театра «Ромэн», она стала профессиональной актрисой с широким жанровым диапазоном. Ей были под силу как характерные, подчас комедийные, так и сугубо драматические роли. Врожденная пластичность и музыкальность выгодно выделяли ее в любых артистических проявлениях: на эстраде, в театре, в кино.

Судьба подарила ей общение с великолепными артистами, в том числе с Н. Хмелевым и М. Яншиным; с классической литературой и драматургией, работу над главными ролями в спектаклях «Грушенька» и «Кровавая свадьба».

Способность не терять контактов с простыми таборными цыганами, несмотря на то что слава подняла ее высоко над ними, помогла ей быть естественной в обществе самых разных людей – от академиков до трагически неимущих посторонних людей.

Жизнь сформировала неповторимое человеческое существо – светлую Лялю Черную.

Николай Смирнов-Сокольский

Я, молодой актер, крупно поссорился с директором театра имени Станиславского. Как оказалось потом, я «шутил» с огнем: директором был двоюродный племянник Сталина.

За то, что я был с ним груб, на меня написали фельетон (спасибо – не сослали!) «Баловень кулис». Из театра пришлось уйти. Я очень переживал, но, как ни странно, фельетон неожиданно оказал мне большую услугу. Кончался он фразой: «И тем более жалко, что такое случилось с одним из талантливейших молодых актеров Москвы Евгением Весником». Раз «талантливейший», то посыпались предложения о работе из разных театров. Я принял приглашение руководителя Театра эстрады Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Попал в группу «Синяя птичка» под руководством Виктора Драгунского. В ней работали: Татьяна Пельтцер, Вероника Васильева, Борис Тенин, Лидия Сухаревская, Геннадий Дудник, Борис Сичкин. В спектаклях играл и сам Драгунский.

Я еще, как говорят, «не отошел» от фельетона, где мне приписали какую-то несусветную ерунду. Я даже позвонил в редакцию газеты. Мне ответили, что «форма и содержание советского фельетона допускают творческий домысел». Переживал я страшно. Успокоил Николай Павлович.

– Да перестань ты! Знаешь, что такое фельетон? – говорил он с хрипотцой, с вальяжностью в голосе. – В первый день, когда выходит фельетон, его знают все. На второй день помнят ты и редакция. На третий – один ты. На меня написали, наверное, тридцать фельетонов! Но видишь: я жив и здоров. Плюнь!

Я послушался и «плюнул».

Мне кажется, в нашей действительности не хватает знаете кого? Шутов! Да-да, шутов! Шуты не давали зазнаваться царям, правителям. Своим поведением они приучали их принимать и понимать пословицу: «Над людьми шутки шутить и над собой их любить». В словаре Даля: «Шут обычно прикидывается дурачком, напускает на себя дурь и острит под этой личиной. Пора шутов миновала, но до этого века они находили приют у каждого вельможи». Возродить бы институт шутов при сильных мира сего. Польза была бы великая. Ибо большинство наших малых и великих руководителей – жертвы удобств, некому их по-настоящему, по-доброму приземлить, принародовать! Даешь шутов!

Хорошо бы при руководителе области, края, страны учредить

должность шута. Лучше из иностранцев, свободных от давления на них всякого рода ведомств!

Великим шутом в советское время был Николай Павлович Смирнов-Сокольский. Поразительно смелый, независимый, удивительно интересный человек!

Из энциклопедии, богини краткости: «Смирнов-Сокольский (настоящая фамилия Смирнов). Советский библиофил, нар. арт. РСФСР с 57 г., автор и исполнитель эстрадно-сатирических фельетонов (монологов). Собрал уникальную библиотеку первых и прижизненных изданий русск. писат. 18–20 вв., литер, альманахов и др. Основной библиографический труд – „Моя библиотека“». И все! Да еще половина слов в сокращении.

Мне четырнадцать лет. Бегаем с приятелем на концерты с участием Смирнова-Сокольского. Пропуска нам доставал отец приятеля.

Шел 1937 год. Время, когда иной раз родственники боялись ходить друг к другу в гости, а тут… Со сцены Колонного зала слышим: «Я получил из деревни письмо от брата. Спрашивает, как мы живем здесь, в Москве? Я ему ответил: „Живем, как в автобусе: половина сидит, половина трясется“».

Я видел, как несколько человек буквально выбежали из зала, чтобы, не дай Бог, не призвали в свидетели! По Москве распространились слухи, что это был последний концерт Смирнова-Сокольского. Но проходит несколько дней, и свежая афиша: «Смирнов-Сокольский. Клуб имени Кухмистерова». Так называлось помещение, где сегодня работает театр имени Гоголя. Опять пробираемся с приятелем на концерт, опять слышим «Письмо от брата». Он снова спрашивает, как мы живем в Москве. Смирнов-Сокольский отвечает: «Как в Африке. Ходим в трусах и кушаем бананы».

Дело в том, что тогда в Москву привезли и повсюду продавали бананы. А достать ткань и пошить брюки было просто невозможно.

Я как-то спросил:

– Николай Павлович, в 1937 году люди осторожничали, иной раз боялись в глаза-то друг другу глядеть. А вы ничего не боялись! Почему?

Николай Павлович относился ко мне с явной симпатией и охотно рассказал:

– Я много участвовал в правительственных концертах и частенько приглашался на банкеты. Однажды меня подозвал сам Сталин и, представляя какому-то иностранному деятелю, похлопал по плечу и во всеуслышание сказал: «Это мой шут!» После этого я позволял себе Бог знает что, говорил, что хотел.

Никто не смел мне замечание сделать! Еще бы: сам вождь по плечу похлопал! Шута своего!

Министр культуры Е. А. Фурцева на заседании коллегии обратилась к Смирнову-Сокольскому с не очень деликатным вопросом:

– До меня дошли слухи, что вы на гастролях зарабатываете большие деньги. А я, министр культуры, получаю с премиальными вдвое меньше вас. Как вы это объясните, Николай Павлович?

И Смирнов-Сокольский, не задумываясь, прохрипел:

– Так все дело в том, барышня, что вы по-лу-ча-ете, а я за-ра-ба-ты-ваю!

На одном из заседаний коллегии Министерства культуры кто-то из заместителей министра задал вопрос, в большей степени адресуя его Смирнову-Сокольскому, поскольку вопрос касался эстрады.

– Как вы считаете, есть ли смысл государству содержать раздельно Ансамбль донских и Ансамбль кубанских казаков? Может быть, нам лучше объединить эти два коллектива? Отобрать лучших дирижеров, лучших музыкантов, певцов, танцоров и иметь один крепкий Ансамбль донских и кубанских казаков.

На что Николай Павлович ответил:

– Не выйдет. В 1919 году это пробовал сделать Деникин.

Иногда Николаю Павловичу становилось скучно в своем кабинете: он любил людей, любил розыгрыши.

Сидит он как-то у себя. По радиотрансляции слушает идущую на сцене репетицию «Синей птички». Объявляется перерыв. По радио слышу:

– Артист Весник, срочно пройдите к Смирнову-Сокольскому в кабинет.

Я боготворю Николая Павловича, влетаю в кабинет.

– Можно?

– Да. Входи. Закрой за собой дверь. – Вижу расстроенного Николая Павловича. – Удивительная неприятность. Политическая неприятность. Только что по радио пели про тебя.

– Что такое? Кто? – У меня отнимаются ноги. Поплотнее закрываю дверь.

– Про тебя в «Интернационале» пели.

Ничего не понимаю. Про меня? Почему? Что пели?

– Цитирую точно, дословно: «А парази-там ни-ког-да!» Гхо-

гхо-гхо! Иди репетировать, кажется, перерыв кончился!

Мастер шутил!

Когда в Советскую Россию вернулся Вертинский, в ресторане Дома актера он собрал своих старых друзей еще с дореволюционной поры. В их числе был и Николай Павлович Смирнов-Сокольский.

Александр Николаевич Вертинский в фартуке колдовал вместе с поварами, готовил разную закуску: маэстро любил готовить. Стол на тридцать персон получился изумительный. Вертинский оглядывает всех и говорит:

– Можно начинать, друзья мои?

И вдруг увидел одно пустое место.

– Боже мой, кого-то не хватает!

Смирнов-Сокольский:

– Царя!

По просьбе высокого зарубежного гостя в Кремль впервые приглашен оркестр Леонида Утесова.

Перед выступлением Утесов звонит Николаю Павловичу:

– Оркестр мой никогда в Кремль не приглашали. Уж больно непривычная атмосфера для меня, а ты там, как свой, чувствуешь себя, как рыба в воде. Помоги, подбрось мне какую-нибудь остроту, чтобы пораскованней себя чувствовать.

Николай Павлович подбросил. Впоследствии музыканты, принимавшие участие в концерте, рассказывали.

Пианист Леня Кауфман:

– Я был вундеркиндом! С четырех лет играю на рояле, никогда в жизни не промахивался мимо клавиши!

Трубач Сорокин:

– Я никогда в жизни не давал «кикса»! Тем более такого, как в Кремле!

А произошло вот что. В зале сидел Сталин со своим окружением и тот самый высокий гость. Участники концерта перед началом пожелали друг другу успеха, и по знаку Утесова оркестр начал свой традиционный марш «Легко на сердце от песни веселой». Медленно пошел занавес. На авансцену вышел сияющий улыбкой Утесов, встал перед микрофоном – оркестр немного поубавил звучание, чтобы все было хорошо слышно:

– Мы сегодня выступаем с особым волнением. С особой ответственностью. Потому что впервые в жизни выступаем против правительства!

Вот тут-то Кауфман и промахнулся, не нашел нужной клавиши, а трубач Сорокин дал немыслимого, как он говорил,

«кикса».

Все почувствовали себя уже сосланными!

Но увидев, что Сталин заулыбался, зааплодировал, а за ним зааплодировали и заулыбались все гости, музыканты встряхнулись, воодушевились и уже раскрепощенные, уже как бы вернувшиеся из ссылки заиграли со свойственным им талантом. Рассказывают, что у барабанщика в этот вечер прибавилось седых волос!

Когда что-нибудь не ладилось в работе, когда не хватало денег на реализацию какой-нибудь задумки во время постановки нового спектакля, когда возникало какое-нибудь нелепое препятствие в работе, то на традиционный в этих обстоятельствах вопрос: «Что же делать?» – Николай Павлович всегда отвечал: «Об этом надо было думать в 1917 году!»

Как-то Смирнов-Сокольский пожаловался:

– Подумайте только, меня называют антисемитом! За что? За то, что я свою любимую собаку назвал Ревеккой! Но никто не ставит мне в заслугу, что я трачу на нее уйму денег! Пять сольных концертов в месяц! Ревекка – собачка, поэтому я – антисемит. А почему меня не хвалят за то, что у меня в квартире вместе со мной живет еврейка Софья Близняковская, моя любимая жена? А из-за собачки я антисемит. Никто же не обвиняет в антисемитизме Марию Миронову, у которой по квартире уже двадцать восемь лет ходит еврей Менакер!

По радио объявили о присвоении званий: Клавдии Шульженко – народной артистки РСФСР, Илье Набатову – заслуженного деятеля искусств.

Ночь. Обиженный Набатов звонит Смирнову-Сокольскому:

– Коля, что же это такое? Нас с Клавой представляли к одинаковому званию, а получилось: ей – народную РСФСР, а мне заслуженного деятеля…

– Илья, дорогой, не печалься! Мы тебя никогда за артиста и не держали!

Приехав с группой артистов на гастроли, Смирнов-Сокольский увидел висящий поперек улицы транспарант, на котором крупными буквами рекламировался артист Илья Набатов. В надписи были слова «известный на весь Союз», «самый популярный в стране» и так далее.

Николай Павлович вызвал местного администратора и, разыгрывая – очень добродушно, снисходительно – обиду,

говорит:

– Как же так? Илья Набатов. И звания у него нет такого, как у меня. Я, так сказать, руководитель. И знают меня больше, гораздо больше. А про меня вы ничего не написали. Как-то даже неловко.

Администратор, довольно робкий человек, перепугался, занервничал:

– Николай Павлович, извините ради Бога! Я буквально к вечеру все исправлю!

Вечером, когда артистов везли из гостиницы на спектакль, они увидели над транспарантом о Набатове еще один: «Мировой артист – Николай Павлович Смирнов-Сокольский».

– Николай Павлович, поздравьте артиста Н. Его только что приняли в члены партии!

– Как увижу, поздравлю. А вообще-то ничего страшного не случилось, не надо паниковать. Наша партия и не такие удары переносила!

Смирнов-Сокольский – замечательное явление в русской культуре. Он собрал и подарил государству огромную библиотеку. Она хранится в Библиотеке имени Ленина в особом фонде. Николай Павлович был истинно русским человеком. Он не гнушался выпить, мог иногда подпустить и бранное словцо, из тех, к которым в России привыкли. Но стоило ему перейти из одной комнаты своей квартиры в другую, в библиотеку, он начинал говорить шепотом и вел себя, словно мальчишка: лазил по лесенке, с восторгом показывал уникальные издания книг, журналов. И сам же в который раз удивлялся им, радовался – и все шепотом.

Но как только выходил из библиотеки, сразу превращался в другого человека: хохотал, импровизировал! Веселый, остроумный, энергичный человек!

Иван Байда

Эти имя и фамилия в 40–50-х годах были на слуху у многих, так как под ними «скрывался» очень популярный эстрадный артист, впервые показавший на наших подмостках очень неожиданный номер: борьбу «двух» маленького роста человечков в сложных меховых одеждах и обуви жителей Крайнего Севера. Таким образом легче было замаскировать главный фокус: «боролся» за двоих один – Иван Байда. Ноги и руки были «одеты» в сапожки, а на две «головы», прикрепленные к спине стоявшего на четвереньках артиста, надеты большие меховые шапки, скрывавшие, как полагали зрители, лица «борцов». «Руки» боровшихся были прикреплены к игровому костюму артиста – как бы в обхват друг друга.

Долго и очень забавно боролись два «человечка», потешая зрителей: они падали, шустро вскакивали, в борцовском раже забирались быстро-быстро по стулу и клавишам на рояль, на мгновение скрывались за кулисами и выскакивали оттуда с еще большим желанием победить в этом поединке. Многие вплоть до окончания номера не понимали, что борется артист сам с собой, и легко себе представить их удивление, когда в самый неожиданный момент Байда вдруг сбрасывал с себя одежду-куклу, сапожки с рук и вставал во весь свой рост в чудесном концертном костюме и с очаровательной улыбкой на лице! Восторг!

Зрителям на жаркие аплодисменты кланялся очень интересный, талантливый и в то же время трагикомичный человек.

Был он всем хорош: статен, красив, обаятелен, всегда прекрасно и со вкусом одет. Пользовался большим успехом у дам, но не был женат, хотя и мечтал о семейном очаге. На вопрос: «Почему он такой непостоянный?» – отвечал стеснительно: «Ни одна женщина меня не похвалила. Жду ту, которая похвалит».

Одно было плохо: у него была катастрофически плохая дикция и понять его речь, а следовательно и мысли, ею выраженные, было невероятно трудно, а порой и безнадежно. Со временем это выработало в нем характерную для него черту – крайнее малословие. Понимал его досконально один человек! Каким образом? – Никто не знал и не знает.

Собрание артистов Москонцерта.

– Слово по поводу обновления своего репертуара имеет Иван Байда.

– Но… кзался… ще кру стор же или *(выпивает глоток воды,*

переворачивает страницу блокнота, тяжело вздыхает, вытирает носовым платком пот со лба) ды или фику о! цик… на киха… и успе ха-ха! Все!

– Слово для перевода имеет Лев Миров.

– Иван сказал *(Лев Борисович пересказывает очень, оказывается, интересные мысли Байды)*…

В быту, в любой ситуации Иван очень хорошо обходился утвердительным или отрицательным движением головы. Восторг выражал длинным протяжным – о-о-о-о! Испуг изображал дрожью всем телом, а желание употребить горячительного – энергичным потиранием ладонью о ладонь, растиранием как бы замерзших ушей и носа (даже в 30-градусную жару). Когда заговаривали о политике, делал кислую мину, после каждой рюмки крестился, любил угощать, дарить, посещал музеи, выставки живописи и скульптуры, ценил красоту, любил балет, был сострадательным человеком, мог заплакать, внимательно выслушав рассказ о чьем-то горе. Притом был наделен незаурядным и оригинальным чувством юмора.

Опоздать на репетицию во вновь организованном Театре эстрады, которым руководил Николай Павлович Смирнов-Сокольский – король эстрады, автор и исполнитель своих фельетонов, ярчайший, смелый человек, – считалось жестоким поступком, неуважением к Самому Смирнову-Сокольскому!

Наказывать, штрафовать, вывешивать выговоры Николай Павлович не любил, но корить, воспитывать очень любил, что было переносить значительно больнее, нежели подвергаться административным «розгам».

…Байда опаздывает на репетицию новой программы на…

О Боже! На 30 минут! Невиданно! Смирнов-Сокольский кипит, хрипит, шумит, грозит… Нос краснеет, челка все более густо спадает на лоб… Но вот в репетиционный зал входит виновато согбенный и со слезами на глазах Байда, молча садится в кресло и… молчит как всегда. Плачет и молчит. Гневный монолог Николая Павловича словно гром обрушивается на голову «преступника»:

– Ну что, мерзкий ты селезень *(Иван в прекрасном ярком костюме)*, что пролаешь или пропищишь мне в ответ, какие запасы слов из твоего разговорного Эрмитажа ты мне предложишь в свое оправдание? Говори внятно, по буквам. Мирова пока нет. Переводить некому!

Байда отвечает сквозь слезы, внятно и медленно:

– У меня рак.

Гнетущая пауза.

– Повтори, – тихо спрашивает Сокольский.

– У меня рак…

– Ну, ну, ну… Перестань плакать… Кто тебе сказал, что у тебя рак?

– Дру…жжж, ок вра… док… тр, тр… Коля скзл…рак, – плачет Байда.

Сокольский поглаживает Ивана по голове:

– Ну, ну, Ванечка, ну, не расстраивайся. А где, где рак?

Байда вынимает из верхнего *(для платочка)* нагрудного карманчика пиджака клешню сваренного красного рака.

– Вот!!!

Описать дикий восторг остроумнейшего Смирнова-Сокольского невозможно. Когда хохот, сотрясший весь зал, утомленно стих, он обратился к «больному»:

– Я прощаю тебе, мерзкий человек, опоздание. За клешню ставлю тебе четверку. Если бы розыгрыш не был связан с медициной и тем более со страшной болезнью, поставил бы пять. А теперь скажи мне честно, без речных деликатесов, почему ты, негодяй, опоздал? И не стыдно тебе?

– Стыдно. Но тетя при смерти.

– Что, что? Тетя умирает? Наглец! Это уже было! В январе у тебя тетя умирала, в феврале тоже умирала. Смотри мне в глаза. Я ведь очень тебя люблю, сукин сын. Скажи мне честно, у тебя есть тетя?

Байда отрицательно машет головой.

– Тогда почему же ты опоздал?

– Дядя болеет…

– Ах, дядя!.. Смотри мне в глаза, гиена. А дядя у тебя есть?

– Эсть! Неродной – сосед по комэналке, Фдя…

– По коммуналке?

Байда утвердительно кивает головой.

– Ты ведь в отдельной квартире, висельник, живешь. Я тебе ее выхлопотал…

Байда виновато и почти дикционно четко:

– Тгда, звините, проспал.

– Невероятно! Мерзавец! Тебе необходимо жениться! В одиночестве ты дичаешь!

– Она с мно тоже одичае…

– Тоже одичает?

Байда азартно, радостно, утвердительно кивает головой.

– Почему?

Появился Лев Борисович Миров и приступил к переводу:

– Иван сказал, что так как он говорит мало и непонятно, она – будущая жена – может тоже разучиться говорить и

замолчать. Он предполагает: если потянусь поцеловать без всякого текста, подумает, что кусаться буду… Да и вообще любой женщине будет трудно с ним жить – заскучает. Одна добрая простушка долго не покидала его, да и только потому, что не верила, что он один борется за двоих. Все ждала, когда он покажет ей партнера: она была уверена, что в конце номера ему удавалось его как-то спрятать от глаз людских…

Такая женщина, которая бы его похвалила и тем вселила бы уверенность в себе, нашлась. Очень красивая женщина. Он гордился ею, любил с ней показываться на людях, сделал ее ассистенткой в своем эстрадном номере. Он еще больше похорошел, немного раздобрел, обрел фундаментальность. Женщина заставила его работать над дикцией и самостоятельно и с педагогами… В компаниях новая пара всегда блистала, особенно в танцах, потому что прекрасно двигалась – пластично и необычайно элегантно. Женщина заболела и ушла из жизни… Мужчина сдал, опустился, «одичал», стал пить и ушел вслед за любимой.

Байда – чудо-человек. Забытое чудо! А жаль! Жаль, что люди часто принимают за золото бутафорские, но звонко побрякивающие пустышки, а в простых неброских людях не замечают настоящих золотых крупинок.

Арнольд Григорьевич Арнольд

В свое время это был знаменитый режиссер эстрады, цирка; создатель «Балета на льду»; в прошлом прекрасный танцор; мужчина с фигурой Аполлона, говоривший с легким еврейским акцентом, и очень добрый человек.

Наш разговор на ипподроме.

– На какую лошадь ставить? – спрашиваю я.

– В этом заезде бежит одна лошадь – нумер четыре… Остальные – черепахи.

После долгих раздумий я ставлю на лошадь под номером три… и выигрываю.

– Арнольд Григорьевич, вы говорили, что победит только четвертая лошадь, а я выиграл на третьей…

– Так. Значит, я тебе сказал нумер четыре, а ты выиграл на нумере три.

– Да.

– Ну, все ясно. Все ясно, дорогой мой. Ты выиграл потому, что играть не умеешь!

После циркового представления в вольере зверей.

– Весник, ты типов разных собираешь в свою устную актерскую записную книжку. Пойдем, я тебя познакомлю с феноменальным человеком. Он сторож при животных. Васей его зовут. Ему скоро 79 лет. Все слова он говорит через букву «р», да еще грассирует – «р-р-р-р». Звучит очень эффектно и неожиданно. Невероятно смешно, когда он поет свою любимую песню «Эй-эй, ухнем», подражая Шаляпину, но все слова с обязательным «р-р-р-р». Во-он в углу видишь медведя? Жуткий баловник, просто хулиган, но талантливый артист. Шумит, рычит, фырчит, лапами пугает, цепью гремит, никого не боится. Боится только обнаженного по пояс и наступающего на него с перекатывающимися по телу бицепсами Григория Новака. Тогда замолкает, ложится на пол и покорно, заискивающе смотрит на чудо-богатыря. А уж когда к нему подходит дядя Вася и рычит на него, грассируя букву «р», мишка прижимает к голове уши, забивается в угол и боится посмотреть на рычащее «чудище».

Познакомился я с дядей Васей.

– Ты женат?

– Др-р-ра (то есть – да).

– Дети есть?

– Др-р-р-рвор-р-ре (что значит «двое»).

– Любишь их?

– Др-р-р-р-ра. Нр-р-р-ро льр-р-р-р-р-р-рва люр-р-р-р-р-р-р-р-рбир-р-р-рл нр-р-ре мр-р-реньр-р-р-р-рше (что означает «но льва любил не меньше»).

– Какого льва?

Дядя Вася объясняет, что был персональным сторожем циркового дрессированного льва. К концу рассказа у него появились слезы на глазах. Признался в том, что во время Отечественной войны у льва мясо воровал, благодаря чему семья дяди Васи выжила, а царь зверей Богу душу отдал.

Дядя Вася заплакал. Завыла собачка, за ней захрюкала свинья, заволновался гусь, мишка сочувственно зафыркал… Вошел Григорий Новак, напряг мышцы, и все смолкли. Мишка испуганно прилег. Дядя Вася прекратил плакать и на прощание сказал, что перед Богом чист, потому что батюшке покаялся и с давних пор в день смерти кормильца-льва раздает всему зверью мясца, рыбки и сладостей. Прощаясь со мной, тяжело вздохнул, и на выдохе у него выпорхнула стая – «р-р-р-р-р-р-р».

1955 год. Харьков. В помещении оперного театра прогорала концертная программа группы артистов с участием гастролера N. Меня и Геннадия Дудника – мы были модной парой – художественный руководитель этой группы Арнольд Григорьевич Арнольд срочно вызвал на подмогу.

Дневная репетиция перед первым нашим выступлением.

– Женя, Гена *(кашляет)*… вы выхо… *(кашляет)*… сходи… *(кашляет)*, после паузы са… *(кашляет)* и ухо… *(кашляет)* или нет… *(кашляет)* еще не… *(кашляет)*, а потом *(кашляет)*. Уже потом в хоро… *(кашляет)* еще не… *(кашляет)*, а потом *(кашляет)*. Уже потом в хоро… *(кашляет)* и, если… *(кашляет)*… можете… *(кашляет)* и… *(кашляет)* в общем, все… *(кашляет)*. Все, все, все *(кашляет)*. Вы поняли? *(не кашляет.)*

– Поняли. Спасибо. Поняли.

Перед самым отъездом на первый вечерний концерт.

– Весник, ты в этих туфлях будешь выступать? – спрашивает Арнольд Григорьевич.

– Нет, нет.

– А куда?

Нас принимали великолепно. Перед последним концертом в местной газете появилась рецензия: «Не трэба нам таких гастролеров, як N.». Цитирую последнюю строчку рецензии: «И несмотря на то, шо Дудник та Весник гарно (хорошо значит)

сполняли свои сценки, воны не смогли рятуваты (спасти значит) цего дуже поганого зрелища!»

Перед отлетом в Москву. Прощальный банкет в номере одного из участников концерта.

23.00. Тосты, тосты… Чокаемся, рассказываем веселые истории, хохочем.

1 час ночи. Арнольд поднимается:

– Ну что, молодежь? Ложиться не будете?

– Нет смысла. Автобус в аэропорт в 6.30 утра, а сейчас уже второй час.

– Ладно, а я пойду отдохну.

– Мы вас часиков в пять разбудим?

– Можно.

– Чайку подготовить?

– Можно.

– Рюмочку оставить?

– Можно. Пока.

5 часов утра. Звоним.

– Алло! Арнольд Григорьевич. Доброе утро. Подъем. Пять утра. Ждем вас.

– Кто это?

– Это мы – молодежь.

– Какая?

– Это мы… Вы просили вас разбудить. Чай готов. Рюмочка оставлена. Автобус в 6.30.

– А-а-а-а, понятно. Сколько вас там?

– Сколько нас? Сейчас… Раз, два, три, четыре, пять – шесть человек.

– Все живы?

– Все.

– Вас точно – шесть?

– Точно, точно!

– Пересчитай! *(Шепотом и кашляет.)*

– Раз, два, три… Шестеро, точно!

– Слушайте меня внимательно *(кашляет)*. N. с вами?

– Да, да! С нами. Здесь он. А что, Арнольд Григорьевич?

Он долго кашляет и говорит с придыханием:

– Пошли всех шестерых «туда» и еще раз «туда» и «туда»…

– За что?

– За то, «шо не трэба мени таких гастролеров». Я немножко *(кашляет)* еще посплю, а в 6.30 к автобусу выйду, несмотря на то что «кое-кто не смог рятуваты цего дуже поганого зрелища» *(закашлял)*. Понял?

6.30 утра. В автобусе. Мы – молодежь – спрашиваем:

– Арнольд Григорьевич, почему вы такой мрачный?

– Я себе думаю: в пять утра луна была во-он там, а теперь в 6.35 она уже вот здесь. И еще я себе думаю: кто из вас в пять утра выпил мою рюмку и мой чай?!

– Никто!

– А куда???

Очень большой композитор перед смертью постоянно говорил: «Только с почестями, только с почестями, только с почестями!» Знаменитый ученый задал вопрос: «И это все?» А Арнольд Григорьевич: «Если там есть манеж, я не пропаду: начну с клоуна, потом поставлю „Новый балет на льду“. Так что захватите коньки. Я вас жду».

О, Пари!

Необходимо уметь отстраняться от самого себя, от других, смотреть и смеяться, несмотря ни на что смеяться.

Эжен Ионеско

Одно слово «Париж» – и тобой овладевает душевный трепет! Как-никак – пятнадцать столетий этот город шлифовал историю не только Франции, но и мира!

1963 год. Задолго до гастролей в Париже стало известно, что у нас есть конкуренты: Театр комедии под руководством Н. П. Акимова и Большой драматический театр им. Горького под руководством Г. А. Товстоногова. Решался вопрос: кому отдать предпочтение? Решался не нами, не нашими ленинградскими коллегами-конкурентами и даже не Министерством культуры, не французскими товарищами и господами, а «господином Маяковским». И «он» решил его в пользу Московского театра сатиры! Едут «Клоп», «Баня» и на «прицепе» – «Яблоко раздора» Бирюкова.

Итак, началось: справки о здоровье, ажиотаж в связи с предстоящим знакомством с великим Парижем, недовольство тех, кого не берут, затаенное торжество едущих…

Лихорадочные поиски вариантов улучшения актерского исполнения: перемещения с роли на роль, снятия с роли, замена актера другим, более сильным исполнителем. Заявления в разные инстанции оскорбленных в связи с этими перемещениями, разбирательство этих заявлений, скрытые и открытые сожаления и торжества по поводу всех этих пертурбаций…

Очень серьезный репетиционный период во имя улучшения качества спектаклей (у меня он был особенно напряженным, так как пришлось не только вводиться то на роль Понт-Кича в «Бане», то на роль Ивана Ивановича в той же «Бане», но еще и проводить с 9 утра трудные репетиции по выпуску спектакля «Проделки Скапена» Мольера в моей, совместно с А. Столбовым, постановке).

Серия бесед о Франции, о специфике ее экономического и политического положения, о поведении советского гражданина в условиях буржуазной страны и множество разговоров во время этих бесед о том, нужны ли они – беседы – или нет.

Советы и требования: разбиться на пятерки, их начальников выбрать только из членов партии; не смотреть, не заходить, не

разговаривать; не фотографироваться, приглашений не принимать, в одиночку никуда не ходить; остерегаться провокаций, не уединяться, не поддаваться; не дышать, не ка…, не пи…; настороженно отнестись к «увеселительным» районам, особенно к площади Пигаль, на которой находится кабаре «Мулен Руж»…

Кто-то спросил: «А в театр „Красная мельница“ (это и есть по-французски „Мулен Руж“) можно заглянуть?» И незамедлительно получил ответственный, глубокомысленный ответ: «В красный, пожалуйста, сколько хотите, но желательно всей пятеркой – мало ли, вдруг какая-нибудь проверка! Спокойнее будет!» (Ударение на первой букве «е»…)

Я спросил: «Возможно, буду приглашен Луи Арагоном домой. Как быть: идти или поостеречься?» Инструктировавший нас на минуточку задумался и сказал: «На месте разберетесь с вашим руководством. Расскажите, кто он такой, этот Арадон, руководство проконсультируется с кем надо и даст вам рекомендации. Сами решений не принимайте! Несите гордо звание гражданина нашей великой страны!»

Вспомнился инструктаж Бомпара в связи с угрозами русских нигилистов в адрес его земляка, последнего Дон-Кихота европейской литературы, знаменитого Тартарена из Тараскона (из романа Альфонса Додэ «Тартарен в Альпах»): «Будьте начеку: осматривайте кровать в гостинице, прежде чем лечь, осматривайте стул, прежде чем сесть… Внимание к кушаньям, к стаканам, которые могут быть вымазаны ядом. Невидимым! Бойтесь парного молока, которое вам принесет пастух, они ни перед чем не остановятся».

В 60-х годах у меня сложилось твердое убеждение в том, что за границей советские люди интересовались собой значительно больше, нежели ими все окружающие их!

…Итак, сборы, покупки сувениров, прощания… И наконец 6.15 утра 17 июня 1963 года. Автобусы, едем в «Шереметьево». Получение билетов, сдача багажа и посадка в самолет, «вылетающий рейсом № 49 Москва – Париж». Завистливые глаза провожающих и тревожные у тех, кто первый раз летит на самолете (а таких оказалось много), растерянные у администраторов, которые остались в Москве… Так жалко было смотреть на словно пришибленного главного администратора театра, не знавшего, как себя вести. Он, многие годы всегда бывший «передовым» и необходимым в театральных гастролях, привыкший к ажиотированной деятельности, всегда повышенно громко говоривший, вдруг оказался в положении человека, которому нечего делать, некому советовать, нечего исправлять,

нечего устраивать… Теперь он мог лишь грустно и неизящно острить о том, что, пока мы будем во Франции, он подготовит гастроли на Марс! Все мило улыбались, понимая всю «драматичность» его положения: «Он – и не летит!»

Самолет на взлетной полосе. Привязываемся ремнями к креслам, взлетаем. Стюардессы объясняют маршрут: Москва – Рига – Копенгаген – Амстердам – Брюссель – Париж (без посадки, конечно); сообщают условия полета: высоту, скорость, продолжительность (3 ч 40 мин); объясняют правила поведения пассажиров, раздают пакеты на тот случай, если кто-то захочет «съездить в Ригу»; раздают завтрак, по-русски обильный: сухое вино, горячее блюдо, вода, кофе, апельсин. Вся суета наконец кончается, все замолкают и с нетерпением ждут посадки в Париже. Как всегда, в дороге царит «господин юмор».

В первый салон никого из летевших не пустили. Но мы с Анатолием Папановым обратили внимание на детальку, нас весьма заинтриговавшую: стюардессы проходили в тот салон с подносами, особенно щедро сервированными, вплоть до бутылки очень дорогого коньяка… Кто там? Кто он? От ответа стюардессы уклонялись. Но после их очередного посещения этого салона вдруг от имени загадочного пассажира к нему пригласили… Папанова и меня. Прошли. «Здравствуйте!» – «Здравствуйте!..» Удивительно знакомое лицо, но кто он? Ну, никак не могли вспомнить! Одет очень скромно: легкая куртка поверх рубахи без галстука, стрижка и прическа без претензий, простая, естественная манера поведения и речи. На куртке две Звезды Героя, медаль лауреата Ленинской премии, значок «Заслуженный мастер спорта», колодки пяти орденов Ленина, трех Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, четырех Красной Звезды… Знаменитый, обаятельный… Но кто этот дядечка? Сам он не представляется! Интригует:

– Завтра состоится мероприятие, ради которого и лечу в Париж. Оно будет сниматься кино- и телестудиями, значит, послезавтра отчет о нем появится на экранах. Посетите любой кинотеатр и все узнаете…

Мы посетили кинотеатр – посмотрели «Огни рампы» Чарли Чаплина и из киножурнала «Новости» наконец узнали, кто наш знакомый. Ахнули от неожиданности и некоторого даже стыда… Очередные «киноновости» рассказывали о смотре самолетов вертикального взлета. Рядом с президентом Франции Шарлем де Голлем стоял на трибуне наш новый знакомый в той же куртке и без галстука, а голос за кадром (с нами был переводчик) сказал:

– Рядом с нашим президентом – вице-президент ФАИ Владимир Коккинаки.

Незаметно прошли 3 часа 40 минут. Самолет пошел на посадку. Наконец колеса нашего красавца ТУ-104 коснулись французской земли. Кстати, о земле. Редкие просветы (мы летели то над облачностью, то в облачности) все-таки давали возможность разглядывать Землю. А она была разной – то нашей, то датской, то голландской, то бельгийской и, наконец, французской. Но в то же время она всегда оставалась одной и той же Землей – землей, кормящей людей.

Как хорошо, если бы эта земля, кормящая разных людей продуктами питания, как можно скорее начала бы кормить разных людей одними и теми же духовными продуктами! Ей же, Земле, было бы лучше. Не дырявили бы ее большие снаряды, не травили бы ее порохом и газами. Ее просили бы и помогали бы ей – дарить людям как можно больше цветов и картошки, апельсинов и грибов, здоровых детей и ягод. На заводах и в институтах больше бы вырабатывать атомной энергии, но заключенной не в снаряды, а в батарейки и аккумуляторы, которые продавались бы везде и всюду, как семечки на одесском рынке. Из больших запасов военной одежды наделать бы ковров и ползунков для малышей… Скорее бы настало это время! Оно должно настать, ибо, в противном случае (так мне кажется), слово «настанет» на Земле может стать понятием «было» и некому будет «быть» и нечему «настануть».

Маленькая деталь, увиденная сверху: у нас в России, в стране, где живут люди, которых называют «красными», мало красных крыш, но как только перелетаешь границу, за которой живут люди, которых называли «белыми», – очень много красных крыш!

Нас встречали посольские работники, Луи Арагон, Эльза Триоле и Лиля Брик с Василием Катаняном. Много любопытных, много негров, кто-то (посторонние) преподнес несколько букетиков цветов. Не успели пожать встречающим руки, как на конвейере были поданы чемоданы. На автобусах поехали в советское посольство.

Первые впечатления (они почти всегда очень точные и наиболее запоминающиеся)… Крыши Парижа! Все они вроде бы разные и в то же время одинаковые, типично парижские: ломаные по линиям, со множеством дымоходов, похожих на горшки для цветов! Каждая улица кажется новой и в то же время типично парижской: если маленькая, то, как правило, уж очень захудалая, серая; если средняя, та с деревьями и скромными рекламами; если большая – то шикарная, броская и буквально распухшая от «кричащих» реклам.

Более серьезное восприятие Парижа начнется, конечно же,

после ознакомления с архитектурными шедеврами, с историческими местами, с разными людьми, с посещения ночных баров и кафе с сеансами стриптиза, с посещения мест сборищ проституток, с особняками миллионеров, Булонским лесом, Лувром, Версалем… Вот тогда наверняка наступит ощущение необычайного разнообразия всего того, что показалось однообразием.

«О, Париж! Ты заключаешь в себе одном больше добродетелей и преступлений, чем весь остальной мир!»

«О, великий город, не ты ли сам загадочная эмблема вселенной?.. Здесь бодрствует веселье, там спит изнемогший труд… направо – песня счастливых, улыбка любви, золотые мечты и бесконечные миражи надежды, налево – горе и слезы страдальцев…»

(Размышления Армана, героя романа Понсон дю Террайля «Таинственное наследство»)…

Французы одеты очень скромно, менее броско, чем москвичи. Мужчины все в пиджаках и при галстуке – все-все (наш артист Андрей Крюков, приехавший в совкуртке, – самый «заметный» человек в Париже, в смысле незаметный). Вообще-то французы очень похожи на русских, только меньше светлых голов, и они, как это ни странно, производят впечатление более спокойных людей, чем русские, менее торопливы, проводят много времени, сидя в кафе-бистро, которые «зазывают» тебя буквально через каждые 100–150 метров.

В посольстве нас принимает советник по культуре Валентин Вдовин. Говорит, что нас должны принять неплохо, так как здесь Маяковского любят, знают. Много русских эмигрантов с любопытством относятся к названию нашего коллектива – «Театр сатиры»: хотят услышать и увидеть, как это советские в капиталистической стране будут заниматься самокритикой. Здесь всегда высоко котировались наши русские цирк, балет, певцы и певицы, драматические театры. Французы уже не мыслят проводить театральную весну – традиционный смотр театров всего мира – без советского коллектива! Но – Театр сатиры?! Это ново!

Бегло осматриваем роскошный старинный дворец графа Эстре, в котором размещается посольство (кстати, в этом дворце и раньше находилась резиденция царских послов, так что это «древняя русская земля»).

Покидаем «русскую землю», садимся в автобусы, прибываем на бульвар Рошешуар к отелю «Карлтон» (новый хозяин отеля

недавно приехал с содержанкой из Бразилии и купил этот отель). Посол во Франции распорядился поселить нас в этой гостинице, и, что самое неожиданное, она находится совсем рядом с площадью Пигаль, которой нас пугали в течение месяца на московских инструктажах. На недоуменный вопрос одного из наших «водящих руками»: «Как же так? А нам в Москве…» Получили исчерпывающий ответ посла: «Да не слушайте вы дураков! Ходите куда хотите, чувствуйте себя как дома… Никаких тут провокаций не бывает, а если и будут, то никакие инструктажи их не остановят!» «Водящий руками» наверняка подал куда надо «сигнал» (в порядке патриотизма и бдительности). Наверняка! Доказать не могу, но убежден в этом! (На меня несколько томов кляуз и доносов сотворено – знаю эту механику и авторов чую, как навоз у коровника!)

Мы с артистом Олегом Солюсом поселены в номере на две персоны с ванной, который стоит 52 франка (что очень дорого – это стоимость 52 литров столового вина), но как оказалось, ничего из себя не представляет. В наших московских гостиницах (самых захудалых) – таких сереньких номеров немного.

Ключа от номера нам не вручили – он потерян. Открыли дверь запасным, сказали, что через 10 минут придет слесарь и заменит замок. Чемоданы оказались намного раньше нас и ждали нас в холле отеля.

Наш номер – комната 15–16 квадратных метров, запущенная, с грязными потолками, с очень неприятными металлическими кроватями (под медь), на которых явные следы или бывшего или постоянного присутствия клопов, с неудобно расставленными двумя столиками, с ванной, без уборной! – она в коридоре. Вода горячая и холодная, но… подается через устройство, благодаря которому лишний литр воды не сможешь использовать. Краны с ограничителями: нажмешь – льется, отпустишь – нет. Как в вагоне поезда. Освещение скудное. Шкаф старенький и очень неопрятный.

Включаю свой транзистор «Атмосферу-2». Очень интересная деталь – из Москвы он ловит больше станций, чем отсюда. Более того – из Москвы Францию он ловит, из Франции Москву – нет. В общем, Москву слышать не будем. Говорят – наши станции слабые, самые слабые! Это здесь так говорят! У нас – говорят не так…

Окно – на шумный парижский бульвар Рошешуар. Видим передвижной кукольный театр, массу зрителей-детей с папами и мамами, поводыря с дрессированным медведем. Животинка (в прекрасном мужском костюме и со шляпой на голове) вытворяла разного рода штуки-кренделя, потешая род людской. Как

оказалось, на «нашем» бульваре Рошешуар, невдалеке от гостиницы – большой постоянный цирк «Медрано».

Через десять минут появился слесарь – импозантный старец лет восьмидесяти: величавая барская походка, чуть трясущаяся голова, красивые седые волосы с ровно проложенным пробором, на пальце дорогой перстень. Глаза слезливые, собачьи: бульдожьи, с нависшими над ними мешочками. Фартук из нейлона, в руке чемоданчик из слюды – все инструменты видны на просвет!

– Бонжур, месье.

Французским не владею, поэтому жестами и мимикой даю понять, что я, дескать, не «бонжур» и не «франсе». За границей у меня, да и у многих срабатывает странный рефлекс: почему-то кажется, что если ты на своем языке что-то произнесешь внятно и грамотно, тебя не поймут, а вот если исказишь как можно сильнее родные слова – поймут прекрасно! Рефлекс сработал:

– Мос-ка-а-у!

Старец протянул мне чуть дрожащую руку и на чистейшем русском языке ответил:

– Ну, так бы сразу и сказали. Борис Михайлович из Тамбова.

Выяснилось, что Борису Михайловичу восемьдесят шесть лет, что он сын тамбовского купца, не принявшего революцию и уехавшего со всей семьей во Францию. И вот Борис Михайлович доживает свой век в Париже. Но русский язык звучит в семье постоянно: и дети, и внуки, и правнуки – все на русском говорят. Россию любят, щи едят, ругательства знают, песни поют.

Объяснил нам, когда открыт доступ в Лувр, в какое время дня лучше подняться на Эйфелеву башню, где находится Дом инвалидов, в котором покоится прах Наполеона. Рассказал, что саркофаг императора расположен как бы в открытом полуподвальном помещении для того, чтобы каждый разглядывающий его вынужден был склонить голову и тем самым – хочешь не хочешь – поклониться ему; что в Доме инвалидов покоятся гробницы всех маршалов Наполеона и его сына. Сказал, что преклонение перед Наполеоном не очень логично, так как для Франции он ничего хорошего не сделал, даже наоборот: ведь к концу своего правления уменьшил ее владения и вообще мог бы и не стать французом! Вот так-то! Ведь он уроженец Корсики, а присоединение острова к Франции состоялось тогда, когда Наполеону было уже два года. Родиться бы ему на два года раньше! И…

Объяснил, на каком автобусе удобнее ехать в Версаль…

Я угостил его нашим национальным «напитком», крабами, в

то время еще доступными нашему брату.

– Вы не понимаете, кого угощаете. Вы – господин – а я лакей. Вы господин, а я лакей! – растроганно бормотал старец.

Небольшую посудинку мы втроем все же «продегустировали». Я подарил ему маленькую пластинку русских песен и альбом с видами Москвы. Борис Михайлович совсем растрогался, щечки у него раскраснелись. И вдруг он заплакал как ребенок… Как ребенок! Кулаками вытирал слезы и мокрый нос…

– Я скучаю по России. Но проситься обратно – поздно! Я уже офранцузился. Спасибо за угощение… Дай вам Бог здоровья!! На ваши спектакли я не пойду – сердце не выдержит.

Все же уговорили его. Он пришел на «Клопа» Маяковского и, проплакав весь спектакль, слег! Сдало сердце… Увидели мы его только в день отъезда. Он очень похудел за две недели, ослаб, был очень бледен и все приговаривал: «Тамбову поклонитесь, Тамбову поклонитесь», а пожимая нам руки, почему-то «пардон» и «мерси».

«Очеловечиваем» наш номер, устраиваемся, раскладываем пожитки, и, конечно, на улицу!

Кафе-бистро страшно манят, особенно разнообразными прохладительными напитками. Бокал (меньше нашего граненого стакана) минеральной воды стоит дороже бокала сухого вина, или бокала сока, дороже пива, лимонада и кока-колы.

Афиш наших нет. Билеты идут туго. Страшная тревога по поводу того, что в ГДР и Польше почему-то задержали идущие транзитом наши декорации. 20 июня может сорваться первое представление. Директор французской фирмы перевозок просит наше посольство сделать все возможное, чтобы «протолкнуть» декорации на территорию Франции, где он обещает доставить их в срок любым путем, хоть на автомашинах.

Вечером все свободны. Разбредаемся кто куда. Мы с Солюсом попадаем в театр «Одеон», которым руководит Жан Луи Барро. Смотрели оперу-буфф «Аптекарь» – диалоги Гольдони, музыка Гуно. Действие происходит в XVI веке. Актеры разговаривают, поют и танцуют, но в то же время и не говорят, и не поют, и не танцуют, так как разговаривают не органично, манерно, поют средне и танцуют плохо. Все это вместе создает впечатление не очень профессионального зрелища, кстати, весьма холодно принимавшегося самими французами. Высидеть второе действие не хватило мужества не только у нас.

Вернулись домой на метро – станция недалеко от отеля. Метро для приезжего – спасение. Это огромная паутина из 15 нитей, переплетающихся под Парижем, по которым бегают на металлических и резиновых колесах старые вагончики-работяги.

Никакого богатства, никакого разнообразия в оформлении: во всем практичность, удобство. Над каждым входом в метро – карта всех линий метро. На станциях каждый метр использован для рекламы, для автоматов с сигаретами и жевательной резинкой, конфетами… Билеты стоят по-разному. Один билет стоит 50 сантимов во 2 классе, 60 – в 1 классе. Но 10 билетов во 2 классе стоят 3 франка 70 сантимов, в 1-м – 4 франка 50 сантимов. Вагон 1 класса – в середине состава и выкрашен в красный цвет. Он более удобен в часы пик. В нем нет давки. Поезда ходят медленнее наших, в метро грязно, всюду валяются использованные билеты, почти все стены оформлены маленькими кирпичиками белого кафеля, остальное серо-грязного цвета. В метро можно встретить нищего, играющего на губной гармошке или на банджо, калеку, да еще пьяного (как у нас теперь), можно увидеть молодежь, собирающую деньги за рисунки на полу. Кассы закрываются за три минуты до конца работы, то есть в 0 ч 27 мин, так как кассиры сами должны добраться домой и тот, кто попадает в метро в отрезке времени между 0 ч 27 мин и 0 ч 30 мин, едет без билета, бесплатно. Многие этим пользуются. Напоминаю – это 1963 год!

Всем нам строго-настрого велено являться в гостиницу не позднее полуночи! Мы приехали после спектакля раньше контрольного времени и встретили при входе в отель похвалившего нас за дисциплинированность «товарища из». Во всех поездках за границу – всех и везде сопровождал такой «дядя»…

Обращаюсь к «дяде»:

– Я бывший офицер, я воевал. Я должен смотреть ночной Париж, обязан! Нет, нет, не перечьте мне. Что хотите делайте со мной, но я буду ходить по ночному Парижу! Я никуда не удеру, не бойтесь!

– Ну, смотри, Весник. Я тебе скидку делаю – ты фронтовик! Но… молчок! Понял?

– Я не один. Мы в номере с Олегом Солюсом – заслуженным артистом, он мой коллега, товарищ. Без него бродить по ночному Парижу неловко… свинство.

– Ну, смотри! Все на твоей совести! Отвечать – тебе. Когда пойдете?

– Сейчас.

– Когда вернетесь?

– Не знаю. Ну, естественно, утром…

– Так не пойдет. Давай договоримся, чтобы точно.

– В шесть утра!

Мы вернулись в 5.50 утра – «дядя из» ждал нас и бросил

одобрительное «молодцы». На вторую ночь опять отпустил, утром снова встретил. На третье утро его не было – спал. Поверил в нас. Успокоился. Попался нормальный человек. За обедом как-то сказал мне: «Обратно полетим – я к тебе подсяду. Расскажешь, чего видел, ладно? Интересно небось».

Вспомнил рассказ вахтанговцев о том, как в зарубежных гастролях их родной «полковник из», будучи (после обильного банкета) в гражданском костюме, сделал одному из ведущих артистов замечание: «О-о-о-о, вы не в форме!», на что артист ответил; «Да и вы – тоже».

Итак, мы отпущены! И… попадаем в объятия нашего легкомысленного района площади Пигаль.

> Юмор помогает ясно и четко осознать трагические или смехотворные условия человеческого существования.
>
> *Эжен Ионеско*

О, Пари! Чего только не увидели мы в первую же парижскую чудо-ночь!

На самой площади расположены только ночные заведения разного пошиба, но почти все они имеют один и тот же аттракцион: стриптиз. Перед каждым заведением, начиная с «Мулен Руж» и кончая захудалым баром, стоит зазывала-швейцар, который, как правило, знает несколько языков. Если не языков, то фраз на разных языках, приглашающих прохожих зайти. Перед каждым заведением – фотографии почти обнаженных женщин, все фасады очень броско и оригинально освещены. Некоторые очень ярко (особенно фасад «Мулен Руж»), некоторые откровенно красным приглушенным светом, некоторые совсем не освещены – только чуть-чуть маленькими лампочками. На афишах каждого заведения написана цена за вход. Цена эта колеблется от 4 франков 50 сантимов до 20 франков – в зависимости от класса заведения.

Ах, если бы узнали наши московские «инструкторы», что я уговорил Олега Солюса попытаться попасть в «Мулен Руж»! При входе у нас спросили билеты, а мы – администратора. Билетов – нет, администратор – пришел. Представились друг другу. Я объяснил, что мы хотели бы только взглянуть, «что и как в этом знаменитом заведении…».

– Нур шауэн! – говорю администратору. – Только посмотреть. (Есть затруднения в объяснениях, но если собеседник не знает русского языка – а во Франции очень многие говорят по-русски, –

обхожусь совсем уж одряхлевшим знанием немецкого.)

– Битте, битте, – вежливо приглашает он. – Пожалуйста, пожалуйста!

Денег с нас – никаких, комплименты в адрес русского театра, показывает купленные билеты на наши спектакли. Вежливость, гостеприимство на высоте!

Объясняет, что до основного представления еще полтора часа, что сейчас идет камерный концерт на малой сцене в ресторане. Предлагает понаблюдать за посетителями из боковой служебной ложи. Столиков немного, публика – самая, самая разнообразная, на эстраде – два артиста, судя по всему, куплетисты. Один играет на кларнете, когда поет второй, а второй на банджо, когда поет первый. За каждым столиком, за редким исключением, только парочки, разных возрастов, разнокалиберно одетых, как правило, любовники и любовницы. Обслуживают столики «девицы» на высоченных каблуках и совершенно голые – только маленькие фиговые листочки на сосцах и «заветном» месте. Администратор на немецком объясняет, что если кто-нибудь из сидящих за столиками позволит себе какую-нибудь фривольность в адрес «дам», он тут же получит замечание от бдительного метрдотеля, а если же фривольность будет не пустяшной – будет вежливо выпровожден из зала. «Французов очень мало среди наших гостей, а если и есть, то только приглашенные приезжими иностранцами».

Кстати, закон о запрещении проституции и публичных домов был встречен дамами легкого поведения резко отрицательно. Они и их сутенеры устроили демонстрацию с требованием отмены этого закона. Шли организованными колоннами, с транспарантами и лозунгами. Их тема: «Де Голль – ты старый хрыч и ничего не понимаешь в нашей работе. Отмени закон!» Колонны проходили мимо резиденции президента. Де Голль появился на балконе и, как нам рассказывали, спокойно, с присущей ему монументальностью показал участникам марша… две «фиги»! Ничего не добившись, обиженные, однако, продолжали и продолжают свою «деятельность», но под прикрытием частных заведений со стриптизом, а также бесчисленного множества маленьких отелей в несколько номеров. Они стоят прямо перед дверью отеля, их нанимают и ведут в номер! На территории частного отеля «веселые дамы» неприкосновенны. Из своего гонорара они платят за комнату хозяйке, да еще проценты сутенерам. (Слесарь Борис Михайлович рассказал нам, как два брата-сутенера содержали 12 молоденьких девочек и в течение короткого срока заработали миллионы. Но их судили.)

Район нашего отеля – район не центральный, поэтому видишь «веселых дам» не очень высокого пошиба, разных возрастов, много мулаток. Как правило, они ведут себя с «достоинством», не «пристают» и сами себя не предлагают, но попадаются нахальные: они приглашают и словами, и жестами, и движениями таза. Есть такие, которые хватают за руки. Стоит дать ей понять, что ты не интересуешься ею или что у тебя нет денег (последнее самое сильное средство защиты), как моментально отвязываются. Но как правило, женщины ведут себя неназойливо: стоят и ждут. Фотографировать себя не позволяют, да и не рекомендуется это делать: может (откуда ни возьмись) появиться сутенер и испортить вам мажор души и тела. С подходящими к ним они торгуются: поговорив с мужчиной, они решительно отходят от него или также решительно ведут его в отель. Через некоторое время «влюбленная парочка» выходит из отеля и расходится в разные стороны: он своей дорогой, а она снова занимает исходную позицию у входа в отель, в ожидании следующего «жениха»… Ей, ей, отвратно! До омерзения!

Решили заглянуть в какое-нибудь заведение со стриптизом. Нашли – последний сеанс в 4 утра. Вход – четыре франка с полтиной. Недорого. Идем? Идем. Садимся за пустой столик. За другими – несколько юных парочек, да две очень пожилых. По всему видно – это все туристы. Любознательные юнцы и любители воспоминаний! Притушили свет, зазвучала музыка, на эстраду вышла очень красивая женщина. Очень красивая! Проделала весьма пластично все, что ей полагалось (глаза отсутствующие, холодные), и, заработав жиденькие аплодисменты, ушла. Когда спускалась со сцены, я поманил ее пальцем. Заметила, кивнула. Переоделась, вернее, оделась, пришла к нам. Оказалось – знает немецкий язык. Я представил своего коллегу, объяснил, что мы артисты Театра сатиры, что приехали на гастроли. Она в курсе, знает даже, что играем спектакли в помещении театра Сары Бернар. Вдова, бывшая балерина, после рождения ребенка немного располнела и с балетом пришлось расстаться: не могла обрести прежние габариты и войти в форму. Пришлось зарабатывать стриптизом. Ну и, конечно, древним ремеслом… Знают ли ее родители, чем она занимается? Не знают. Живут в провинции. Сколько зарабатывает? Достаточно. Сорок процентов отдает хозяйке. Какая цель? Накопить денег и выйти замуж. Есть газеты, где печатаются объявления вдовцов, преимущественно из сельской местности, желающих вступить в брак. Как правило, выбирают таких, как она, потому что из «таких» получаются хорошие жены:

уж если они вырываются из этого мира, ни о какой безнравственности не может быть и речи. В совместное хозяйство должна войти с приданым. Скажем, с трактором или автомобилем… Договариваются. Вот и она надеется и ждет своего часа.

Мило беседуем. Солюс периодически припадает к моему уху и шепчет:

– Если вы советский человек, вы сейчас же встанете и уйдете!

– Да подождите вы, – урезониваю его. – Сидите спокойно, все нормально.

Немецкого языка Солюс не знает, о чем мы говорим, не понимает, волнуется, нервничает. Что там Весник еще выкинет?

Накануне я принял участие в вечере, посвященном творчеству Ильфа и Петрова, организованном ЮНЕСКО. Представил меня месье Жорж Сориа – писатель, поэт, драматург, переводчик, импрессарио почти всех гастролей советских коллективов и солистов, пропагандист русского искусства и просто богатый человек. Рассказал присутствовавшим в небольшом зале о том, что я – автор инсценировок романов «12 стульев» и «Золотой теленок», первый исполнитель роли Остапа Бендера на советской сцене. Я, в свою очередь, пытался убедить слушателей в том, что нельзя трактовать Бендера, как комедийную фигуру, ибо ничего не сделавши в жизни, этот талантливый человек – скорее образ трагикомический. В доказательство привел несколько реплик самого героя: «Мне 33 года – это возраст Христа. А что я сделал: учеников разбазарил, учения не создал», «А может быть, я идиот и ничего не понял?». Был тепло принят в основном студенческой частью зрителей и «обласкан» небольшим гонораром, позволившим чувствовать себя в описываемый вечер «барином»: угостил даму хорошим вином, сладостями и фруктами. Шиканул!

Перед уходом выпили с хозяйкой заведения по рюмке коньяку. Нашей собеседнице за «потерянное» в нашей компании время предложили 25 франков. Она не отказалась, но была явно удивлена тем, что дело дальше беседы не пошло… Сознаюсь, она мне очень понравилась. На прощание поцеловал ей руку! Стоя у входа в свое заведение, она помахивала нам рукой, пока мы не скрылись за углом.

– Слушайте, Солюс! Я видел трусов… но таких, как вы! Ну, что вы в самом деле?! «Если вы советский человек, вы сейчас встанете и уйдете»! Как вам не стыдно?

– Я не за себя! Не за себя боялся! У меня брат в Москве диссертацию защищает! – воинственно заявил Солюс.

Ничего не поделаешь, времечко было все еще «веселенькое»!

Через неделю играли «Яблоко раздора». Я – в центральной

роли и начинаю спектакль. Поднимается занавес. На сцене – Лепко, Папанов, Пельтцер… Я должен был пройти полукругом по всей сцене, оглядывая зрителей, как бы делая их соучастниками происходящего, остановиться и сказать: «Ну, шо, увсе тут?» (Действие происходит на Украине.)

Смотрю в зал и вижу в первом ряду с огромным букетом нашу ночную знакомую… В антракте мне принесли этот букет чудесных роз. В него вложено вырезанное из плотного картона сердечко, на нем отпечаток накрашенных губ и подпись: «Лилиан».

Спрашиваю швейцара: «Сколько может стоить такой букет роз?» – «Не меньше ста пятидесяти франков, месье…» Мне стало немножко не по себе: ведь тот «барский» вечер обошелся мне всего в 60 франков. Больше я ее не видел. Ах, Лилиан!

Если чуть-чуть отойти в сторонку от «боевой» площади Пигаль, попадаешь в темноватые переулки. Свет в окнах домов редко увидишь – французы в 22.00–23.00 уже спят. «Ночь для сна!» – гласит французская пословица. То, на что мы «тратим» поздневечернее и ночное время, они успевают сделать с 12 до 14 часов дня, так как по всей Франции (или только в Париже – не помню точно) гудком на это время возвещается обеденный перерыв. В течение двух часов французы обедают, оправдывают надежды любимых, да еще умудряются всхрапнуть полчасика!

Пора и нам всхрапнуть. Калейдоскоп впечатлений, заключительные его «рисунки», опечалили, вернее, несколько смазали светящуюся палитру увиденного в течение всего дня и ночи: чуть ли не в центре площади Пигаль лежал пьяный человек, рядом с ним два костыля… Никто на него никакого внимания не обращал…

Около нашей гостиницы пожилой человек накалывал палочкой с острой иглой, вмонтированной в ее кончик, брошенные в урны и просто на тротуар окурки и высыпал остатки табака в мешочек, прикрепленный к поясу брюк. Диссонанс!

> Лишь комическое способно дать нам сипы, чтобы выдержать трагедию существования.
>
> *Эжен Ионеско.*

Др-р-р-р-р-р-р-р! Будильник! Открываю глаза… 9 утра. Что? Где я? Ах, да, пардон. Я в Париже. С добрым утром! 18 июня! Быстро-быстро завтракаю – и на улицу. О, Пари!

Часть бдительного коллектива – две пятерки (!), проинструктированных мастеров Театра сатиры – бодро шагает

по утреннему Парижу. К одному из «наших» начальников пятерок приближается старенькая-старенькая парижанка с взглядом грудного ребенка, с палочкой-зонтиком в руках и, мило улыбаясь, обращается к нему: «Месье». А тот – гордый член компартии, – резко бросаясь в сторону от бабуси, прерывая ее «провокационную» попытку «скомпрометировать» полноценность своего членства, принципиально и идейно подкованно заявил ей: «Иди к черту! К черту! К черту!»

Ах, как обрадовался бы московский инструктор, любуясь плодами своих наставлений!

Не могу не сказать, что этот «полноценный» художник-гражданин оказался ярко одаренной натурой! Удивительно! Через пару дней, проходя мимо витрины магазинчика, торговавшего изделиями из кожи, я увидел его обаятельнейшим образом улыбавшегося, элегантно и кокетливо пытавшегося вырвать, как оказалось потом, кожаный жилет из рук владельца магазина, при этом что-то произнося, судя по движению губ! С точки зрения гениальной системы Константина Сергеевича Станиславского, воспитывающей в артисте органическое, правдивое и логичное (сценическое поведение и действие, понятные зрителю даже через стекло, когда не слышно текста), все было идеально! Я прекрасно понимал, что начальник моей пятерки хочет заполучить жилет и преодолевает какие-то трудности, но любопытство победило мое желание пройти мимо, и я вошел в помещение магазинчика.

– Я коммунист! Отдай за тридцать! – услышал я те слова, которые на улице были лишь беззвучно обозначены губами. Мой начальник увидел меня. Почему-то «милый чудак» смутился, перестал улыбаться и торговаться, жилет из рук выпустил и не купил, а по дороге в гостиницу умолял никому не рассказывать об увиденном. (Хозяина магазина он все-таки «дожал», так как в Москву летел в том кожаном жилете.)

Как бы ярко и талантливо ни проявлял себя мой начальник (кстати, лауреат Сталинской премии) в течение всех наших почти трехнедельных гастролей, все же его звездный час пробил в первый же день пребывания в столице Франции. И если, посещая Версаль или Фонтенбло, ты не можешь не вспомнить Петра Великого, если, оказавшись в Мальмезоне, в памяти твоей не возникнет образ Александра I, а в Пастеровском институте – Мечникова, то для коллектива Театра сатиры и многих других гостиница «Карлтон», конечно же, связана в основном с именем моего начальника пятерки… Некоторые могут пожурить меня за обнародование нижеследующей истории, случившейся с нашим «героем». Но я с ними не соглашусь, ибо эта история облетела всю страну и превратилась в доброе как бы предупреждение (или

назидание), звала к национальному самосовершенствованию. Она утвердила за лауреатом славу истинно русской души и до некоторой степени педагога-общественника, охранителя других наших туристов и командированных от повторения невинной, но нелепой оплошности.

Человеку, о котором я рассказываю (так как он был партийным, да еще начальником), была предоставлена дополнительная возможность быть ближе к народу, к коллективу: его поселили в отдельный номер со всеми удобствами, а так как многие адекватные удобства в его плодотворной творческой и политической карьере не встречались, он перепутал в туалете привычный родной «агрегат» с биде (в этом он не виноват, виновата наша коммунально-канализационная промышленность, наша скромная жизнь и замкнутость). Но что самое патриотическое и горделивое в этой истории (наверняка инструкторам в Москве это тоже понравилось бы), он никому не пожаловался, никого ни в чем не обвинил, а просто чистосердечно поделился случившимся с коллегами и спокойно «поправил дело» нашей простой замечательной хохломской ложкой-сувениром! Ничего страшного в этой истории нет. Хуже было бы, если б ложку не захватил! Чем бы тогда пришлось черпать? Вот тогда – позор! Тогда и вспоминать было бы нечего, да и незачем! Деятельная его натура и житейский опыт ощущались нами постоянно и с искренним восхищением. Они украшали парижские будни!

Собралась как-то в нашем номере компания дегустаторов – любителей сухого вина. Сыры и вино – прекрасный стол! Натюрморты Снайдерса! Блаженствуем! Вечер свободен. Стук в дверь. Входит наш герой-лауреат.

– Эх вы, чудаки человеки! Что вы дегустируете? «Вин-руж», так?.. А это? «Вин-блаж»? Сколько платили? Франк – литр? Ха!

А я нашел совсем рядом, за углом, какой-то «Вин» за 46 сантимов! Понятно? Экономисты! Давайте посуду, так и быть, принесу вам.

Собрали пустые сосуды: три графина из разных номеров, пять термосов, дали благодетелю-поильцу денег и ждем явления его народу. Буквально через 15 минут появляется – весь в мыле. Кряхтя, выставляет батарею емкостей, заполненных бесцветной жидкостью. Пробуем… У-к-с-у-с!!! Сдали на кухню гостиницы, за что в течение оставшихся дней наших гастролей получали по лишнему яичку в положенному бесплатному завтраку.

Кормилец!

Однако, пардон, отвлекся. О, Пари! О, Пари!

Монмартр! В прошлом деревушка, один из наиболее

живописных и высокорасположенных парижских кварталов, над которым возвышается Сакре-Кер – церковь в романо-византийском стиле (1876–1910). На Монмартре жили знаменитые художники конца XIX века. У подножия Монмартрского холма, в ложбине – кладбище. Здесь покоятся: Стендаль, Золя, Берлиоз, Мари Дюплесси, которую Дюма-сын (похороненный здесь же) обессмертил под именем Маргариты Готье в «Даме с камелиями», многие другие известные люди. На Монмартре очень много ателье-салонов, продающих живописные работы разных художников. Есть очень дорогие, есть попроще, подешевле. Можно купить и Рембрандта, и Утрилло, и Моне за огромные деньги. Есть художники прямо на улицах, как бы заканчивающие, вот-вот! сию минуту! очередную, очень неплохую, а порой прекрасную вещь, но потом оказывается, пятидесятую или пусть даже пятую копию своей же когда-то удачно сделанной работы. Об этом нам рассказала владелица очень дорогого салона-ателье. Правда ли то, о чем она нам поведала, клевета ли во имя конкуренции – не знаю. Но знаю точно, что бездарю-художнику на Монмартре делать нечего!

Как и везде, есть жуликоватые продавцы: купленные батарейки для радиоприемника оказались (уже в Москве) разряженными, то есть уже бывшими в употреблении. Пустячок, но, ей-богу, неприятный, чуть-чуть нарушивший гармонию сказочных впечатлений…

В центре площади на Монмартре – кафе под брезентовым тентом. Столиков – всего 6–8. Обслуга – семья из пяти человек и наемный официант. Кафе работает 364 дня в году, круглосуточно. Один день – профилактика, ремонт… Когда здесь, в Париже, узнают, что в СССР все буфеты, столовые, кафе, рестораны закрываются «на обед», хохочут! «Как может обед закрываться на обед?» – недоумевают они. Хозяйка – одесситка, полная, добродушная женщина, обремененная странной страстью: ножницами отрезать у посетителей кусочки разноцветных галстуков и создавать из них мозаику мира и дружбы. Феномен! Ее русский язык – коктейль французского с ивритом, «подслащенный» полублатным нашим, но все же «съедобный» и не без обаяния.

В другом кафе играл джазик из четырех негров. Перед входом – толпа любопытных. Внутри посетители пьют вино, играют в кости и на механическом американском бильярде: за плату предоставляется право погонять шарик. Выиграть ничего нельзя. Можно набрать определенное количество очков, дающее право лишь продолжить эту незатейливую игру, смысл которой заключается в том, чтобы, толкая руками и животом столик и

щелкая механическим кием, пытаться загнать несчастный замученный шарик в лузу!

В кафе французы очень мало едят, но много пьют: пиво, вино, вино, вино и кофе… Кстати, в гостинице мы могли смотреть телевизионные передачи, которые постоянно перебиваются рекламой самой разнообразной, но преимущественно просьбами врача в белом халате не употреблять сухого вина более 2,5 литра в день. (Нам бы такую заботу!) В некоторых семьях чистое, ординарное, столовое сухое вино разрешено ребенку, достигшему 6-летнего возраста.

Работники сферы обслуживания (сервиса): полицейские, продавцы, парикмахеры, водители такси (каждый третий из них – русский), метрдотели, официанты, носильщики, швейцары, администраторы гостиниц, горничные и так далее отлично знают, что СССР – страна разноязычная, и поэтому не тратят времени на то, чтобы выяснить, каким языком владеешь ты лично – узбекским, еврейским, латышским, украинским. Увидев на лацкане пиджака значок с буквами «СССР», объясняются с тобой жестами. И успешно…

Молодой фотограф, расположившийся со своим хозяйством возле прелестной церкви Сен-Пьер на Монмартрском холме, построенной в 1134 г. в честь замученного в 272 году первого епископа Парижа, обратив внимание на наши значки, жестами пригласил меня и Анатолия Папанова к себе и предложил запечатлеться на пленке моментальной проявки. Жестами же спрашиваю, во сколько нам это обойдется? Показывает два пальца – два франка. Всего! Сфотографировались. Через несколько секунд получаем прекрасный снимок и тут же – щелк! – другой. Протягиваю деньги. Не берет. «Но, но!» Мимикой, руками, телом – всем, чем двигают, прошу взять хотя бы один франк – все-таки стоимость одного литра – нет-нет, не уксуса, а вина! Ни в какую! И лишь случайно вырвавшееся из меня: «Ну почему?» – позволило французу понять, на каком языке мы говорим.

– О-о-о! Я очен лублу русски… Я дружба имею футбол Москва, команда «Спартак»… Старостин Николя, Симонян, Нетто, еще одна Старостин Андрэ. Я от русски франк не беру… Я компенсация на американе и на англичани!

«О, Париж! в твоем океане грязи, дыма и шума страдает раздирающая душу нищета, которой не в силах помочь общественная благотворительность, и тут же проходят незамеченными высокие добродетели, не получившие своей заслуженной награды». (Размышления Армана, героя романа Понсон дю Террайля «Таинственное наследство».)

О, Пари! О, Пари!

Странно, среди француженок мало красивых! Неужели после встречи с Лилиан «помутнела моя оптика»?

Обошли, объехали и обсмотрели (только с улицы), по возможности, все знаменитые, действующие только ночью кабаре: на Монмартре, где работают в основном куплетисты; кабаре богемы на Монпарнасе, где на местном кладбище похоронены Бодлер, Сен-Санс, Мопассан и другие довольно известные в прошлом персоны; в районе площади Бастилии, в котором в ходу танцульки под аккордеон. В «нерабочее» время все эти бойкие, громко звучащие и ярко сверкающие всю ночь заведения, выглядят заснувшей от усталости, от вина, от поцелуев разукрашенной кокоткой с размазанной краской на лице, с пустой бутылкой вина в руке.

В витринах многих магазинов – наша русская водка, украинская горилка, крабы… Почему-то и смешно, и даже волнительно читать в Париже на бутылке «Московский ликеро-водочный завод».

В одном из переулков нам показали «негра для дам». Этот удалец, которого нанимают стареющие дамы за 50–60 франков (стоимость 2,5 кг мяса или 50–60 литров сухого вина), должен иметь на руках сегодняшнюю справку о том, что он здоров, то есть не болен венерической болезнью… Слово «здоров» – в его общепринятом значении – мало вяжется с деятельностью такого рода «супермена». «Спорт» этот не слабораспространенное явление в чудесном Париже!

Одна из самых шикарных торговых улиц – Риволи, пролегающая недалеко от Лувра и театра Сары Бернар. В части улицы, проходящей в центре, находятся самые дорогие магазины. По мере удаления от центра города цены падают на одни и те же товары. Я очень не люблю ходить по магазинам, но когда что-то уж очень хочется купить – заглядываю в них. Так вот, плащ «болонья», который мне был тогда ну просто необходим (одной и той же фирмы, того же фасона) в центре стоил 40 франков, а около нашей гостиницы в переулочке – 25!

Прошли мимо театра Ионеско. Вот уж где парадокс! Театр едва ли не самого популярного драматурга, самые дорогие (чуть ли не в 20 раз дороже обычных) билеты… И всего 75 мест для зрителей! А входная дверь для человека немного располневшего – неприступная «линия Маннергейма»!

Есть районы и улицы студентов, миллионеров, журналистов, проституток, торгашей… По тому, в каком районе живет француз, можно определить степень его благополучия и часто профессию. Земля стоит очень дорого! Поэтому здесь большинство зданий узки и высоки. Выгодно было строить ввысь и невыгодно вширь. У

нас большинство магазинов и новых ресторанов строится вширь – земля ничья! Знай гуляй себе, широкая русская душа!

Незаметно очутились около Нотр-Дам де Пари – Собора Парижской богоматери. Грандиозное здание! Готика! Мощная! Злая! Первый его камень заложен епископом Морисом де Сюлли в 1163 году. В течение многих веков собор строился, достраивался, реставрировался… Его необходимо осматривать и снаружи и изнутри не только днем, но и ночью. Внутри – никаких неожиданностей: весьма увеличенные костелы, кирхи и соборы Варшавы, Гданьска, а орган в Нотр-Дам меньше Гданьского. Вот продажа свеч через автомат – это ново и смешно. Церковь и автомат! Совсем такой же, как в метро для жевательных резинок!

Не могу не вспомнить французский анекдот – диалог американского туриста с водителем парижского такси.

– Это что?

– Нотр-Дам, сэр.

– Долго строили его французы?

– Века, сэр.

– Американцы бы построили это за год! А это что?

– Лувр, сэр.

– Долго его строили?

– Века, сэр.

– Американцы бы построили это за полгода. (Показывая на Эйфелеву башню.) А это что такое?

Шофер остановил автомобиль, открыл окно, внимательно осмотрел башню и ответил:

– Черт его знает! Вчера здесь ничего не было!

Париж Парижем, а вот как там, в Москве, мой «Скапен»? Премьера-то без меня состоится? Как пройдет спектакль? Как примет его публика?

Караул! Чертовски жмут новые, купленные перед самым отъездом и не опробованные ботинки! Настроение сморщенное, прыть сникла, впечатление притупляется… Все равно – что Париж, что Серпухов! Свет не мил! Какой же это свет, если ходить невозможно! Посмотрел на Венеру Милосскую и на богиню победы Нику. Ника Самофракийская поразила меня своей внутренней экспрессией, своей глубиной и мощью, а Венера Милосская оставила равнодушным. Склад моего характера заставляет меня оценивать произведения искусства и наслаждаться ими чувственным восприятием, пути же искусствоведческого или театроведческого, то есть теоретического восприятия для меня почти исключены. Во-

первых, в силу, очевидно, недостаточной образованности, и, во-вторых, в силу нервического склада характера! Надо было бы сделать так, чтобы тысячи читали не труды специалистов и слушали не рассказы знатоков, а тысячи писали о своих индивидуальных впечатлениях от произведений искусства. Это было бы очень интересно!

Мои «чудные» ботинки довели меня до короны Наполеона. И на этом все кончилось! Больше двигаться я не мог! Попросил товарища купить на улице какую-нибудь обувь. Эту просьбу услышала старенькая смотрительница первого этажа музея, владевшая русским языком, и предложила мне старые музейные шлепанцы, в которых и дотопал до гостиницы. Спасибо, бабуся!

Через день, как было условлено, я вернул ей спасшие меня «волшебные сапоги» и подарил ей несколько русских сувениров. Она была на 77 небе, помолодела небес на 70 и, как девица, в знак признательности присела в кокетливом и довольно низком книксене! Истинная француженка! Кстати, моя спасительница была солидарна с моими оценками двух очень разных знаменитых «дам» – Ники Самофракийской и Венеры Милосской. Она сказала, что к Венере, производящей менее эффектное впечатление, нежели Ника, нужно относиться не как к предмету искусства, только поражающему чувство, но и как «к явлению революционному в истории скульптуры, утвердившему обнаженное тело, как объект высокого искусства и эстетически не ущербного». Бог мой! Ника – работа IV века, а Венера – II века до нашей эры!!! До нашей эры! Уму непостижимо! (Особенно если смотришь на памятник Павлику Морозову.)

Жизнь невозможна без свободы и юмора.

Эжен Ионеско

19 июня 1963 года. Да здравствуют старые ботинки! Долой новые! Ноги – работоспособные! А вот декораций наших спектаклей нэма! Застряли в пути из Москвы то ли в Германии, то ли в Польше. Волнения страшные – ведь завтра первый спектакль… Продолжаем, несмотря ни на какие волнения, «лакомиться» – «О, Пари! О, Пари!».

Первый встречный – продавец порнографических открыток (уж очень их много в Париже), узнав, что мы русские, моментально отошел от нас. Подошел другой… Первый сказал ему, кто мы такие, и тот, безнадежно махнув рукой, тоже отошел. Я сказал им по-немецки, что это не очень интересно – разглядывать снимки, а лучше самому быть изобретательным

мужчиной без открыток. Оба согласились, кивая головами и подмигивая. Один из них объяснил, что ему самому противно торговать «порно», но ничего не поделаешь: надо же чем-то зарабатывать.

В каждом из походов по Парижу нас (за редким исключением) сопровождал кто-нибудь из посольских или из колонии советских, находившихся здесь на учебе или на работе, знающих хорошо столицу Франции. На этот раз нас сопровождал молодой ученый, работающий вот уже больше года над серьезным историческим трудом из области наших с Францией взаимоотношений. Без таких сопровождений, конечно, было бы очень трудно осознанно воспринимать многое из того, что видишь…

Наше внимание привлекли большущие рекламные щиты, зазывавшие прохожих в огромный кинотеатр на новый кинофильм с участием любимого во Франции (да и не только во Франции) Фернанделя… и рядом – наклеенные на стенах серенького, в полтора этажа дома неброские афишки-листки, приглашавшие на «Огни рампы» с Чарльзом Спенсером Чаплином в главной роли. Билеты на фильм с Фернанделем – 10 франков, на Чаплина – 20 сантимов! В этих цифрах – драма! Конечно же, симпатии наши были отданы любимому Чаплину (несмотря на то что Фернандель для меня как бы «родной» – я его несколько раз дублировал во французских фильмах)… «Огни рампы» это другой Чаплин, это Чаплин, пытающийся доказать, что и он может быть говорящим артистом, что он способен быть убедительным не только в немой эксцентрике, но и в чисто драматическом жанре… Все хорошо, но покидаешь зал с ощущением досады. Ни «Месье Верду», ни «Графиня из Гонконга», ни «Огни рампы», с моей точки зрения, даже не приблизились к его артистическим айсбергам в немых киношедеврах – «Новым временам», «Огням большого города» «Золотой лихорадке» и даже к лучшим чаплинским короткометражкам!

– Вот кафе-клуб театральных и кинозвезд. Здесь всегда очень интересные вечера. С этим кафе связано много замечательных происшествий. – И наш проводник поведал нам прекрасную новеллу…

К президенту де Голлю приехал очень высокий гость из Африки. Во время ночной прогулки гость почему-то обратил внимание на скромно освещенный вход в это элитарное кафе и захотел посетить его. Президент объяснил ему, что неловко вторгаться в частное кафе, где собираются люди по заранее заказанной и оплаченной программе. Африканец не уразумел: «Как это так? У президента есть препятствия? Не может такого

быть! Президент – бог!» И уговорил де Голля. Тот вышел из автомобиля, спустился к входной двери в полуподвальное помещение и робко нажал на кнопку звонка. Дверь отворилась. На пороге появился солидно экипированный швейцар. «О, бонжур, мсье де Голль! – обрадованно приветствовал любимого президента простой парижский швейцар. – Чем могу быть полезен?» Президент спросил, могут ли они с африканским гостем пройти в кафе? На что швейцар очень вежливо ответил: «Но-но, месье, пардон!» – и закрыл дверь! (Я легко представил себе последствия подобной сцены в нашей родной Москве, но с несколько измененным составом участников: вместо президента Франции – кто-нибудь из членов Политбюро, или Моссовета, или горкома партии. О! Последствия были бы самые пестрые: смена места проживания одного из служащих клуба, перевод на другие работы и даже, может быть, снос помещения клуба в связи «с реконструкцией столицы».)

Как мы и предполагали, посещение дома-музея скульптора Огюста Родена стало одной из вершин наших эмоциональных впечатлений… Как ни странно, но факт того, что почти все главные работы гения нам знакомы по репродукциям, по каталогам, по альбомам, нисколько не охладил наши восторги от непосредственного общения с оригиналами. Я бы сказал – даже усилил.

И как же велико и искренне было наше возмущение присутствием во дворе музея, рядом с шедеврами великого мастера, выставки «скульптур» из колючей проволоки американских «авангардистов»! Ну, ни в какие ворота!

Я не выдержал и высказал свое «фэ» в книге отзывов. Переводчик объяснил пожилой сотруднице музея смысл моей записи. Чуть не заплакав, она… поцеловала мне руку – «в знак согласия со мной и признательности за помощь в деле выселения незваных „гостей“ из проволоки, приглашенных хозяевами музея по меркантильным соображениям коммерческого характера. Сама она боится проявлять активность в этой благородной акции выселения, так как боится быть уволенной». Так нам перевел ее слова наш гид.

И вот эта деталь (Деталь!) – поцелуй руки – вознесла в моей душе Родена на еще большую художническую и человеческую высоту. Оказывается, Родена надо защищать! Поцелуй старушки усложнил и углубил мое преклонение перед Роденом, но в то же время «опустил» его на грешную землю, где все так или иначе беззащитны от невежества в такой же степени, как от ножа, пули или мерзавца. Я понял, что такое для Франции Роден!

Должен признаться, всякий раз, проходя мимо роденовской «Вечной войны» в Государственном Эрмитаже, я испытывал желание взять и отправить эту работу домой, во Францию, в музей Родена… Наверное, я не прав! Но ее жизнь в России – алогизм! Ей-ей! Мне казалось, что эта скульптура отнята у поцеловавшей мою руку старушки (наверное, я не прав?!). Но ведь примерно то же самое испытываешь, смотря на такие русские старинные иконы или предметы роскоши русских царей где-нибудь вдали от границ нашего отечества. (Наверное, я не прав?!) Эх, домой бы их!

Наш гид-ученый предложил посетить маленький ресторанчик, где, как он сказал, все яства рыбные, и что бы вы из них ни заказали – объедение! Зашли. О-о-о-о! До сих пор самым вкусным за свою деятельность едока я считал съеденный большой кусок только что выловленной бригадой совхозных рыбаков в крымском городе Судак 460-килограммовой белуги. Умопомрачительная вкуснятина!

…Снималась в Судаке часть кинофильма режиссера Сергея Юткевича «Отелло». В главной роли – Сергей Бондарчук, в роли Яго – Андрей Попов, Дездемоны – Ирина Скобцева, а Родриго – я. Свободное от съемок время Бондарчук и я проводили на суденышках рыбаков и старались как только могли быть им полезными: крутили ручку лебедки длиннющего перемета, мыли палубу, сети носили, чего-то переносили, передвигали… Так вот, когда выловили эту огромную белугу, очевидно в знак уважения к нашей киногруппе, желающим были выданы суровые рукавицы и огромные шампуры с нанизанными на них кусками белуги весом по килограмму каждый (не менее!). Мы должны были крутить эти куски над специально разогненным дымящимся мангалом до тех пор, пока из кусков не начнет капать жир и гореть на угольях. Готово! Ни соли, ни пряностей! «Натурель»! Укус! Первое ощущение – отнимут! Что это? Атавизм?

Я понял, почему рычит собака, почему шипит кошка, когда во рту лакомство, – боятся, что отнимут! Я впервые беззвучно рычал и шипел! В Судаке!

А второй раз – в Париже! Судак и Париж – города-побратимы по моим рыку и шипу! О-о-о!

Мадемуазель Адель – хозяйка оформленного под медную чеканку ресторанчика – предложила мне бульончик из креветок с плавающими в нем тоненько-тоненько нарезанными ломтиками-лепестками сырых шампиньонов и на моих глазах натертыми в малюсенькую стружку четырьмя сортами разнопахнущих сыров… О-о-о-о-о! Р-р-р-р-р! Гав-гав! Ш-ш-ш-ш-мяу! Не подходи! Р-р-р-р-р! Атавизм!

Все ели второе блюдо – огромный, из свежайшего мяса бифштекс с кровью (французы мороженого мяса не употребляют в пищу). Я отказался и попросил вторую порцию бульончика! Ну просто – гав-гав!

Вечером смотрели эстрадно-балетное представление африканских негров в одном из множества парижских кабаре. Фантастический арсенал ритмов, фейерверк движений – синкопированных, темпераментных, очень заразительных. Многие из зрителей, к сожалению, в не совсем полном зале буквально дергались в ритмах танцев и, если можно сказать, музыки четырех барабанщиков, виртуозно вытворявших уму непостижимые пассажи. Рулады то громкие, то тихие, то атакующие твой слух, то ласкающие. Мужчины, с легким прикрытием лишь «грешных мест», женщины, с еще более легким, в непрекращающемся темпе представляли какой-то религиозный народный обряд, поэтому зрелище выглядело чистым, без сексуальных допингов, высокопрофессиональным и до исступления искренне исполняемым! Прекрасно! На сей раз спокойно досидели до конца, отчаянно хлопали.

Душа неспокойна: как там, в Москве, мой «Скапен»? Когда премьера? Спектакль практически был готов. Не сыграли его раньше потому, что не все декорации были сделаны и Никита Богословский задержал один музыкальный номер – танец Зербинетты в последнем акте. А ведь замечательно: в Париже играем Маяковского, а в Москве – Мольера!

Трудно поверить в то, что после негритянского спектакля некоторые, в том числе и я, еще выступали в нашем торгпредстве перед дипломатами и командированными.

Домой нас, слава Богу, повезли в автомобиле, да еще на нашей «Волге». Специально мимо русской церкви на улице Дарю, в которой происходят православные богослужения (построена она в 1859–1861 гг. по проекту Кузьмина архитектором Штромом. Внутри, как нам сказали, она украшена работами русских художников). Ехали мимо Центрального рынка, названного Эмилем Золя «Чревом Парижа». Подъехали к нему в первом часу ночи… Горы «всего»! И все эти горы Париж пережевывает за сутки! Жизнь и ночью бьет ключом, рестораны и кафе бойко торгуют в основном вкуснейшим луковым супчиком и улитками. И конечно, вином! С огромных грузовиков сгружают в аккуратных упаковках товар, кругом давка и возня, но тишина! Говорят, на рассвете, когда собираются продавцы, здесь бывает страшный ор.

Торговцы приветствуют друг друга и договариваются о ценах… Много хмельных. Как у нас…

Сказочно красивы ночью Эйфелева башня и самый прекрасный проспект столицы – Елисейские поля, тянущийся от площади Согласия до Триумфальной арки на площади Звезды. Он как бы связывает старый и современный Париж. Проехали мимо дома, в котором жили Марат и изобретатель гильотины господин Гильотен, – феноменальное соседство! Проехались-протиснулись по серенькой улочке в 2,5 м ширины, но очень знаменитой, так как на ней жил Золя!

Представьте себе перенадутую воздухом автокамеру, которая вот-вот лопнет, и вы легко сможете представить, в каком состоянии мы легли спать – «перенадутые» Парижем.

Ночью снилась Москва и почему-то провалившаяся премьера «Скапена». Кошмар! К чему бы это?

20 июня 1963 года. Оказывается, еще вчера было известно, что – ура! – декорации наши уже на территории Франции и спектакль состоится. Начинаем с «Бани». И зря! «Клоп» посолиднее. С него надо было начинать и, по-моему, только его и играть! Сегодня вечером у меня премьера – роль Ивана Ивановича и вечером же (перед спектаклем) репетиция.

А днем «дегустация» Парижа продолжается…

Бродил один. Очутился на невзрачной улочке, идущей параллельно фешенебельной улице Риволи. Другой мир: грязные кафе и бары без каких бы то ни было реклам и вывесок, компании пьяных, плохо одетых людей, играющих в кости прямо на тротуаре. Зловоние от выброшенных и во двор и на улицу объедков, сгнившей черешни и абрикосов. Покосившиеся дома, а один даже подперт простой деревянной балкой. Как у нас! Все это в нескольких шагах от блестящей, лоснящейся, знаменитой улице Риволи!

Даже на фешенебельных проспектах не увидишь расфуфыренного француза – все они очень просто одеты… «Вещизмом» больны туристы из стран не очень развитых или очень далеких… И наши…

Сегодня премьера – особенно не разгуляешься. Но мне чертовски повезло: за кружкой пива познакомился с водителем такси – сыном русских эмигрантов военного времени, очень симпатичным 29-летним Васей Гориным. По-здешнему – месье Базилем Горио. Сам Бог послал мне его! Без его автомобиля я не смог бы увидеть и услышать и десятой доли того, что он мне показал и поведал! Полтора часа в такси Парижа – бесплатно,

всего за обещанный пропуск на спектакль «Яблоко раздора» в театр Сары Бернар! Сказка! Конечно, это подарок Господа!

Мой первый вопрос:

– Не боитесь пить пиво? За рулем ведь?

– Нет, у нас не так, как у вас. Никто никого не нюхает. Вот если совершил серьезное нарушение в состоянии даже легкого опьянения, тогда другое дело, тогда большой штраф и часто лишение прав или надолго, или навсегда… Как гласит русская пословица: «Пей, да дело разумей!» Надо знать свои возможности и уметь сдерживать себя, тогда все будет хорошо. Еще вспомнил одну пословицу: «Пьяный проспится, дурак – никогда!» Не надо быть дураком!

– Как вам во Франции? Вы сказали, что эмигрировали в 1944 году. Вам было тогда уже 10 лет. Многое уже понимали, ко многому привыкли, и вдруг – Франция?!

– Здесь много русских. Водитель такси – профессия русских. Так что адаптация прошла безболезненно. Французы к русским относятся лучше, чем ко многим другим национальностям, и лучше, чем русские к русским. Мы следим за вашей жизнью и знаем порой, извините меня, больше, чем вы… Меня больше всего поражает, что Россией правили и правят после Ленина люди, не имевшие и не имеющие почти никакого образования! Как это допускают? Это ненормально! Народ должен подниматься до уровня образованных, до умов философов, а не опускаться до завуалированного непрофессионализма и бескультурья вождей!

Ни одного вопроса я больше не задавал. Я слушал монолог истинно русского человека, прикипевшего к Франции и влюбленного в Париж.

– Смотрите, авария! Легкая, слава Богу! А то ведь бывает, за неделю хоронят до 150 жертв дорожных происшествий. Но не будем о страшном! Я вам смешные истории расскажу – до Булонского леса еще далеко. Во Франции существует множество законов, изданных во времена Наполеона и позже, которые никто, кроме опытных юристов, не знает, а отменять никто не собирался. Так вот, как-то полицейский остановил автомобиль, нарушивший правила движения, и, облокотившись на его крыло, составив протокол, потребовал штраф. Уплатить его владелец автомобиля до составления протокола соглашался, а после составления наотрез отказался. Полицейский попросил его пройти в отделение полиции, находившееся рядышком. Владелец автомобиля напомнил комиссару полиции о существовании закона «О неприкосновенности частной собственности» и доказал, что, составив протокол на крыле его автомобиля, полицейский использовал чужую собственность и таким образом грубо

нарушил закон. Протокол был разорван. Они разошлись – 1:1.

Почти такой же случай произошел с другим владельцем авто. Отказавшись платить штраф на месте нарушения, владелец тоже был приглашен полицейским в участок. Тот охотно согласился и очень вежливо пригласил полицейского сесть в автомобиль. Факт того, что полицейский приехал в автомобиле владельца до участка, оказался нарушением закона – он также использовал частную собственность в своих интересах. И эта пара мирно разошлась. И еще: по старинному обычаю, контролер должен проверять билеты в поезде обязательно в белых перчатках. Одному безбилетнику удалось уйти от штрафа потому, что у контролера отсутствовали таковые!

Вот и Булонский лес! Вернее, лесопарк, оставшаяся территория существовавшего некогда обширнейшего королевского леса! Прелестный уголок! Ухоженный, чистейший лес, асфальтированные дороги, по бокам которых дорожки для верховых лошадей. И… амазонки! Да, амазонки, и того больше – фиакры! Фиакры с фонарями и ямщиками с длинными хлыстами! Озера, рыбаки, чудный воздух, пикники на травке. Обширный ипподром.

Проезжая квартал, где живут миллионеры, я спросил: «Много ли их?» На что шофер ответил: «Здесь не хватает деревьев, чтобы их всех повесить». Слова «повесить», «убить» к концу нашей поездки воспринимал уже с юмором, так как каждый рассказ или о короле, или о выдающейся личности заканчивался словами: «Любимый король был убит тогда-то…» или: «Герой был казнен тогда-то…» На что я в шутку спросил: «Есть ли какой-нибудь любимый король, который умер бы своей смертью?» Вася не растерялся и сказал: «Мало было таких. Наверное, не модно было умирать своей смертью».

Настала пора прощаться с Базилем Горио. До первого спектакля – «Яблоко раздора»! Денег он не взял, угостить себя за мой счет не позволил, дал мне свою визитную карточку и вдруг сказал: «О! Я наконец вспомнил, где я вас видел. У моего приятеля большая квартира, в ней часто собирается компания русских. Приятель общается по работе с вашими посольскими, они дают ему на день-два фильмы, которые им привозят из Москвы.

Мы их смотрим на домашнем экране. Я ни одного не пропустил. Вас я видел в фильме „Дело № 306“, вы играли одну из центральных ролей.

Мы обнялись, как два давнишних друга!

Обед. Коротенький отдых. В 17.00 репетиция. В 18.30 открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения Станиславского, расположившейся в фойе театра Сары Бернар. Речи, тосты, знакомства… Господин Сориа просил меня назвать свободные от спектаклей вечера. Назвал. Зачем? Для посещения того знаменитого кафе звезд в которое не удалось попасть президенту Франции! Ура-а-а-а! Но за что такая честь? „Я хочу вас кое с кем познакомить, – был ответ. – Я пригласил еще несколько ваших коллег“. Ну что ж, огромное спасибо!

Итак, первый спектакль!

24 июня 1963 года. Все четыре „Бани“ уже сыграны. Сегодня первый „Клоп“.

Первая „Баня“. Волновались все страшно. Играли хуже обычного. Много накладок в перестановках, несмотря на то что и рабочие и электрики работали отлично. Оркестр звучал очень хорошо. Принимали спектакль лучше, чем в Москве. Прием этот не показателен, так как в зале много наших советских, поддерживавших „своих“. Поэтому главное испытание – следующая „Баня“.

В Москве декорации „Бани“ нашими рабочими сцены монтируются около трех часов. В театре Сары Бернар французские рабочие, имея на руках сложный план сбора декораций, не приступали к работе за два часа до начала. Паника, переводчика нет, чем они объясняют свое действие, никто не понимает. Срочно вызвали из советского посольства переводчика, который мгновенно понял, в чем дело. Он и трое рабочих буквально выскочили из театра и через десять минут вернулись с тремя ящиками вина, пива и воды… Работа закипела! Песни, шутки, пританцовки – и декорации смонтированы за 1,5 часа. Оказалось, ящики – традиция! Подумалось о том, что если бы наши рабочие ввели бы в традицию эти ящики – половина театров прекратили бы свое существование. Простые рабочие театра Сары Бернар, повидавшие разные театры, сказали нам, что декорации наши очень громоздкие и главное – не нужно громоздкие: их перестановки мешают хорошему темпу, который часто бывает главным секретом успеха спектакля.

– Ваш спектакль немного тягомотен, – так сказал в заключение рабочий, которого звали Жу-Жу. Фамилия его Фельдман. Жу-Жу Фельдман. Звучит!

После окончания пришли за кулисы Луи Арагон с Эльзой Триоле и много наших дипломатов. Довольны. Поздравляли.

Вторая „Баня“… „Наших“ в зале никого, а прошел спектакль лучше, чище и… принимался лучше, чем первый. Вот поди ж ты, угадай!

Нас смотрело множество журналистов, в том числе, как у нас говорят, из реакционных газет. „Реакционеры“ первую часть „Бани“ приняли очень хорошо, а вторую, как нам рассказали „наши“, назвали „коммунистической пропагандой“ по разным нелепым причинам, о которых просто не хочется распространяться. Одной из них был факт появления по ходу действия красного флага! Актеров хвалят все!

Мы обратили внимание на прекрасную работу электроосветительного цеха. Наш главный электрик Арон Намиот перед началом спектакля долго жестами, звуками, физиономией объяснял местному начальнику секреты и тонкости световой партитуры. Тот слушал, смотрел и вдруг с легким еврейским акцентом спокойно сказал: „Слушайте, Намиот, перестаньте дрыгаться, говорите на русском языке!“ Так хорошо не освещался спектакль нигде и никогда!

Третья и четвертая „Бани“ прошли, как по маслу. Но как бы мило все ни было – спектакль надо переставлять заново… Заигран он… У каждого спектакля есть свой возраст.

„Баня“ – баней, дело это хорошее, но ведь в свободное от „Бани“ время что-то еще происходило…

Финансирование пребывания Театра сатиры во Франции, оказывается, производилось за счет гастролей нашего цирка, дающих большие прибыли. Это мы узнали во время совместной с циркачами вылазки на верхушку Эйфелевой башни. Гид у нас был весьма солидный – месье Сориа! Водитель огромного автобуса – русский виртуоз! Выделывал такие кренделя по узеньким улочкам, да еще заставленным автомобилями, что нам ничего не оставалось, как почти беспрерывно ему аплодировать. От циркачей узнали о том, что месье Жорж Сориа накануне на банкете, устроенном им же в их честь, подарил каждому – 25 человек! – по прекрасному транзистору! Вряд ли мы, иждивенцы, удостоимся такой чести. Не беда! Наше пребывание в Париже „дороже“ любого транзистора! Долой зависть!

На верхней смотровой площадке башни испытываешь целую гамму чувств: и страха, и восторга, и незащищенности, и бессилия перед мощью окружающего тебя мира, и восхищения перед неограниченной технической и строительной фантазией человечка-козявочки! И все же эти – и визуальные, и философские – впечатления померкли перед тем, что преподнес нам народный артист РСФСР, руководитель аттракциона „На подкидных досках и ходулях“ Владимир Довейко: на высоте 300

метров (остальные 9 метров – телевизионные мачты), где явно ощущаешь покачивание башни, он, немолодой уже человек, взобрался на перила ограды, за которой – воздух и больше ничего, и легко сделал стойку на руках, да еще выделывая ногами разного рода фигурации! Все замерли в шоке! И только когда он снова вернулся в нормальное положение, когда голова заняла свое естественное главенствующее место – выше пяток и не на перилах, а на полу смотровой площадки, – все облегченно вздохнули. Аплодисменты!

Что в Москве? Почему нет вестей? Как „Скапен“? Что „Скапен“? Когда „Скапен“? „Скапен“? „Скапен“?

После башни – второй (первый был в гостинице) завтрак в офисе Жоржа Сориа. О! Это тот же „транзистор“, но с еще большим количеством диапазонов! „Такого“ по транзистору не поймаешь!

Короткие волны (15–20 минут):

1. Виски с содовой, водка, пунш, портвейн – под орехи и кукурузные хлопья с сыром.

2. Сырые шампиньоны – тоненько-тоненько нарезанные в сладком уксусе, яйца под майонезом, посыпанные порошком зеленого сыра.

3. Помидоры, огурцы, стручки зеленого горошка под белое вино, салат, салат (листья).

4. Артишоки, маслины зеленые (оливы) и черные соленые, миндаль, салат, салат (листья).

Средние волны (20–25 мин):

1. Горячая ветчина с жареной картошкой и зеленым горошком Под красное вино. Салат, салат (листья).

2. Запеченное в тесте белое-белое, нежное-нежное мясо – то ли курятины, то ли индейки – с четырьмя сортами горчицы и пятью сыра.

Длинные волны (1–1,5 часа):

1. Виноград, персики, груши, бананы, апельсины, сливы, абрикосы, гибриды слив и абрикосов, шампанское сухое, белое и красное вина…

2. Кофе с коньяком, ликером, мороженое.

У-у-у-у-у!

Георгий Менглет имел неосторожность спросить, что было подано на „средних волнах“ под пунктом „два“. И получил чистосердечный ответ: „Это прекрасные, специально выращенные, экологически чистые лягушки!“ Он был вынужден покинуть трапезную и расстаться со всеми волнами и пунктами! Остальные

отнеслись к экстравагантному блюду лояльно, а я даже, как сейчас помню, хотел было намекнуть на то, что был бы не прочь еще раз „прослушать“ опус № 2 на средних волнах. К сожалению, официанты так быстро крутили ручку настройки волн, а смена „мелодий“ происходила так энергично и часто, что я не успел даже рта раскрыть, как вместо второй лягушки на столе появился гибрид сливы и абрикоса и все остальное, уже упомянутое выше.

Я не переставая думал, как бы повели себя инструкторы из Москвы, общаясь с Сориа? Очень интересно! Посол Виноградов утверждал, что чем ретивее инструкторы, тем меньше они знакомы с зарубежьем. Нам они просто вдалбливали то, что давным-давно написано в инструкциях, выданных им когда-то: Совершенно секретно!

На стенах и полках трапезной-музея – живописные работы очень разных авторов (только оригиналы), балетные туфельки Галины Улановой, Майи Плисецкой, Элеоноры Власовой, Виолетты Бовт, их портреты с теплыми словами в адрес Сориа, большие фотографии Чарли Чаплина, Дмитрия Шостаковича, Святослава Рихтера, Давида Ойстраха, Игоря Моисеева, клоуна Румянцева-Карандаша и многих других знаменитых, гениальных… И неизменные слова добрых пожеланий, благодарности и надежды на новые встречи.

Жорж Сориа проявлял ко мне повышенное внимание, так как видел во мне единомышленника в увлечении талантом Ильфа и Петрова. Он, к моему великому удовлетворению, был согласен с тем, что манера поведения Остапа Бендера, его специфический юмор – не более как прикрытие, за которым – не очень удачливый, но умный, изобретательный, обаятельный и не простой человек! Внимание Сориа ко мне позволило познакомиться с очень интересными литературными материалами (на русском языке) и составить себе хоть и поверхностное, но все же впечатление и мнение об Эжене Ионеско, имя и творчество которого в нашей „самой читающей“ стране было предано анафеме и причислено ко всему вредному для строителей „светлого будущего“. Не хотели видеть, что Ионеско „всего лишь по-своему развивает отчаянную попытку Чехова показать на сцене трагическое и все более углубляющееся отчуждение, разъедающее современное общество и даже самых близких и родных людей, которые не способны слушать и слышать друг друга и обращают свои стенания в безответную пустоту“[1]. Я натолкнулся на эту цитату уже в дни работы над книгой и не мог ее не привести, ибо в ней сжато и, с моей точки зрения, очень неожиданно сфокусировано все то, что мною

внутренне понималось, но не было готово к изложению.

Ионеско: „Исчезновение“ – не одна ли это из тем стольких пьес Чехова? Не просто агония общества, которую я вижу в „Вишневом саде“ или „Трех сестрах“, а показанная через определенное общество судьба общества как такового и людей…»

«Я назвал свои комедии „антипьесами“, „комическими драмами“, а драмы – „псевдодрамами“ или „трагифарсами“, потому что комическое, по-моему, трагично, а человеческая трагедия – смехотворна».

Ионеско – парадоксальнейший художник, но очень логично анализирующий наш абсурдный мир!

«Скапен»? «Скапен»? «Скапен»?

Вечером 24 июня 1963 года – первый спектакль «Клопа». Краса и гордость нашего театра!

«Исторический» диалог, состоявшийся накануне в исполнении одного из лучших комедийных артистов России Владимира Алексеевича Лепко и Евгения Весника. Предлагаемые обстоятельства диалога: оба артиста (один – народный РСФСР, другой – заслуженный) – исполнители роли Присыпкина. В Париже два «Клопа» должен играть один и два – другой.

– Женя! Во Франции много моих родственников и друзей, многие – не парижане, но увидеть меня в «Клопе» хотят все. Могут приехать, а играю не я! Досадно! Как ты отнесешься к тому, чтобы мне сыграть все четыре «Клопа»?

– По-моему, это сделать просто необходимо. Я ведь недавно ввелся в спектакль, давно уже знаменитый во многом благодаря вам. Я уступаю без всяких-яких. Все логично и справедливо.

Мастер взволнованно обнял меня и по-отечески поцеловал в лоб.

– Спасибо. Я был уверен в том, что согласишься. Поэтому… вот… захватил, как говорят, в знак благодарности бутылочку чудесного вина, – сказал и чуть-чуть не пустил слезу: Мастер был лиричен и трогателен.

– Нет, нет, нет, дорогой мой, любимый старший товарищ, заберите свой гостинчик. Я должен вас одаривать, а не вы меня!!

– ???

– Вы мне подарили два свободных вечера в Париже! Какая же тут бутылочка?! Я знаю, вы не дружите с «окаянным зельем», поэтому позвольте вам вручить… вот… пачечку вашего любимого краснодарского чая.

…За столиком в гостиничном номере сидели два артиста – два «Присыпкина», один из них попивал винцо, другой – крепкий

чай…

Все спектакли «Клопа» прошли с феерическим успехом, заслужили самые лестные отзывы и рецензии в самых разных газетах. А по окончании театральной весны главный приз за высшее артистическое достижение был присужден Владимиру Алексеевичу Лепко! За роль «Присыпкина»! «Гран-при»!

Это была награда и артисту, и Театру сатиры, и вообще русскому театру. И французам – за объективность! (Кстати, Пол Скофилд в роли «Гамлета» был в тот год сильным соискателем этого приза.)

Я гордился победой старшего товарища!

Ну, а развязка истории с «Гран-при» неожиданно оказалась трагичной. Владимир Алексеевич вскоре после гастролей скончался. По установленным же правилам приз может быть вручен только самому лауреату.

Никто из нас не знал, что Лепко поехал во Францию смертельно больным, представив официальную медицинскую справку (так полагалось) о нормальном здоровье, выданную ему его большим другом – знаменитым врачом. Как выяснилось позже (от него), он знал, что Лепко обречен, и не хотел лишать его сказочной поездки в Париж. Знал ли сам Лепко, что он обречен, не знал ли – останется загадкой…

Светлая память о нем живет в моем сердце, и с годами не притупились благодарные мои чувства за его доброту, внимание и творческие уроки, полные заботы и уважения, за примеры неуемной фантазии, за умение не терять великого чувства смешного и проявления парадоксальности в любых жизненных обстоятельствах, не исключая драматических, которых в судьбе большого комедийного артиста было немало.

Даже тогда, когда слезы поблескивали в глазах этого «веселого человека», он находил в себе силы подтрунивать над самим собой. И в эти мгновения его лицо выражало самую суть его и манеру существовать в этом сложном мире: очаровательная, светящаяся добротой стеснительная улыбка и орошающий ее маленький ручеек слезинок из грустных-грустных глаз… Именно в эти минорные моменты Владимир Алексеевич рассказывал самые смешные истории. Поразительное зрелище: плачущий человек смешит собеседников! У него были любимые присказки на одесский манер, которые он, как правило, произносил именно в эти печальные моменты: «Детей, идите кушать яиц, крутых! Бегите скоренько-скоренько, осторожней, не переломите ногов, смотрите под них!»

Он мог неожиданно после подобных смешных текстов

зарыдать или цитировать Пушкина, Крылова, Козьму Пруткова…

Парадоксальность во всем – первый признак истинного таланта! Лепко – **великий дар!**

Ура! Звонил Александр Столбов – мой сопостановщик «Скапена». Премьера состоялась, публика принимала отлично. Чиновники довольны, администрация театра уверена – спектакль кассовый! Все хорошо. Но пока сам не посмотрю на свое детище, пока не удостоверюсь, что оно похоже на меня – папу, подписывать «метрику о рождении» не стану!

Лавка. Двери настежь, горные массивы всевозможного барахла прямо на тротуаре. Их «обрабатывают», ворошат негры, китайцы, русские… Французов у горы что-то не видать. Спрашиваю на немецком: «Вас ист дас?» На таком же (как и мой ржавый «дейче шпрахе») немецком языке продавец объясняет: «День распродажи. Цены снижены на 30–35 процентов». Немец ли я? «Нет, – отвечаю, – русский». А он оказался грузином, тбилисцем. Во время войны попал в плен, оказался каким-то образом здесь, женился, офранцузился. «Давно якор бросыл, заржавэл, глубоко его в песок засосало – витащить уже нэвозможно». Давно ли я был в Тбилиси? «Недавно», – отвечаю. Нахваливаю город, рассказываю, как зажиточно живут грузины (трудно в наши дни произносить эти слова). У собеседника текут слезы.

Объясняет, что это еврейская лавочка, что происходит распродажа вышедших из моды вещей, что хозяина зовут Жан Пьер, а фамилия Иоффе. Очень оригинально – Иван Петрович Иоффе! Плюс Жу-Жу Фельдман – уже коллекция! Советует купить жене замшевое пальто. Оно стоит в сезон 500 франков, сейчас Иоффе продаст за 350. Я говорю, что со мной только 200. Иоффе спрашивает, нет ли у меня советских монет – он нумизмат. К счастью, в кармане оказались монетки в 1, 2, 3, 4, 5 и 10 копеек. Отдаю их Ивану Петровичу Иоффе. А он мне – пальто за 150 франков. Я был очень рад покупке и почувствовал себя великим коммерсантом. Решил сделать и себе подарок – опустил 50-сантимовую монетку в автомат с жевательной резинкой… Ни монетки, ни резинки! На душе стало еще светлее: жулик-автомат стал мне родным. Он напомнил мне наши автоматы: и телефонные, и с газированной водой. Ах ты мой хороший! Родной!

Жорж Сориа сдержал слово: пригласил несколько наших, и меня в том числе, посетить то знаменитое кафе, дверь которого

закрылась перед носом президента Франции.

На этот раз «посиделки» были по поводу премьеры очередного фильма с участием любимца Франции – знаменитого Фернанделя. Присутствовало персон двадцать пять – тридцать, не считая нас (человек 6–7) и немногочисленных официантов да метрдотеля. Компанию украшала Брижит Бардо! Банкетный стол – ну просто сказочная скатерть-самобранка. Те яства, которые на ней не поместились, подаются слева и справа «ангелами»-официантами.

Анатолий Дмитриевич Папанов и я, сидевший рядом с ним (прямехонько напротив с блистательной Брижит), были в 60-х годах что, называется, в расцвете сил и, очевидно, поэтому не получали удовлетворения от «побед» над обыкновенной рюмочкой, нам хотелось одолевать более солидного «противника» (недаром же мы оба – фронтовики).

Разливавшему зелье официанту-негру мы несколько раз подставляли фужерчики граммов этак за 120, и только под «родную», беленькую… Только мы… Каждая наша «победа» фиксировалась очаровательной, с хитринкой, улыбкой мадам «секс-бомбы», робко «побеждавшей» малюсенькую рюмочку, наполнявшуюся на одну треть коньяком – граммов 20, не больше.

Вторая часть вечера проходила а ля-фуршет. Ненавязчивая музычка негромко «добывалась» тапером из маленького рояля. Знакомства, разговоры, обмен визитными карточками… В центре внимания – сам Фернандель. Ни за столом, ни сейчас, вне стола, – ни одного тоста. Главное – человеческое общение. Если и произносит кто-либо тост – то это происходит между двумя-тремя-четырьмя людьми, чокающимися в честь чего-то, интересующего только их, а не навязываемого всем: «Дорогие товарищи! Да здравствует товарищ…»

Сориа подвел меня к (аж страшно!) Фернанделю.

– Месье, позвольте мне представить вам советского артиста Евгения Весника, озвучивавшего вас во всех последних фильмах: «Казимир», «Закон есть закон», «Дьявол и десять заповедей».

Говорит Сориа на французском, но я все понимаю, так как до этого экспромта-сцены он все основательно репетировал со мной. Фернандель одарил меня своей очаровательной улыбкой (французы с любовью называют ее «лошадиной»). К моему великому огорчению, кто-то из гостей привлек внимание великого мастера, и он, не дослушав второй фразы Сориа, бросив «пардон», покинул нас, опять мило улыбнувшись. Успокаивая меня, Сориа сказал: «Ничего не поделаешь – Фернандель принадлежит всем». И поведал мне о том, что популярность его настолько велика, что французы в честь любимого артиста очень

многое назвали его именем: пудра «Фернандель», прическа «Фернандель», детские ясли имени Фернанделя, улыбка «Фернандель», «фернанделевское обаяние»…

Обмениваемся впечатлениями с Анатолием Папановым, и вдруг видим – в сопровождении официанта с подносиком в руках, на котором фужерчик (точно такой, над которым мы одержали не одну «победу» за банкетным столом) и бутылка с бесцветной жидкостью – прямо на нас движется сама Брижит Бардо! Подошла, лукаво улыбаясь, и жестом приказала нам «стоять на месте». Что-то сказала официанту. Тот налил полный фужерчик. Она взяла его в свою холеную ручку, протянула его сначала в мою, а затем в Толину сторону (дескать, за ваше здоровье!) и не торопясь «победила» сосуд. Перевернула его вверх дном – показала, что ни капельки в нем не осталось. Поставила на подносик и, не закусив, маленькой салфеточкой промокнула свои невероятно аппетитные, пухленькие губки. Глядя на нас озорными (ух!!!) красивыми глазами, подернув декольтированным «аппетитным» плечиком, сказала «хэ!» и покинула нас, раза два обернувшись и подарив нас кокетливой миной, а затем и воздушным поцелуем!!

Мы мгновенно поняли: сыграв своеобразный артистический этюд-пантомиму, она хотела сказать: «Подумаешь, герои! Что вы думаете, только вы, русские, умеете покорять фужеры! Хэ! Смотрите – французская женщина тоже способна на подобный подвиг! Хэ!» Милая, красивая, девчонистая Брижит Бардо!! (Я вспомнил, что Бардо – ученица русских: балетмейстера Князева и режиссера Вадима Письмянникова.)

О! Чуть не забыл главную деталь. Когда официант наполнял фужер, мы успели прочесть на этикетке бутылки на русском языке – «Столичная».

Показывали фильм «Любите ли вы Брамса» с участием замечательной кинозвезды Ингрид Бергман и не нуждающегося в представлении Ива Монтана. Прекрасная пара, играющая скандалистов мужа и жену, то расходящихся, то мирящихся. Но упомянул я этот фильм в основном не из-за того, что происходит на экране, а потому, что был приятно удивлен тем, как титаны кино Фернандель и Бардо по-детски восторженно реагировали на сюжет и игру коллег: возгласами и смехом, а один раз даже азартными аплодисментами, подхваченными всеми присутствовавшими.

Одно из самых неожиданных впечатлений: месье Жюльен, руководитель наших гастролей с французской стороны, появился на банкете с орденами Красного Знамени и Красной Звезды на

груди. С нашими орденами?! Месье Сориа объяснил, что Жюльен – бывший летчик эскадрильи «Нормандия – Неман», участвовавшей вместе с советскими асами в боях с фашистами.

По окончании чудесного вечера зарядил солидный дождик. До метро далече. Мы одеты налегке, поскольку никак не ожидали гидроподвоха. Что делать? Вдруг месье Жюльен буквально кидается под дождем на капот огромного рейсового автобуса, следовавшего по окончании работы в гараж, и, перекрикивая шум дождя и мотора, что-то объясняет водителю. Мы поняли лишь: «Де Голль! Де Голль!» Двери автобуса открываются: мы приглашены в теплые, сухие апартаменты и через пятнадцать минут бесплатно доставлены к «родному» отелю «Карлтон». Дарим шоферу аплодисменты, все сувенирчики, которые были с нами, советские сигареты, календарики и значки, а в ответ услышали: «Вив ля рус, вив ля франс!» В холле спрашиваем месье Жюльена, какие-такие чудодейственные слова заставили водителя совершить столь благородный поступок?

– Я сказал ему: «Именем президента де Голля прошу доставить советских артистов без зонтиков и денег в гостиницу!» И все. Он произнес мне в ответ те же слова, которые сказал сейчас и вам: «Вив ля рус, вив ля франс!» – «Да здравствует Россия! Да здравствует Франция (или русские и французы?)!»

28 июня 1963 года. День, ставший кульминацией в калейдоскопе парижских впечатлений, радостей, восхищений и… тревог. Ну, как же не тревожиться? Сегодня первый спектакль «Яблоко раздора»! Я в главной роли – председателя украинского колхоза. Париж – и колхоз! Никогда не мог предположить, что парижане будут принимать спектакль ничуть не хуже, а некоторые сцены даже лучше, чем наши сограждане.

Работа над ролью далась мне без лишних мучений и бессонных ночей, потому что в детстве жил на Украине, знал украинцев, их повадки, жесты, мелодика украинской речи была на слуху… О широте натуры моего героя красочно говорит его мечта: построить у себя в колхозе первым в стране полный коммунизм! На вопрос артиста Аполлона Ячницкого в роли парторга: «А остальные как?» – отвечает: «А это як воны успеють!»

Примечательна была встреча со студентами гуманитарных факультетов после спектакля в моей гримуборной (разговор шел с помощью переводчика).

– Молодые люди спрашивают, почему в спектакле вас – председателя колхоза – критикуют за то, что вы продаете в Заполярье свои яблоки по высоким ценам и называют спекулянтом? Ведь в Заполярье яблоки не растут?

– Нет.

– Студенты спрашивают, почему же вас не хвалят за транспортировку на Крайний Север витаминов для жителей? Имеет ли ваш председатель личные выгоды от продажи яблок?

– Нет.

– А куда идут деньги?

– В колхозную кассу.

– Так почему же ваш герой – спекулянт?

Вразумительного ответа я не нашел.

– Вот студентка спрашивает, почему вас ругают за то, что вы хотите первым коммунизм построить у себя в колхозе? Почему?

– Мы хотим, чтобы вся страна стала коммунистическим обществом.

– Французская молодежь единодушна в том, что вас напрасно ругают. Помыслы вашего председателя по вашим же этическим нормам правомерны. В Москве есть ВДНХ, где демонстрируются высшие достижения отдельных передовых сельских хозяйств, а не всего сельского хозяйства. Почему же не построить коммунизм в одном показательном селе и не сделать его образцом вашей мечты, достойным всеобщего подражания – всегосударственного?

Вразумительного ответа я снова не нашел.

Какое совпадение! В один и тот же день – 28 июня 1963 года – давались спектакли: «Проделки Скапена» Мольера в Москве и «Яблоко раздора» В. Бирюкова в Париже!

Ну, что ж, скоро заключительный аккорд гастролей. Скоро нас попросят освободить «рай». Нужно возвращаться на свою «планету», чтобы работать… И обязательно бороться, бороться и бороться… Сами с собой – но бороться.

Остатки – сладки. Последние из накопленных впечатлений – телеграфно. Завтрак у Луи Арагона и его жены Эльзы Триоле, родной сестры Лили Брик. Помимо того, что хозяева дома знаменитые писатели, представитель сильного пола этого дуэта еще и лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», а также почетный доктор наук Московского и Пражского университетов. Обильный стол, шутки, анекдоты. Взрывы смеха после каждого рассказанного эпизода. Смеялись все, кроме Эльзы Триоле, не в совершенстве, мягко говоря, понимавшей русскую речь и ею владевшей.

Лиля Брик переводила сестре содержание каждого «опуса» на французский, и каждый раз, в уже наступившей после смеха тишине, вдруг взрывался другой – пискообразный, очень заразительный, полный восторга, окрашенного каким-то шаловливо-озорным блеском в глазах весьма солидного возраста,

умной, интеллигентной дамы. И каждый раз, услышав писк этого детского восторга, вся наша компания, включая и Луи Арагона, владевшего русским языком, вновь взрывалась от хохота, но теперь уже не от «опусов», а от неотразимого обаяния милой знаменитой француженки.

Во дворике двухэтажного особняка, первый этаж которого занимала какая-то баронесса, а второй – Арагоны, красовался дивной работы мраморный, с позолотой и ангелочками, рыбами и русалками фонтанчик, извергавший из себя в разные стороны струйки воды. В стороне – беседочка и множество старинных кресел.

– Это ваш садик и фонтанчик? – полюбопытствовал я.

– Нэ-э-эт, – ответил Арагон. – К сожалению, нэт. Это собственность клюба, пардон, гомосексуалистов, прэзэдэнт которого… – И он назвал фамилию очень известного артиста.

У меня чуть-чуть, самую малость, отвисла челюсть.

В комнате для гостей на стене – портрет Арагона работы самого Матисса. Один из наших «руками водящих» вовсю расхваливает эту работу знаменитого художника: «Потрясающе! Удача! Гениально! Глубоко! Какой колорит!» Все переходят в другую комнату. Арагон и я оказались в арьергарде.

– А вам понравился портрет?

– Не могу врать – не очень… – признался я.

– Мне тоже нэ очэнь. Пожалуйста, не скажите никому. Особэнно Эльзе не скажите. А ваш товарищ, который хвалил Матисса, художник? – спросил Арагон..

– Нет, он чиновник. Когда-то был освобожденным парторгом в Суриковском художественном училище, наслушался там всякого. Запомнил кое-что…

– Я вас хорошо понял. Я сам коммунист. Я хорошо знаю вашу жизнь. А парторг молодец! Кое-что все-таки запомнил! Это бывает редко! Молодец!

И рассказал маленькую, как он назвал, историю-быль.

«По окончании лекции о знаменитых художниках профессор спросил:

– Вопросы есть?

– Есть!

Большая аудитория истинных ценителей живописи устремила свои взоры на пышную, очень взволнованную даму.

– Уважаемый профессор, я буду вам очень благодарна, если вы откроете мне один секрет…

– О, мадам! Я буду счастлив, если смогу удовлетворить ваше любопытство.

– Каким лаком вы покрываете этот блестящий пол?»

В. А. Лепко в наших «походах» и «посиделках» мы видели редко. Свободное время – его у него почти не было, так как он был занят во всех трех гастрольных спектаклях – он проводил со своими родственниками и друзьями. Поэтому в моих парижских воспоминаниях он упоминается нечасто…

Но вот однажды, во время второго (и последнего в парижских гастролях) спектакля «Яблоко раздора», во время антракта в нашу общую с Лепко гримуборную забрел заслуженный артист одного из московских театров, но покинувший Советский Союз во время войны. После недолгого разговора он предложил нам… остаться во Франции. Гарантировал преподавательскую и актерскую работу… под его началом. Вел он себя при этом нервно, раскраснелся, покрылся испариной, хотя был худ. Мы, естественно, оба отказались от предложенного, причем с такой легкостью и иронией, которая повергла в глубокое раздумье нашего гостя. Наступило молчание. Мы внимательно следили за заслуженным русско-французским артистом. Он выдержал большую паузу, услышал первый звонок – сигнал перед началом второго акта, – решительно встал и быстро вышел…

Мы не успели «переварить» случившееся, как со вторым звонком «наш соблазнитель» вернулся с бутылочкой чудесного вина и тремя стаканчиками. Налил всем. Чокнулся и выпил налитое. Мы – тоже. Текста в этой сцене-пантомиме не было никакого. Пауза… Вдруг Владимир Алексеевич тихо произнес:

– Старик, послушай меня. Завтра мы летим в Москву. Напиши просьбу о возвращении тебе советского гражданства и… валяй-ка домой, в Москву. Хватит дурака валять.

Гость разрыдался. Выпил еще. Раздался третий звонок.

– Сиди здесь. После спектакля поговорим. Одну бумажку напиши в наше посольство, а другую в ЦК КПСС. Мы вторую с собой заберем и постараемся все уладить.

Гость утвердительно закивал, и мы оставили его одного.

Спектакль, горячо принятый зрителями, закончился, мы вошли к себе в артистическую. На столике стояла пустая бутылка вина. Гостя не было. Больше мы его не видели.

Через несколько лет я узнал, что он спился и умер.

После спектакля родственники Владимира Алексеевича Лепко «пленили» его и увезли.

Последняя ночь… Прощай, Париж! Завтра после обеда: «Пристегнуть ремни! Не курить, не ходить! Высота полета… Время в пути…»

Решил пешком добраться до гостиницы в одиночестве. Люблю уединение – оно совершенствует… оно сосредоточивает… оно очищает… оно наставляет…

Но не тут-то было! Только ступил на тротуар из служебного подъезда, как – ой! напугал, черт! – оказался в объятиях Базиля Горио. Васи Горина, моего дружка, француза, но русского шофера такси. Сорвалось уединение. Нас трое: Вася, я и шестицилиндровый «рено».

Ну что сказать? Вернулся я утром. В шесть часов. Никуда не заходили, ничего не ели и не пили. Подъехали к отелю… Я посмотрел на счетчик – мы накрутили, вернее, наразговаривали, наспорили, набеседовали, напечалились, насмеялись и наплакались аж на 255 километров! По франкам это соответствовало аж 255 литрам сухого вина, или десяти плащам «болонья», или пятнадцати посещениям театра, или двадцати пяти – кино… И в то же время эти 255 км ничего не стоили, абсолютно ничего, в сравнении с тем, о чем и как мы говорили: обо всем понемножку, но от всего сердца, правдиво, не боясь друг друга. Эти 255 км ничего не стоили в сравнении с флягой самогона (специально сделанного для меня из сахара), чистого, как слеза, крепости не менее 70, с соленым огурцом, куском вкуснейшего черного хлеба, добытого в ресторане «Максим», и бутылки боржоми настоящего грузинского розлива! Это был настоящий пир, достойно завершивший красивейший (к сожалению, недолгий) роман с городом, который нельзя не полюбить, чуточку познать который помог мне истинно русский француз или французский русский – Базиль Васильевич Горин-Горио, или попросту Вася-Вася-Василек, в ком русский дух…

Спасибо тебе, Базильо. Дай тебе Бог здоровья!

И не грусти, Василек!

Хороших людей на земле больше, чем плохих!

Все будет хорошо, слышишь, Горио?

30 июня 1963 года. Должны лететь домой! Не летим! Забастовка в аэропорту. Бастующие согласны нас – советских – на нашем самолете выпустить, но мы сами не согласны, так как будем выглядеть в глазах французов штрейкбрехерами! После фурора гастролей – такая негодная концовка!

1 июля 1963 года. Ура! Домой! Летим! Три часа «товарищу из» рассказывал про столицу Франции и ее социально-политическую жизнь – с точки зрения диалектического материализма. Ему понравились особенно те эпизоды из моего повествования, которые не имели отношения к высокой позиции советской нравственности и расходились с высокими

требованиями идеологии марксизма-ленинизма… В конце беседы он тайком показал мне, оглядываясь кругом, большую стопу порнооткрыток и спросил: «Как думаешь, Весник, они понарошку все это на открытках делают или ответственно?..»

Пошли на посадку. В салоне какая-то странная тишина. Сели…

Экипаж прощается с нами. Сердце взволнованно стучит… «Товарищ из» шепотом: «Как думаешь, жене показать снимочки?» Я ответил: «Конечно! С педагогической точки зрения – очень полезно».

Выходим из самолета. Мы на своей родной земле! Волнительно, черт побери! Таможенный контроль. Один из блюстителей границы, то ли желая блеснуть остроумием, то ли в силу того, что плохо учился, увидев знакомых артистов и значки нашего театра, с улыбкой на лице поприветствовал нас:

– А-а-а-а! Сортира вернулась!

– В сортир!.. Глядя на вас, – продолжил я его глубокую мысль.

Он заулыбался еще милее и, кажется, принял мои слова за комплимент.

Встречали родные, друзья, пресса. Цветы, улыбки, кто-то открыл бутылку шампанского. Объятия, поцелуи, слезы радости… Кто-то громко продекламировал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли – Москва». Бонжур!

Боже! Как я соскучился по Москве, по дому, по жареной картошке, стакану холодной водки, рыбалке, по своему столу, карандашу… О! Этот стол – просто наркотик! Только сядешь в кресло – и включается какой-то невидимый аппарат с несколькими штепселями – в память, сердце, любовь. Возникает искра… И карандаш сам начинает выделывать кренделя…

«Но с благодарностию: были»

О милых спутниках,
которые наш свет
Своим сопутствием для нас
животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

В. А. Жуковский

Пригрелся я в потоке воспоминаний… Боже, сколько чудо-людей ушло… Навсегда? Нет! Ушедшие не должны уходить бесследно. Нельзя так… Нет таких, которых не вспоминают! Не должно быть!

Анатолий Папанов

Мои воспоминания об Анатолии Папанове возникают без всяких усилий, потому что его стиль работы, артистизм во всех проявлениях, высокая художническая дисциплина всегда – со мной, всегда – маяки в моей работе. Так же, как и лучшие мгновения и часы наших общих дружеских будней, порой предельно серьезных, иногда и столь же легкомысленных, но наполненных всегда какой-нибудь игрой, нами же придуманной и обязательно с импровизациями. Усилия приходится употреблять лишь на то, чтобы преодолевать печаль от сознания того, что его нет с нами: с семьей, с театром, с искусством, со мной…

Если бы меня спросили, что я считаю самым весомым в Папанове-артисте, Папанове-человеке, Папанове-гражданине, я бы ответил, что во всех этих ипостасях доминирующими были (несмотря на его нервическую натуру, на способность взорвать размеренную жизнь и работу) фундаментальность и постоянство!

Это мои личные умозаключения. Было бы странным полное единогласие в оценке столь сложной (потому и притягательной) натуры, какой являлся Анатолий Папанов!

Мои личные умозаключения имеют право на жизнь и даже (пусть это нескромно с моей стороны) на внимание хотя бы потому, что даже простой перечень наших совместных с ним работ дает основание для этих моих робких претензий. Вот далеко не полный список театральных спектаклей: «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф» – В. Маяковского; «Золотой теленок», «12 стульев» – И. Ильфа и Е. Петрова; «Судья в ловушке» – Г. Фильдинга; «Только правда» – Ж. П. Сартра; «Квадратура круга» – В. Катаева; «Памятник себе» – С. Михалкова; «Яблоко раздора» – В. Бирюкова; «Обнаженная со скрипкой» – Н. Кауарда; телеспектакли: «Проделки Скапена» – Мольера; «Наследники Рабурдэна» – Э. Золя; «Люди нашей улицы» – А. Карвана. А еще фильм «Семь стариков и одна девушка» и множество концертных выступлений, записей на радио и студии мультфильмов…

Папанов-артист был счастливым обладателем двух Божьих подарков: заразительностью и выразительностью. Л. Н. Толстой писал: «Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный – заразительность». Все творчество Папанова – наглядная преданность основному назначению профессии артиста: созданию в каждой роли нового образа человека, то есть преданность стремлению не повторяться в художественных средствах в этом очень и очень сложном и не каждому доступном процессе.

Идеальный артист – тот, кто ни разу в ролях не повторится. Не знаю, был ли такой, есть ли или будет? Не знаю! Но то, что Анатолий Папанов был близок к этому идеалу, утверждаю! Палитра его поисков была чрезвычайно богата: элементы внутреннего и внешнего перевоплощения, разные ритмы и темпы, характерные речевые приспособления, жест, пластика, грим – все это помогало ему достигать убедительной выразительности и основной цели – заразительности!

Если бы артист мог одновременно предстать в ролях Корейко из «Золотого теленка», Воробьянинова из «12 стульев», Ивана Ивановича из «А был ли Иван Иванович?» Назыма Хикмета, шафера из «Клопа» и Вельзевула из «Мистерии Буфф» В. Маяковского, Сильвестра из «Проделок Скапена» Мольера, Емельяна Черноземного из «Квадратуры круга» В. Катаева, вряд ли большинство из смотревших на этот фейерверк блистательных образов поверило бы, что создатель – один и тот же человек! Дар перевоплощения и импровизации плюс высокая творческая дисциплина, не позволяющая никаких поблажек во время сценического существования, – все это и составляет самое весомое в Папанове-артисте.

Очень сложно говорить о нем как о человеке. Странно? Но это так! Если мне, хорошо, казалось бы, знавшему и достаточно серьезно изучившему его, трудно говорить, то как же заблуждались те, кто (как казалось) сразу схватывали суть папановского характера.

Человеком он был очень сложным и порой даже загадочным. Выдержанный, сосредоточенный и… вдруг срывался по иногда совершенно непонятным причинам. Был он вообще-то аккуратистом, не любил транжирить денег, осуждал бесхозяйственность, но и в то же время мог вдруг стать мотом, гулякой, и уж тогда тянуться за ним было не по силам. И как неожиданно вспыхивал в нем костер неуемности, так же вдруг и затухал… Временные циклы, разделявшие возникновения «костров», были различными, и понять причины их возгорания никому не было дано. Никому!

Был он человеком честным, порядочным, в определенной степени соответствовавшим евангелиевским идеалам, ибо не любил делать что-либо напоказ, не требовал благодарности за доброе содеянное. Был постоянен в своих людских симпатиях, ценил талант, не терпел несправедливости. Был однолюб, был предан своей семье. Это, с моей точки зрения, и было самым весомым в Папанове-человеке.

Для меня ближе и понятнее облик Папанова-гражданина, потому что до некоторой степени судьбы наши были схожи.

Родились мы с интервалом в 2,5 месяца: он – 21 октября 1922 года, я – 15 января 1923 года (я часто называл его «дедом», он меня – «сопляком»); оба нюхнули войны, оба ранены; оба влюблены в свою профессию, очень близки были в выборе своих кумиров-артистов; у нас было очень много общих друзей, оба мы никогда не участвовали ни в каких интригах и группировках. Но особенно роднило нас упорство, с которым мы не поддавались уговорам вступить в коммунистическую партию. Мы – фронтовики – испытывали, мягко говоря, сомнение в богоугодности существования этой организации.

Часто после необычного происшествия, услышанного анекдота, увиденного подвига или конфуза на ринге или футбольном поле, даже после неожиданной активной или пассивной реакции зрительного зала на какой-нибудь эпизод спектакля у Анатолия появлялось одному только ему присущее выражение лица, «гамма» которого содержала или чувство удивления, или растерянности, подчас даже испуга, или здоровой зависти. Но превалировало чувство восхищения.

Воспроизвести или показать, даже описать эту «гамму» невозможно!

1963 год. Париж. Прогуливаясь по городу, мы вдруг увидели буквально в четырех-пяти метрах от себя президента де Голля, сидевшего в шикарной автомашине с открытым верхом, остановившейся перед закрытыми воротами старинного особняка. На тротуаре, с противоположной стороны въезда, стояла женщина с детской коляской. Она очень просто, как будто уже не в первый раз, поприветствовала президента. «Бонжур, месье де Голль». Тот приподнял свой головной убор со знакомым длинным козырьком и, оставив свой столь же длинный нос без прикрытия, ответил: «Бонжур, мадам». Анатолий Дмитриевич не выдержал и громко выпалил: «Бонжур!» И к нашему удивлению и удовольствию, знаменитый полководец снова оставил без защиты свой обаятельный мощный нос-пушку и ответил, как старому знакомому: «О! Мерси, месье» – и скрылся за воротами. Надо было видеть восторженную физиономию Анатолия. Я тут же посоветовал ему засесть за роман «Рядом с Шарлем де Голлем»…

Улица Сен-Дени. Ночь. На улице – полчища представительниц древней профессии. К самой эффектной крупной «даме» подходит пьяненький, хроменький, с палочкой мужик-замухрышка. Очевидно, поторговавшись, удаляется с «дамой» в отель. У Толи на лице «гамма»: «ревную!»

Задержавшись на концерте в театре «Олимпия», нанимаем такси. На голове водителя симпатичная кепка в клеточку с

круглым помпончиком.

Папанов *(тихо)*. Видал кепочку. Мне бы такую. «Жертва капитализма», а одет лучше нас и кепочка… Ну где такую достать? Буржуй с помпончиком!

Приехали. Расплачиваемся.

Водитель такси *(на чистом русском языке)*. Пожалуйста, сдачи. А кепочку такую можно завтра купить на улице Триволи в доме 18. Всех благ.

Сигнал, уехал.

На лице Папанова «гамма»!

Как-то в Москве, не рассчитав в гостях своих возможностей за столом, еле-еле добрались с Папановым до такси. Едем.

– Ты кто?

– Весник.

– Как зовут?

– Женя.

– Не ври! Он мой друг! *(Пауза.)* Ты кто?

– Весник…

И так до самого дома…

Назавтра я напоминаю Папанову приведенный текст.

Папанов *(на лице «гамма»)*. Не ври! А еще друг!

Никогда не забуду «гамму» и слезы на лице Папанова после моего рассказа о трагедии моих родителей, арестованных в проклятом 1937 году. Никогда не забуду его сказочно красивую «гамму» после сообщения о том, что у него родилась дочь! Никогда не забуду строгую «гамму», каждый раз, когда праздновали День Победы.

Анатолий Дмитриевич Папанов – это красивая человеческая, истинно художническая «гамма»! Нам всем очень не хватает Папанова, его таланта, его святого отношения к своей профессии, его юмора, его обаяния, его умения не отвлекаться на суету мирскую. Очень и очень не хватает сегодняшнему театру Папановых!

Ростислав Плятт

Общение с великими сердцами и талантами и есть суть красоты существования человеческого… Истинно так.

Артист высочайшего класса должен быть одарен Богом «набором» из, скажем, двенадцати совершенно необходимых элементов облика и внутреннего содержания. И если это так, то Ростислав Янович Плятт соответствовал этому условию безоговорочно и в полной мере – выше высшей: рост, эрудиция, образованность, такт, культура, юмор, темперамент, непосредственность, обаяние, общительность… Все из ряда банальностей выходящее… Даже в концовке своей фамилии не мог остановиться на спокойном одном «т» и приписал (конечно, от неуемного жизнелюбия) второе… Звучит, как говорит нынешнее поколение, не слабо – Плятт.

Был он «обделен» такими «способностями», как грубость, хамство, неумение слушать других, безразличие ко всем и ко всему, интриганство, упоение неуемной общественной деятельностью.

С уходом от нас таких, как Плятт, мы теряем высокую родословную, или, точнее, породу артистов! Именно породу!

Плохо просматриваются сейчас новые Качаловы, Садовские, Варламовы, Давыдовы, Тархановы, Хмелевы; нэма Бучмы, куда-то подевались Алейниковы, Переверзевы, Меркурьевы, Яншины, Ильинские, Мордвиновы, Симоновы, Дикие, Гарины, Остужевы… Все больше среди нашего брата деятелей другого сорта: депутатов, предпринимателей, говорунов… Не очень борзых, не очень доберманов и догов, а все больше милых, неплохих, но «бобиков»…

Не знавшим близко Плятта трудно было угадать в этом элегантном, ладно скроенном интеллигентном человеке отчаянного и доброго балагура-заводилу (даже в солидном уже возрасте), тонкого поэта, преданного мужа и философа.

Встречался я с Ростиславом Яновичем чаще всего по работе: на радио и на дубляже иностранных фильмов. Очень горжусь тем, что считался членом «клуба асов» в этом трудном, интересном и полезном для артиста занятии, что стоял в ряду таких мастеров, как О. Абдулов, В. Кенигсон, Р. Плятт, В. Караваева, И. Карташева, Л. Пашкова… Иногда встречались мы с Пляттом в концертах.

Был он почти всегда одинаков: подтянут, приветлив, радостен, остроумен, доступен, мгновенно включался в разговоры, имевшие отношение к юмору, творчеству, и всегда элегантно, с юмором уходил от интрижных пошептываний по

углам и за дверью, от истерических жалоб и претензий, от актерской болтовни, проявлений самоуверенности в суждениях о ком-то или о чем-то.

Прежде чем смеяться над людьми, надо научиться любить их всем сердцем.

Ж. Ренар

Не было случая, чтобы при встрече с Ростиславом Яновичем мы не обменялись анекдотами. За многие годы встречи были частые, даже если учесть, что работали мы в разных театрах.

Наверняка по одной встрече в месяц было – по самому скромному подсчету. Следовательно, за 40 лет – 480 анекдотов рассказывал я и столько же он. 960! Минимум! Пинг-понг в анекдоты! Если случалось мне или ему повториться – тут же раздавалось: «Было!» или «Борода!». Приходилось начинать новый анекдот. Хороший, остроумный оценивался словами: «беру», «годится», «зачет» или «не слабо»; средний – «ну-ну» или «бывает лучше»; плохой – «м-даааа», «финиш» или «это нумер не для Ялты».

Лето. Жара. Духота. Идет очередная работа в шестой студии Дома звукозаписи на улице Качалова. Режиссер объявляет паузу артисту Плятту. В студии есть лесенка, ведущая на пол-этажа вниз, – в своеобразный полуподвальчик. Там прохлада. Плятт опускается в этот рай. Минут 30–40 работаем без него. Вдруг команда режиссера: «Плятта! Срочно! Кончается время. Надо записать очередную сцену. Срочно!» «Ростислав Янович! Ростислав Янович!» Все забыли или не видели, что он опустился в «рай». Кто-то ищет его на этаже выше, кто-то ниже. И вдруг из полуподвальчика, из прохладной сказки поднимается Плятт… в чудесных цветных плавках и с галстуком на голой шее. В руках брюки, рубаха и пиджак…

– Извините! Слышу «срочно, срочно»! Не смел задерживать. Я человек пунктуальный, обязательный. Извините.

Гомерический хохот до коликов. Запись, конечно, продолжать невозможно. Сидя в полуподвальчике, Ростислав Янович всех, конечно же, прекрасно слышал. Чувствовал по интонациям, что устали невероятно.

– Языком все еле-еле ворочали. Дикция никудышная. Раскисли, сникли. Если бы стали дальше писать – наверняка был бы брак, в корзину все пошло бы. Одним словом, был бы это «нумер не для Ялты». (Действительно, предстояло записать очень

сложную сцену – Плятт в главной роли. Времени оставалось минут двадцать.) Я прекрасно знаю привычку режиссера использовать время (часто во вред качеству) до последней секунды, потому и пошел на крайнюю меру и… спас вас от каторги!

На следующий день актеры явились свеженькими, в хорошем настроении и прекрасно сыграли и записали сложную сцену.

Режиссер был на седьмом небе, благодарил нашего вчерашнего «пляжного героя» за прекрасный сеанс шоковой психотерапии!

Старая радиостудия в помещении Главного телеграфа. Срочная предновогодняя радиозапись. Заняты Ростислав Плятт, Никита Подгорный, Анатолий Папанов, Виктор Хохряков, Валентина Серова и я. Страшно жмут и скрипят мои новые ботинки. Стою перед микрофоном в одних носках.

23 часа 40 минут. Режиссер всех отпускает к новогоднему столу. Всех, кроме меня. Прощаюсь с коллегами, поздравляю с наступающим. Продолжаем работу. Записываю текст «от автора».

23 часа 45 минут, 23 часа 50 минут, 23 часа 53 минуты. Закончил! К новогоднему столу, где ждут друзья и родственники, успеваю, потому что накрыт он в 200 метрах от здания телеграфа – в ресторане «Арагви». Стол, благоухающий шашлыком, сациви и специями, манит, дразнит. Текут слюнки…

23 часа 55 минут. Ха-ха! Что ж я за пять минут 200 метров не пробегу? Ерунда! Режиссер, звукорежиссер, оператор, редактор, ассистенты, мило улыбаясь, поздравили меня и удалились в местную столовую (этажом ниже), где и произойдет у них встреча Нового года.

Ищу ботинки, ботинок нет. Выбегаю из студии. На лестнице стоит пожарный – серьезный, пожилой человек с усами, со старыми тапочками в руках, протянутыми в мою сторону.

– Вам!

Ничего не понимаю. Кто? Что? Почему? Откуда? Зачем? Тапочки так тапочки – черт с ними! Надеваю. Бегу на выход. Пожарный кричит вслед, что пальто внизу у дежурного милиционера… Спасибо! Ура! Успеваю! Мороз ерундовый. Тапочки – не помеха. 200 метров можно спокойно пробежать за две минуты! Время на часах при выходе было 23 часа 57 минут. На ходу втискиваюсь рывками в пальто, выскакиваю на улицу. А там…

Ревут сигналами два такси, как новогодняя елка светящиеся всеми имеющимися на их бортах лампочками, фарами, подфарниками… Двери автомашин широко распахнуты. У всех

сидящих в них широко раскрыты белозубые смеющиеся «пасти». В одной руке Плятта – мой скрипучий ботинок, в другой – полный бокал шампанского; в левой руке Подгорного – второй ботинок, в правой – тоже бокал; в руках Папанова – два фужера: один себе, другой – мне. Водители тоже с полными бокалами… лимонада. (Хохрякова и Серову увезли по домам поджидавшие их родственники.) В радиоприемнике одной из машин бьют куранты и… «С Новым годом, дорогие товарищи!»

Мы чокаемся, осушаем бокалы, целуемся, хохочем, снова наполняем сосуды из бутылок, стоящих прямо на тротуаре. Ноги мерзнут. Надеваю свои скрипучие, отдаю дежурному тапочки.

Узнаю́, что друзья приобрели в здешней столовой восемь бутылок шампанского, бутылку водки, восемь ирисок и один соленый огурец…

00 часов 30 мин. Байка за байкой, анекдот за анекдотом, стихи, отрывки из ролей, хохот.

2 часа ночи. Вхожу в «Арагви». Кислые физиономии объевшихся «пассажиров» почти съеденного стола. Ревность, нравоучения, банальные тосты. Скучно… Жмут ботинки. Хочу спать.

Вспоминая на старости лет все свои новогодние встречи, не могу не признаться в том, что та, на тротуаре, была самая сердечная, самая талантливая, поставленная режиссером Ростиславом Пляттом.

> Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, с кем вместе плакал.
>
> *Д. Джебран*

Легко себе представить, как тяжело и в то же время как мужественно переносил Ростислав Янович приближение неминуемого проигрыша в предначертанном всем нам трагическом, безнадежном сопротивлении наступающему расставанию с… цветами, людьми, воздухом, с возможностью снова и снова встречать Новый и снова Новый год…

Видеть его чуть согбенным, с трудом передвигающимся с палкой в руках было просто непереносимо больно. Безжалостно колющее чувство человеческой беспомощности перед роком. Лишь сознание того, что везде и всюду он ощущал наисердечнейшее к себе отношение, истинную любовь зрителей и коллег, позволяет надеяться на то, что в последние дни душа его наполнялась не только печалью и досадой. И это – если это так – хоть чуть-чуть, но все же смягчает чувство горечи от потери

такого редчайшего и красивого человека!

Смерть не есть зло. Ты спросишь, что она такое? – Единственное, в чем весь род людской равноправен.

Сенека

Паша, Павел Луспекаев

Отгремели пушки Великой Отечественной войны. Я расстался с фронтовыми друзьями, вернулся в театральное училище и загрустил без дорогих моей душе боевых товарищей. Трудно было сходиться с молодыми людьми, не нюхавшими пороха, не знавшими смертельной опасности. И вдруг – Павел Луспекаев. Студент, побывавший в партизанах, раненый. И сразу дружба. Родство душ, интересов и, мне так казалось, общность взглядов на жизнь, на искусство. Мы даже и вели себя в чем-то похоже.

Влюбленность в выбранную профессию, огромный темперамент, неуемная фантазия, оригинальное видение ролей и жгучее желание нарушить банальность трактовки той или иной роли, доброта, резкость, уживавшиеся в характере с лиричностью, – все эти качества Павла импонировали мне. Мы сразу же стали хорошо понимать друг друга.

Он был человеком, который своей личностью, всем своим поведением заставлял тебя корректировать свои поступки, даже чувства. Бескомпромиссность. Любить – так любить! Ненавидеть – так ненавидеть! Работать – так до самозабвения! Драться – так по-настоящему! А уж если помочь – так даже часы заложить в ломбард, но помочь!

Может быть, он был неуравновешенным. Было от чего! Тяжелая хроническая болезнь – неизлечимое заболевание сосудов. Сердце не докачивает кровь до конечностей – холодные руки и ноги, адские боли. Ощущение безнадежности и… жизнелюбие, улыбка, общительность, энергия, энергия во всем!

Я был одним из немногих, которым Павел писал письма. Он не любил их писать, и я знаю почему. Его темперамент, неуемная натура, не укладывавшаяся в рамки общепринятого, и к тому же еще далеко не каллиграфический почерк, которого он стеснялся, мешали ему сесть за письменный стол. Все-таки изредка я получал от него письма. И как же я теперь ругаю себя за то, что не сохранил их! Это были листочки, исписанные милыми каракулями, со словами иногда сентиментальными, но всегда искренними, говорившими о муках – не физических, нет, никогда! – а о духовных, связанных с работой над новой ролью. И в каждом листочке неизменно: «Ну вот и все. Давай быстрее приезжай – есть о чем поговорить!» Как будто в письме нельзя поговорить? Нет, нельзя! Павлу нужны были живые глаза, темпераментный диалог, застолье и обязательно во время разговоров актерские показы, пробы. Письмо для него – тесная каморка.

В начале 50-х годов я был в Тбилиси на съемках одного из первых советских широкоэкранных фильмов «Пять дней» (студия «Ленфильм»). Я играл в нем роль комментатора Орехова. Павел работал тогда в Русском драматическом театре имени Грибоедова. Играл много, был любим публикой, но не переставал искать и часто был недоволен собой. Последний день моего пребывания в Тбилиси, прощальный ужин – Павел, я и несколько друзей. Когда нечем помянуть застолье, всегда рассказывают, что было, чем угощали, было ли вкусно. Я не помню, что мы ели и пили в тот вечер, но ясно помню, как весь вечер Павел пробовал роль Незнамова, которую ему предстояло играть, очень хотелось сыграть. Он читал монологи, проигрывал сцены, да так, что нам делали замечания по поводу шума в нашем кабинете – мы сидели в отдельной комнате. Так, что была разбита тарелка, вилка улетела в открытое окно. Так, что вино, стоявшее на столе, осталось недопитым.

Вечер был испорчен мною: я сказал, что Павел наигрывает. Говорить неправду, говорить ни к чему не обязывающие комплименты было не в наших правилах. Рассказывали, что впоследствии Павел играл эту роль очень сдержанно и производил большое впечатление.

Через много лет был мой творческий вечер во Дворце культуры имени Кирова в Ленинграде. Павел тогда уже работал в Большом драматическом театре у Г. А. Товстоногова. Выступление мое принимали тепло, много смеялись. По окончании концерта вдруг появился Павел и сказал:

– В общем, ничего себе, но пора, Женя, быть серьезнее в выборе репертуара.

После этой встречи я в корне изменил программу своих концертов.

Белые ночи. Последняя ночь после моих гастролей в Ленинграде. Конечно, я с Павлом. Три часа, безлюдный Невский проспект. Павел устал от ходьбы, присели на скамеечку около Гостиного двора.

– Палка моя нравится? – спросил Павел (он ходил с палкой).

– Нравится.

– Так вот, – продолжал, чуть улыбаясь, Павел, – это мой талисман. Люблю ее, привык к ней. Чувствую, если потеряю, ей-богу, не смейся, – умру! – И положил палку на краешек скамейки. Так Павел никогда не говорил: грустно и очень серьезно. Подошла компания молодых людей.

– Спички есть?

– Есть. Пожалуйста.

– Спасибо.

Покурили. Шумно подошли и шумно ушли. Пора идти и нам. Ждем такси, авось повезет. Идет! Поднимаю руку, остановился.

– Садись, Павел!

– А палка? – спрашивает побледневший Павел.

Палки не было. Компания молодых людей исчезла. Я отвез Павла домой. Дорогой, как мне показалось, он тихо плакал. Через несколько месяцев он умер.

Когда мне сказали, что он лежал с улыбкой на лице, я подумал: так оно и должно быть. Через какие физические страдания и творческие муки нужно было ему пройти, чтобы умереть с улыбкой на лице!

Экран

Помню мое первое прикосновение к миру кино. В нашу спецшколу с ранним преподаванием немецкого языка приехала киногруппа отбирать ребят для фильма «Рваные башмаки». Они должны были изображать немецких детей голодающих сапожников. Ребят загримировали, собрались ехать на съемку… но без меня. Сказали, что я не подхожу и могу идти домой. Я – в слезы: «Как это так? Все едут сниматься в кино, а я нет! Приду домой, что скажу маме?» – «А ты скажи ей, что не годишься на роль голодающего ребенка. Ты очень толстый».

Снимался фильм «Самый сильный». Я играл в нем две роли: царя и его брата. Царь был рыжий-рыжий добряк и безвольный, а брат был черный-черный и злой, к тому же одноглазый. И костюмы у братьев тоже были очень разные.

Снимали в Карачаево-Черкессии, в г. Учкекене. На съемках постоянно крутились местные ребятишки. Они не понимали, что царя и брата играет один актер, потому что нас привозили на площадку уже загримированных, одетых в костюмы персонажей. Я появлялся то в обличии царя, то в обличии врага-брата, на базу уезжал не разгримировываясь. Узнать во мне одного и того же актера было для ребят невозможно. В один из съемочных дней ко мне подошла компания малышей:

– Король! Почему ты не дружишь со своим братом?

– Он очень плохо ведет себя, – сказал я.

– Передать ему это?

– Передайте.

– Когда?

Сниматься в роли нехорошего брата я должен был на следующий день.

– Завтра он будет здесь.

Назавтра они опять подошли ко мне:

– Король может простить тебя, если ты будешь себя хорошо вести.

Моя игра с ребятами продолжалась весь съемочный период.

Прошло много-много лет, и я вновь оказался в тех местах со своими сольными концертами. Зрители принимали меня замечательно. Однажды после концерта ко мне подошла группа мужчин с женами и детьми.

– Скажите нам спасибо, что на ваши выступления все билеты проданы. Мы всему поселку рассказали, как вы нас маленьких разыграли на съемках. В нашем поселке вы самый популярный

артист.

* * *

После выхода на экран кинофильма «Приключения Электроника» я получил более тысячи писем от ребят разного возраста. Самое дорогое моему сердцу письмо было от Лены из Липецка. Тринадцатилетняя девочка довольно толково анализировала картину и в конце письма написала: «Дядя, вы такой добрый, приезжайте к нам преподавать математику (в фильме я играл роль учителя математики). У нас такая злая учительница». Для меня это была высокая похвала. Видимо, получился образ человека, который запал в душу, полюбился этой девочке.

По поводу этого моего учителя математики. Роль острохарактерная. Манеру говорить я взял у Маршака: немного в нос. А у своего районного хирурга позаимствовал смешную походку, которая ребятам очень нравилась: обе мои руки болтались за спиной, как плети. Дети всегда смеялись в зрительном зале.

В Ялте в коридоре гостиницы ко мне подошел очень расстроенный мальчик.

– Дядя, можно задать вам вопрос? Я вас узнал, вы играли преподавателя математики в «Приключениях Электроника».

– Да. Задавай свой вопрос.

– Скажите, пожалуйста, а почему вы в жизни не так ходите, как на экране?

Я его разочаровал, расстроил, так как не соответствовал тому образу, который ему был мил. А для меня его вопрос – большой комплимент. Для актера всегда радость – убедительное перевоплощение.

* * *

Как-то вечером раздался междугородный звонок:

– Вас приветствует «Ленфильм». Приглашаем сниматься. Без проб! Очень хорошая роль. Начальник цеха, неудавшаяся личная жизнь. Словом, есть, что играть. Пожалуйста, приезжайте. Ждем вас.

До утра, конечно, не заснул: мечтал, не зная толком, кого предстоит играть, придумывал гримы, костюмы, характерности. На следующий день был в Ленинграде.

Встретили меня очень тепло, устроили в гостинице, а утром привезли на киностудию.

Режиссеру очень хотелось, чтобы мой герой был рыжим. Меня познакомили с мастером по гриму, и тот, обработав мою черную шевелюру и брови перекисью водорода, сделал меня ярко-рыжим. Рыжее не бывает! Мое преображение произошло в 12 часов. В 13 часов пришел директор картины, очень милый человек. Мы подписали с ним трудовое соглашение. Сумма в соглашении была настолько приличной, что решительно подняла мое настроение. Я растрогался и пригласил к себе в номер и директора, и режиссера, и гримера. Из Москвы я захватил с собой денег на костюм, который решил купить в Ленинграде. Потратить их на угощение друзей мне было совсем не жалко. К тому же соглашение подписано, голова накрашена, роль через полгода будет сыграна, и я получу такие деньги, на которые можно будет купить не только костюм.

Угощать я люблю, и стол оказался на славу: икорка на льду, замечательный коньяк, потрясающие закуски. Все было прелестно. И компания была великолепной. Я горячился больше всех: поднимал тост за тостом, желал удачи и режиссеру, и директору, и гримеру, и всей студии. Друзья говорили обо мне: хвалили, желали успеха в роли. Мы хохотали, целовались, пели! Нам принесли вкуснейший кофе, чудесное мороженое…

В 18.00 позвонили со студии и сообщили, что наша картина законсервирована! Полгода ходил рыжим!

* * *

Ялта. Кончился последний съемочный день. Решили его отметить. Как всегда «кое-чего» не хватило. Решил пойти за этим в ресторан. Спросил у швейцара, к кому обратиться.

– Идите в банкетный зал, там немецкая делегация. Обратитесь к официанту – он вам поможет.

В комнате перед банкетным залом увидел двух очень эффектных молодых дам, прекрасно одетых, куривших дорогие закордонные сигареты.

В банкетном зале громко сказал: «Гутен абенд», быстро, как приветствие, пропел куплетик из немецкой песенки, расположил к себе и немцев и официанта. Тот сразу мне помог с «кое-чем». В комнате перед банкетным залом задержался около дам, не мог не задержаться. Пропел им тоже свой куплетик и сказал: «Ауф видерзеен».

Одна из этих красивых женщин, сидя в кресле нога на ногу,

спокойно, отчетливо выговаривая каждое слово, произнесла:

– Весник, поскромнее. Посажу!

Это же русские! Я быстро ретировался…

Прошло время. Как-то я был на большом спортивном празднике в Лужниках. Пробыл так долго, что не оставалось времени до вечернего спектакля. Вышел на дорогу, «голосую». Останавливается машина, за рулем женщина.

– Умоляю вас, довезите меня до Малого театра, я опаздываю на спектакль.

И вдруг слышу:

– Тогда в Ялте я вас не посадила, а сейчас посажу. – Распахнула дверцу. – Садитесь!

Довезла меня до театра. Кто эта женщина, любящая каламбурить, до сих пор не знаю.

* * *

Шестидесятые годы. Съемки фильма «Стежки-дорожки» под Винницей. Требовалось снять взрыв. По сценарию пожарные спешат на конной тяге, несутся мимо речки, не справляются с поворотом – люди вылетают из телег на землю, а кони влетают в речку. Кто-то роняет цигарку, цигарка падает на головые шашки, которые используют на пожарах, – взрыв!

Договорились, что весь эпизод снимут в колхозном озере в местечке Селище. Почему там? Потому что неглубоко, можно все озеро пройти вброд, ни лошади, ни люди не утонут. Риск невелик. Председателя успокоили: если и погибнут какие-нибудь утки или гуси во время взрыва, то киностудия заплатит за каждую птицу по рублю, а мясо и пух-перо останутся колхозу.

Председатель – полный, обаятельный, любитель кино и поклонник многих актеров – хорошо отнесся к киногруппе:

– Спасибо, шо до мэнэ приихалы. Весь Советский Союз побачит моих уточек, гусей. Давайте швыдче снимайте, там уже стол накрыт.

На берег высыпал весь колхоз: зевал на съемках всегда много. Молодой режиссер подозвал тоже молодого пиротехника, велит готовить взрыв.

– Скильки головых шашек ты там заридыв?

– Три шашечки, – отвечает пиротехник.

– Та шо это за взрыв с трех шашечек? Давай штук сорок.

Боже мой, если б мы, фронтовики, знали!

В два мешка положили по двадцать головых шашек, подвели бикфордов шнур. Началась съемка. Команда: «Мотор!»

Раньше времени – взрыв! Все взлетело, стало темно, лошади на дыбы – скачут назад! Вода, грязь, летают перья. Когда все осело, глянули – люди мокрые, в грязи, гусей нет, уточек нет. И озера нет – пустой котлован. Мокрый, бледный председатель колхоза весь в перьях, как индеец, подошел к режиссеру и спросил:

– А як же с мьясом?

* * *

Выучил я рассказ о Диогене из «Голубой книги» Зощенко. И никак не мог представить себе, какой он, найти его речевую характеристику. Общеизвестных легенд о нем мало, чтобы увидеть человека во плоти. Читать рассказ в концертах я не решался.

И вдруг я «напал» на своего будущего Диогена.

Приехал как-то в Монино в гости к своему товарищу кинооператору. Он снимал фильм из времен гражданской войны. По сценарию махновец, бандит – в то время махновцев так себе представляли, должен ударить сельчанина в лицо. И чтобы у зрителя пробудить большую ненависть к махновцам, на рольку сельчанина нашли дедусю из местных. Звали его Иван Игнатьевич. Маленький, ушки лопушками, ножка правая запала, прихрамывал. Славный, худенький, легонький дедуся: румянчик склеротический, очочки, на голове три волосика. Взгляд ребенка.

– Дедушка, мы тебя в кино хотим снять!

– Валяй, давай. С удовольствием, – соглашается он.

– Два дня будешь сниматься, сегодня и завтра. Выроем тебе окоп, дадим обрез времен гражданской войны. И ты вот этого мерзавца, – показали на актера, игравшего махновца, – завтра убьешь наповал.

Лет старичку было уже под восемьдесят. То ли он воевал с махновцами, то ли историю хорошо знал, то ли в детство впал – не знаю. Посмотрел он на «махновца» и очень серьезно сказал:

– А что? Убью!

– Подожди, дедушка! А сегодня он тебя будет бить!

– Нет, это не надо, – возразил старичок.

– Дедушка, так нужно по сценарию, – уговаривают его. – Мы тебе деньги заплатим. Семь с полтиной.

– Ну ладно, пускай бьет. – Семь с полтиной его убедили.

Подготовили поосновательней съемку, чтобы снять без лишних дублей, – дедушку щадят. Кино не терпит условности, поэтому драки, удары на экране должны выглядеть

правдоподобно. А тому, кого бьют, приходится немного пострадать. Ничего не поделаешь! Иначе трудно будет поверить зрителю в реальность происходящего. Словом, надо «тюкнуть» и дедушку немножко, чтобы зрителя настроить против махновцев.

Команда: «Мотор!» Дедушку «тюкнули». Он зашатался, начал, заваливаясь на спину, отступать от «махновца» и вышел за границу кадра: был дедушка на экране и не стало его. Брак – переснимать.

– Дедушка, у нас не вышло, надо повторить.

Дедушка показывает фигу:

– Вот вам еще раз. Давайте семь с полтиной!

– Дедушка! Мы тебе еще семь с полтиной дадим.

– Ну, ишо раз ладно, а больше не дамся.

Со второго раза все получилось.

Метрах в тридцати от съемочной площадки стояла девочка лет двенадцати и вдруг как закричит:

– Дедушку бьют! Безобразие! Кино называется!

После того что ей ответил дедуся, я от хохота валялся в траве, режиссер накрыл голову сценарием и кричал «караул», оператор, тоже смеясь, заявил:

– Я больше его снимать не буду – он сойдет с ума.

А ответил он внучке вот что:

– Ничего, Клава. Я его завтра убью наповал!

Дед, действительно, чуть не рехнулся. На следующий день прибежал на съемку в семь утра, залез в окоп и потребовал обрез…

Конечно, я влюбился в этого дедусю, забавного ребенка, чистейшей души человека. Он и стал прототипом моего Диогена. Рассказ стал читать смело и с большим азартом. Если бы вдруг мне предложили сыграть в театре или на экране великого философа Диогена, отказаться от того моего прототипа не смог бы!

* * *

Только что прошел с успехом фильм «Трембита», в котором я играл центральную роль Сусика.

В Москве в Марьинском универмаге решил купить плащ. Моего размера не оказалось, выхожу из магазина и обнаруживаю, что сторублевая купюра, сложенная фантиком, из кармана исчезла. Украли. Напротив магазина замечаю кучкующуюся шпану. Переговариваются, что-то передают друг другу, убегают в магазин, возвращаются. Компания подозрительная. Чутье

подсказало, что они имеют непосредственное отношение к моей пропаже. Подошел к ним и говорю:

– Ну что? Дошли уже до ручки? Шарамыги! Актеров уже стали обворовывать?

– О-о! Су-усик!

Узнали, очень довольны, что к ним подошел.

– А что случилось? – спрашивают.

– Что случилось, что случилось… – обиженно ворчу я. – Пришел плащ купить, не успел оглянуться, а ста рублей нет. Что же это такое? Нашли богача.

– А какие они? Как были сложены?

– Фантиком. Одна купюра. Вот, в правом кармане пиджака.

– Стой здесь, Сусик!

Через минут двадцать мне принесли именно мою сотню, сложенную фантиком. Пришлось половину потратить на угощение.

После фильма «Трембита» ребятня не давала мне прохода.

К моему выходу из дома готовились, как к спектаклю! Провожая меня до остановки троллейбуса, они хором кричали: «Мусик! Сусик!» Не скрою, мне было приятно: ведь причина их шалости была в том, что я им запомнился в фильме, понравился, а это хорошо! Плохо другое: представьте, в каком я оказывался положении перед взрослыми прохожими, не понимавшими, что происходит.

Пряча свою узнаваемую физиономию от людей, я стал поднимать воротник пальто, надвигать на глаза кепку – словом, маскироваться. Несмотря на все мои ухищрения, как-то в метро меня узнал восьмилетний мальчишка.

– Мама! Смотри, этот дурачок едет! – закричал он на весь вагон.

Позор! Ведь пассажиры не знают, в каких я отношениях с его мамой! Что они могли подумать? Не беглый ли отец, например?..

Двадцать два года спустя врач, на прием к которому я попал в одном из медицинских учреждений, принес мне извинения за нанесенные в метро оскорбления…

* * *

Кинорежиссер А. В. Золотницкий на студии имени Горького всех обыгрывал в шахматы. Никто и никогда не мог у него выиграть ни одной партии.

Как-то я оказался с ним в Одессе в составе киногруппы. Надо сказать, что Золотницкий был человек чудесный. Умный,

интеллигентный. Он много знал, беседовать с ним – одно удовольствие. Относились мы к нему как к мудрому старшему товарищу. Часто собирались у него в номере, пили чай с печеньем – никаких крепких напитков. Рассказывали смешные истории. Заканчивались посиделки, конечно же, игрой в шахматы. И как всегда, Золотницкий выигрывал. Перед очередными посиделками я встретил на улице Ефима Геллера. Говорю ему:

– Я вас умоляю, пойдемте со мной. У вас вечер свободен?

– Свободен.

– У нас есть режиссер Золотницкий. Я не скажу ему, что вы гроссмейстер Геллер. Умоляю, обыграйте его! Хоть посмотреть, как он выглядит, когда проигрывает! Вся студия пыталась у него… Ну никак, ни разу.

– Ладно, пойдем.

Прихожу с Ефимом Петровичем на посиделки.

– Знакомьтесь, это мой друг. Мой школьный товарищ.

Через некоторое время, как и следовало ожидать:

– Ну, кто в шахматы? – Рано или поздно Золотницкий должен был это сказать.

– Мой товарищ, кстати, очень хорошо играет в шахматы. Попробуйте с ним. А что с нами-то. Мы никак выиграть у вас не можем. Может быть, он выиграет, – предлагаю я.

– С удовольствием, – говорит Золотницкий.

Примерно через десять минут позиция у Золотницкого – бесперспективная. Таким растерянным я его никогда не видел.

– Что за дьявол? Я даже не понимаю, в чем дело. Мне здесь, – показал на доску, – делать нечего. Знаете, я, пожалуй, сдамся.

Тогда Ефим Петрович говорит:

– У меня к вам просьба, если вы не против. У меня есть за ваши фигуры идея по линии «С». Вы не позволите повернуть доску? Я продолжу за вас игру.

Золотницкий развел руками и, посмеиваясь, согласился.

– Я тут не вижу никаких продолжений. Но давайте попробуем.

И снова через десять ходов он оказывается в проигрышном положении.

– Это какие-то чудеса… Что-то я… Я не понимаю, что со мной происходит. Не могу никак проанализировать. Я сдаюсь…

Геллер опять с предложением:

– Давайте еще раз повернем доску!

– Здесь уж совсем делать нечего, дорогой мой друг! Я проиграл… Чего тут поворачивать?

И все же развернули доску. Через восемь ходов Геллер

выигрывает партию!

Золотницкий торжественно встает, поправляет на себе одежду:

– Блестяще! Давайте познакомимся поближе. Мне было очень… давно я не получал такого наслаждения. Даже не могу отдать себе отчет в том, что произошло. Давайте знакомиться: режиссер Золотницкий.

– Гроссмейстер Геллер.

Золотницкий замахнулся на меня и прорычал:

– Негодяй!

Они сыграли еще пять партий, и все выиграл Геллер. Золотницкий первый раз на моих глазах выпил глоток коньяка и утверждал, что Геллер – гений!

Петр Алейников

Он был человеком, которого в зоопарке лизнул (поцеловал, значит) волк!

Он был очень любим народом. Никто другой не пользовался такой популярностью, как он, – никто! Желание людей увидеть его у себя дома за столом (если бы только дома!), широкие русские угощения и возлияния надломили раньше времени его могучее здоровье.

Он был удивительно богато Богом одаренный человек с гипнотической силой обаяния! Его манере говорить с истинно русской мелодикой многие его коллеги (сами за собой и не замечая этого), находясь под его влиянием, явно подражали.

Не все ладно было в его жизни, дома. Мне кажется, что такому человеку всецело принадлежать только семье – ну, просто невозможно. Да и может быть, несправедливо: ведь он, говоря избитыми словами, «принадлежал народу». Люди хотели приблизиться к нему, увидеть его покоряющую всех, знаменитую, добрейшую и неповторимую улыбку!

И если за доброту его поцеловал волк, то люди официальные за то, что он был равнодушен к «великой партии», проводили этого гениального артиста на небеса без наград, без званий (слава Богу, он сам был наградой людям!) и еле-еле, под нажимом друзей, особенно Бориса Андреева, дали согласие похоронить его на Новодевичьем кладбище. И… забыли. Бог с ними, он не им принадлежит.

Но те, кто работал с ним, кто способен объективно разбираться в людях – тем более в людях могучего таланта, – никогда не смогут вычеркнуть его из своей памяти. Поэтому я – с искренним преклонением перед его личностью, с глубоким восхищением перед его талантом – решаюсь на написание немногих строчек, посвященных одному из ярчайших русских лицедеев-самородков – Петру Мартыновичу Алейникову!

Я не был его приятелем, не был частым партнером, не был в числе тех, кто регулярно посещал его дом и разделял с ним во многом погубившие его застолья. Для того чтобы полюбить его и восхищаться его даром, мне было достаточно совместных съемок всего в одном фильме («Стежки-дорожки» режиссера Артура Войтецкого), концертной поездки по Донбассу да общения с ним в нескольких сборных концертах.

Село Селище, в двадцати километрах под Винницей. Съемки

кинофильма «Стежки-дорожки» киностудии имени Довженко. Петр Алейников – в роли почтальона, я – председатель колхоза. (Кстати, в этом фильме главного героя играл молодой, ныне, увы, уже ушедший от нас Олег Борисов.)

Текст снимавшейся сцены примерно таков:

Председатель: Зачем пьешь?

Почтальон: Ну, как же мне не пить? Я тетке Мане телеграмму приношу. Внук ее звание полковника получил. Ну как не выпить? Или вот к пастуху Степану прихожу с письмом. В нем сообщение о том, что сынок в казахстанских степях на целине Героя соцтруда получил. Ну, что делать? Не отметить? Нельзя! Обида! Выходит – я за могущество государства пью!

Председатель: Ладно. Мужик ты хороший. Ищи замену. Расстанемся по-доброму. Может быть, я тебя сторожем правления возьму.

Репетируем, репетируем. Очень хорошо все получается, задушевно, трогательно… Наконец – команда «Мотор!». Все идет нормально. И вдруг у меня, любителя импровизаций, после слов почтальона: «Я пью за могущество государства!» – вместо того чтобы пойти дальше по тексту и сказать: «Ну, ладно, мужик ты хороший. Ищи замену», появилось (почему – не знаю) желание переспросить сочувственно: «Значит, за могущество?» Уверен, 90 из 100 артистов или остановили бы съемку, так как текст этот не был срепетирован, или растерялись бы, смешливые – не сдержались бы, фыркнули, а злые запросто затеяли бы «высокопрофессиональный» скандальчик.

Боже, что произошло с Петром Мартыновичем! На его лице засветилась озорная, обворожительнейшая улыбка, заискрились глаза. Он, казалось, помолодел! Он был сама надежда на благосклонное к себе отношение председателя, на прощение своих грехов. Мгновенно, рефлекторно на мой переспрос: «За могущество?», на высокой ноте, словно желая показаться незапятнанным ни в чем, чуть ли не ребенком, выпалил: «Даааа!»

Я не смог сдержать своего восхищения его импровизационным даром и рассмеялся, что никак не помешало характеру и смыслу сцены. Даже наоборот – обогатило ее. (Все могло войти без помех в фильм, но, увы, не удалось Петру Мартыновичу досняться в этой картине.) После его гениального «Даааа!» я рассмеялся и в перерыве между съемками рассказал ему, что подобное со мной бывает крайне редко, что меня трудно рассмешить, что многие любыми путями пытались меня, как мы говорим, «выбить из образа», но добивались этого крайне редко.

– Веня, ну расскажи, расскажи (обращение ко мне «Веня» составлено из первых букв моей фамилии и двух последних из

имени). Я тебе тоже кое-что смешное подарю.

Я поведал ему историю из своей студенческой жизни.

Моя первая роль в Малом театре… Играю в «Горе от ума» молодого офицерика – гостя в доме Фамусова. Роль маленькая, бессловесная: выхожу на заднем плане и стою, прислонившись спиной к бутафорской колонне. Следом за мной появляются два актера постарше и прогуливаются подле меня, имитируя тихую беседу. На первом же спектакле один из них остановился и, глянув на меня, осведомился:

– Это вы Чацкий?

Я, студент, первый раз вышел на сцену Малого театра! Волнуюсь, а тут: вы Чацкий? Чтобы не рассмеяться и тем самым не осрамиться, мелкими, как мне казалось, незаметными шажками скрываюсь за колонной, а затем тихонько ухожу со сцены. Первое выступление и такой провал! Однако все прошло благополучно: ни помощник режиссера, ни сам режиссер замечания мне не сделали. Обошлось.

Через день спектакль давали снова. Я поймал тех двоих моих мучителей и слезно попросил:

– Умоляю! Не надо таких реплик! Не губите!

– Больше такого не будет, даем слово, – пообещали они.

Во втором акте оба опять подходят ко мне:

– Пардон, любезнейший, вы нам не подскажете, где тут у Фамусовых туалэт?

– ???

Я снова сбежал! После спектакля ко мне подошел режиссер-постановщик. Понимаю, что с роли он меня, конечно, снимет, но вдруг:

– Вы знаете, неплохо, Женя, очень неплохо. Вы чувствуете мизансцену. Так и впредь: постояли и уходите. Вы правы – чего стоять как пень? Эдак у нас значительно живее получается, динамичнее. Молодец, Женя!

– Дааа, браток, так ведь запросто можно инфаркт схватить! Раз плюнуть… Я вот редко выхожу на сцену, в концертах разве что. Для меня вообще-то жизнь – это сцена, а люди все – артисты! Это не я сказал, а я тебе скажу, что с автором подружился бы! Меня ведь тоже рассмешить трудно, человек я, по-моему, мрачноватый. Не веришь? Правда, правда. Иногда, конечно, смеюсь, когда смешно. Редко. Но бывает… иногда…

Снимался я как-то в Свердловске, не помню в какой картине и простудился. Зашел мрачный-мрачный в аптеку за лекарством, а вышел веселый-веселый – насмеялся, ну прямо как дурачок! И не в театре, а в аптеке, понял? Стою, значит, я у прилавка, разглядываю чего-то там против гриппа. Смотрю – заходят двое.

Один у входа остался, другой к прилавку подошел. Важные, хорошо одетые. Этот, который к прилавку-то подошел, оглядел товар, повернулся к тому, который в дверях-то, и так, знаешь, солидно говорит: «Тройной» и «Эллада». Это название одеколонов, понял? В дверях который физиономию недовольную такую сочинил и, не выговаривая букву «л», отвечает: «Я Элладу не пью!» Понял? Гурманом оказался! Ну, тут я и зашелся. Вспомнил одного известного артиста, фамилию не скажу. Он как только приходил на киностудию, так сигналы по этажам народ подавал – дескать, внимание, такой-то пришел! И все гримеры одеколон прятали. Умора! Так вот, значит, я с гурманами свердловскими вместе до гостиницы прошелся. Познакомились, разговорились. Они мне много поучительного, я тебе скажу, наговорили. Правда, правда. Всю дорогу смеялся – даже простуды поубавилось. Я их спросил, отчего это они на парфюмерию глаз положили, везде же родную беленькую, да еще разнокалиберную предлагает наша советская торговля. Что, спрашиваю, не нравится им? Что ли, наша привычная, она, по-ихнему, нехорошая, что ли, стала? Нет, говорят, что вы! Водка всегда вкусная, плохой она не бывает, только хорошей или очень хорошей… А почему, спрашиваю, за одеколоном охотились? Так это потому, что на свидание, говорят, идем и не хотим, чтобы от нас плохо пахло. Одеколон, говорят, интеллигентностью пахнет…

Ну, вот видишь, Веня, и ты смеешься!

В творческой биографии Алейникова было несколько попыток прибегнуть к средствам перевоплощения. Одна из них кончилась комично. В кинофильме «Глинка» он предстал перед зрителями в образе Александра Сергеевича Пушкина! Грим – идеальный. Похож! Но стоило ему появиться на экране, как зрители в кинотеатрах любого города, узнав своего любимца, дружно реагировали: «Ва-а-ня Кур-с-кий». Это была фамилия его популярнейшего героя из кинокомедии «Большая жизнь» (1940 г.)

Вторая попытка была успешной и принесла Алейникову его единственную в жизни премию – специальную, Всесоюзного кинофестиваля в 1968 году (да и то посмертно), «за отлично сыгранную сложную роль старого рабочего Марютина в кинофильме „Утоление жажды“»… Возраст и состояние здоровья Петра Мартыновича уже позволяли пользоваться проверенными красками образов остроумных, общительных, полных заразительной жизнерадостности парней, за напускной бравадой которых угадывались доброта и благородство. Потребовалось позаботиться о перевоплощении. Удача!

Сухой закон, которому мы подчинялись на съемках в селе

Селище, не поддаваясь ни на постоянные приглашения в гости, ни на частые предложения «культурно отдохнуть» с областным или районным советско-партийным руководством (конечно же, за счет государственной казны и бедных колхозников), очевидно, порождал желание поговорить о том, что закон запрещал. Это желание закономерно: воспоминания пьянят!

Как-то я рассказал Петру Мартыновичу, как в ресторане «Метрополь» мой сосед по столику, говоривший на чистом русском языке, выпив за обедом три бутылки сухого грузинского вина, заговорил – верьте не верьте – с легким грузинским акцентом. Рассказал, что задумал эстрадную сценку, в которой посетитель ресторана заказывает вина из разных стран и, в зависимости от того, что пьет, говорит на разных языках, а в конце, выпив русской водки, заводит русские частушки, пляшет, приглашает всех к столу…

Последовал мгновенный ответ:

– Веня, это сложно поставить. Нужна массовка на роли посетителей кабака, нужны исполнители на роли официантов, нужны преподаватели иностранных языков. Я тебе так скажу: это не для нас, это для капиталистов, потому дорого. Делать надо все это не на сцене, а в кино… Я тебе попроще сюжет про русака предлагаю. Давай вдвоем и сыграем. И затрат-то никаких.

Дело, значит, было летом в Малаховке. Я был в гостях у дружка моего. Смеркалось. Неподалеку, за забором в зелененькой травке, лежали двое – «атлеты!». Рядом бутылок 6–8 портвешка (Алейников только так называл портвейн – портвешок!). Ну, притомились трудяги. И вот слышим такой диалог:

– Вася, если мы сейчас встанем – пойдем еще пару пузырей возьмем.

– Коля, а если не встанем?

– Тогда пойдем домой.

Вот так. Голь на выдумки хитра. Вот видишь, как просто!

Никакого ресторана, никакой массовки не нужно…

Поселили на съемках нас с Алейниковым в одной хате. Сцен в фильме, в которых мы оба заняты, было немного, и Петр Мартынович часто снимался без меня. В очередной раз оставшись дома, я готовил обед и с нетерпением ожидал моего кумира. Приехал он счастливый.

– Веняяя! Я такое место для рыбалки нашел! Сказка! Затопленная старая мельница! Омуты! Течение легкое. Я тебе скажу – лучше не бывает! Мечта!

Три оставшихся дня до выходного, все свободное время, потратили на подготовку к рыбалке. Из Винницы привезли

необходимые снасти: удилища, леску, крючки, поплавки, грузила, подсак. Накопали червей-рекордсменов, подготовили подкормку, разные насадки, каши. Вязали, точили, вымеряли поплавки в ведрах, пересматривали лески, взвешивали, варили, мешали, потели, спорили… Наступил долгожданный свободный день. Встали в три часа ночи. Подъехали на «газике» к мельнице. Остановились метрах в двухстах. Рассвет. Подошли к заветным местам.

– Тихо! По-балетному иди, нежно… Вот здесь я сяду, а ты во-о-он там. И молчок. А, черт! Самолет полетел (ударение на первом «е»), всю рыбу расшумит, аппетит напугает. Ну, да ладно. До вечера-то успокоится. Для ухи все взяли? Молодцы!

Закинули удочки. Молчок. Проходит 15–20 минут.

– Веня, – шепотом обращается ко мне заядлый рыбак, – клюет?

Я руками, плечами, физиономией отвечаю, что – нет!

Проходит еще минут 10–15, повторяется та же игра. Прошло еще минут 5–10. Вижу, партнер сматывает удочки.

– Мартыныч, вы куда?

– Веня, надоело, пойду домой. Ты сиди, сиди… Я пойду. Неудача.

Готовились три дня, встали в три часа и вернулись в четыре тридцать домой!

В этой непоседливости, в неумении ждать, проявлять терпение, организовать себя на большой отрезок времени, на какую-нибудь цель проявилась, по-моему, самая большая беда великого артиста – отсутствие силы воли. Очевидно, беда эта не позволяла ему отказываться от частых застолий или вовремя покинуть их. Поэтому эта беда надломила его, и он ушел из жизни в возрасте, когда артистическая деятельность только входит в пору зрелости, когда жизненный опыт только-только начинает шлифовать мастерство.

…Он не успел отпраздновать 51-й день своего рождения.

В самом начале 50-х годов маленький коллектив артистов театра имени Станиславского (и я в том числе) вместе с Алейниковым выехал на десять концертов на Донбасс. Афиша наша выглядела так: красной строкой, то есть большими буквами, была набрана фамилия Петра Мартыновича и маленькими-маленькими – фамилии нас, принимавших, как сказано было, участие в концерте. Нас придали мастеру, так как сольными концертами Алейников не занимался.

К сожалению, та же беда – безволие, да еще русская лень-матушка не позволяли ему блистать на эстраде с интересным репертуаром. Алейников ограничился лишь рассказом «Ленин и

печник» и редким исполнением в паре со Степаном Каюковым рассказа Чехова «Дорогая собака». Если и были еще какие-то работы для концертных выступлений, то они, очевидно, были настолько эпизодичны, что мало кто из артистов о них знал.

Итак, гастрольная поездка. Первый концерт в Донецке, каждый следующий – в другом городе. Везде на больших, чаще всего открытых площадках. Зрителей – ну просто паломничество! Петр Мартынович появлялся на сцене последним. Все концертные номера, шедшие до его появления – соло на рояле, сценки из спектаклей, инсценированные рассказы Чехова и Зощенко, принимались сдержанно: чувствовалось, что ждут «Явления Христа народу». И вот наступал момент, когда наконец нужно было объявлять фамилию главного артиста. Ведущему не удалось ни разу этого сделать. Он успевал сказать лишь несколько слов: «И наконец»; или «Ну вот, настало время»; или «Вы, конечно, заждались», «Я с особым удовольствием…» И все! Дальше у него дело не шло. Везде, как по команде, разражалась овация, зал вставал и не давал Алейникову раскрыть рта. На сцену выскакивали женщины, мужчины, старые и молодые, с цветами, иногда с бутылками вина, водки или шампанского, или всего вместе. Его обнимали, целовали, бывало, качали (однажды уронили), наливали прямо на сцене зелье, отрывали пуговицы, преподносили подарки, самые разные – от корзины с фруктами и овощами, сала, бутыля молока до целого жареного барана или поросенка. Не надо забывать, что происходило все это в шахтерских местах, где Алейников был особенно любим, благодаря кинофильму «Большая жизнь», посвященному жизни шахтеров и в котором он блистательно сыграл своего знаменитого шахтера – Ваню Курского…

На двух или трех концертах зрители вели себя поспокойнее, но тем не менее доводили его до слез, что не позволяло ему совладать с собой, успокоить зал и что-либо читать. Иногда он успевал, вытирая слезы, произнести в микрофон лишь несколько слов: «Братцы, да разве ж можно так» или «Милые, что же это вы со мной делаете…» Это еще больше подогревало ажиотаж зрителей, и, постояв минут пятнадцать на сцене в обнимку с цветами, Алейников, заплаканный, уходил и быстро-быстро уезжал в машине, которая всегда ждала его прямо у ступенек сцены. Теперь, надеюсь, понятно, почему в каждом городе давался только один концерт, а где будет следующий, зрители не знали. Ни на одном концерте гастролер ничего не читал и ничего не рассказывал, но тем не менее в каждой рецензии (а их было десять – соответственно количеству концертов) присутствовало сообщение о том, что наибольшим успехом пользовалось

выступление «нашего доброго и любимого Петра Алейникова».

Мы, молодые артисты, были, конечно, влюблены в мастера и в течение всей поездки испытывали чувство некоторой неловкости: дескать, при чем тут мы, сопляки? И только сознание того, что мы до некоторой степени как бы выручали его – все-таки мы держали внимание зрителей довольно долгое время, – успокаивало и позволяло с восхищением наблюдать ежевечерний психологический спектакль «Сила таланта и любовь народа». Это – сильнейшая драматургия! Драматургия, совершенно освобожденная от необходимости что-либо натужно придумывать, врать, приспосабливаться, заниматься «измами», уставать и нести язык на плечах в погоне за модой.

«Талант и народ» – и все!!!

Всего на четыре дня я улетел по личным делам в Москву. Вернулся и… не застал Петра Мартыновича в нашей хате. В роли почтальона снимался другой артист. Все снятое – переснимали…

Когда мы были вместе, я развлекал его разного рода историями, иногда печалил рассказами о войне, о людях, погибших в 1937 году, в том числе и об отце своем – словом, отвлекал его от внутреннего позыва прикоснуться к дьявольскому зелью… Но как только я уехал, в хате – тут как тут – появился рыжий сельский киномеханик – самый активный зазывала на «пыво з раками», чи на «семь капель», чи на «трошки вздрогнуть». Маэстро без меня немножко загрустил (так сказал хозяин хаты), хилая воля совсем сникла, и победили в нем «семь капель»…

Его нашли одного в лесу, еле-еле выходили и больного, ослабевшего отправили в Москву. Все! Трагедия праведного человека…

Прошло много лет… Петра Мартыновича уже давно нет с нами. Живу я около Зоопарка. Часто туда заглядываю и всегда страшно смотреть на тюрьмы для животных. Познакомился со сторожем. Он рассказал мне, что был хорошо знаком с Алейниковым. Тот часто приходил к нему рано-рано утром, до открытия, и немного пригубливал заготовленное им, сторожем, загодя горячительное. Потом гулял по территории, подружился с волком Нориком. Сначала просто наблюдал за ним, любовался. Затем стал с ним разговаривать, угощать, бросив в клетку что-нибудь вкусненькое: колбаску, сырок. Как-то дал волку кусочек хлеба, смоченного в водке. Тому понравилось. Дружба крепла. Зверь стал брать гостинчики прямо из рук и… в один прекрасный день лизнул – поцеловал дружка. Сторож видел это. Видел, как Мартыныч еле-еле сдержал слезы и каким-то прерывистым доверительным шепотом произнес, почесывая бок хищника:

«Норик, ты лучший среди людей»…

Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все – суета.

Книга Екклесиаста. Гл.3, стих 19.

Борис Андреев

Как-то сидя в поликлинике в ожидании своей очереди и читая газету, обратился к рядом сидевшему и тоже читавшему какой-то журнал пожилому человеку. Отложив газету и тяжело вздохнув, я спросил: «Дела! А вообще, что творится? Для кого страна наша?» Сосед захлопнул журнал и с готовностью к разговору ответил: «Как для кого? Была для идеологии, а сейчас для борьбы множества идеоложек».

И беседа началась.

– Нельзя ли опыты делать на животных? – спросил я.

– Можно.

– Почему же не делают?

– Жаль животных – нельзя быть жестокими.

– А нас не жалко?

– Некому жалеть. Кстати, животные знают, что мы хуже, мы более испорченные, чем они.

– Каким же образом они это узнали?

– Мы им доказали это своим поведением, особенно в их тюрьмах – зоопарках.

– Пожалуй, верно. Животные умнее нас.

– Конечно, умнее. Понаблюдайте за жизнью муравейника. Какая дисциплина! Какая организация труда! О пчелах я уж не говорю – они гениальны! Животные по-своему видят мир, более логично, чем мы!

– Да, пожалуй.

Я почему-то вспомнил две маленькие новеллы артиста Андреева Бориса Федоровича, Бэ-Фэ, как мы его называли любя. «Лев открыл пасть. Укротитель засунул в нее голову, и все зрители вдруг увидели, насколько дикое животное умнее и великодушнее человека». И еще. «Я гулял по зоопарку, и животные нехотя разглядывали меня». Если бы Бэ-Фэ был жив, я бы объяснил ему, почему «нехотя»: им неинтересно разглядывать то, что для них уже пройденный этап!

Бэ-Фэ Андреева нельзя было не любить. Это была парадоксальная личность, неожиданная, непредсказуемая. Могучего телосложения человек был сентиментален. Мог, сочувствуя кому-либо, заплакать. Мог быть страшен во гневе, но быть ребенком в покаянии. Мог солидно загулять или вообще ничего не пригубливать, кроме чая. Был очень простым, как говорят, от земли, но и мудрым философом.

Рассказы о Бэ-Фэ, как правило, рождены восхищением его габаритами. О нем охотно вспоминают как о герое, который не

позволил кому-то в каком-то городе составить на него акт за не совсем интеллигентное поведение, выпив все содержимое чернильницы; который, не получив номера ни в одной из гостиниц другого какого-то города, разбил витрину мебельного магазина и улегся спать в чудную кровать из выставленного там спального гарнитура; который добился похорон гениального Петра Алейникова на Новодевичьем кладбище, лишив себя этого права (действительно, после кончины Бэ-Фэ похоронить его там не разрешили). Но редко кто рассказывает и кто знает, какой лирик, почти ребенок, жил в этом огромном сердце и человеке.

В Киеве был организован творческий вечер Бэ-Фэ. Зал почти на 2500 мест во Дворце труда рядом с гостиницей «Москва». Лето, чудный вечер. Встречаю его выходящим из гостиницы в концертном костюме с несколькими орденами и знаками лауреата тогда еще Сталинских премий:

– Веня! (Он, как и Алейников, соединял в одно мои имя и фамилию.) Пойдем со мной на концерт. Скучно на душе. Буфет там хороший, по окончании отметим событие.

Пошли. До начала 30 минут. Публике собираться еще рано. Мы за кулисами. Бэ-Фэ очень волнуется, возбужден до предела. Это верный признак истинного таланта: когда артист перестает перед выходом на сцену волноваться, начинается его закат. Первый, второй, третий звонок!

– Бэ-Фэ! Ни пуха ни пера!

– К черту, к черту!

Последние откашливания на нервной почве, последние оглядки на себя в зеркале. И вперед на сцену! Слышу жидкие аплодисменты, начинаю волноваться. Ухожу в гримуборную. Не успеваю снять пиджак, как появляется угрюмый, вот-вот заплачет, Бэ-Фэ. Плюхается в кресло и жалобно говорит:

– Веня! В зале – человек 20… Я отменил встречу. – И уже еле-еле, сдерживая плач: – Я никому не нужен!

Вскоре выяснилось, что, понадеявшись на огромную популярность Бэ-Фэ, администрация Дворца и филармония палец о палец не ударили для того, чтобы хоть как-нибудь прорекламировать этот творческий вечер. Оказалось, что они ограничились одним незаметным газетным анонсом за день до концерта.

Бэ-Фэ долго переживал этот случай и страшно боялся повторения подобного «конфуза»!

Как-то в Свердловске мы жили в одной гостинице и снимались на киностудии в разных картинах. Я заболел ангиной – температура 39,5. Ночью звонок:

– Веня! Это я – Андреев! Меня обворовали. Получил под расчет, и все украли! Зайди.

Больной, хриплый, небритый иду к нему в номер.

Сидит на ковре и плачет:

– Угощал в ресторане товарищей по киногруппе, прощались. Пришло время платить, я в карман – денег нет. Веня! Сумма большая. Сколько планов было по дому. Семья ждет. Обворовали!

– Спокойно, спокойно! – говорю я. – Где брюки, где пиджак, где плащ, чемодан?

– Все осмотрел, все перерыл. Нет денег, обворовали, Веня! Что делать?

И вдруг я замечаю, что дальний угол ковра на полу почему-то пухлый, приподнят: явно что-то прикрывает. Я к уголку, приподнимаю ковер и… вижу пачки денег.

– Да вот они, Бэ-Фэ! – радостно хриплю я.

Он в одно мгновение прекращает плакать, как маленький ребенок, когда ему неожиданно что-то показывают. И со счастливым выражением бодро почти выкрикивает:

– Правильно! Я их спрятал от горничной, чтоб не сперла!

Нашел место! Наш большой ребенок Бэ-Фэ.

Несколько афоризмов Бориса Федоровича:

«В отличие от тыквы, голова человека в потемках не дозревает». Или: «Душа, оскудевшая в персональных условиях!» Или: «Великий страдал отложением солей своего величия». Или: «Укушенный зубом мудрости!»

Но самая замечательная его мысль: «Трагедия человечества заключается в том, что оно изобрело атомную бомбу до своего объединения!»

Умный, большущий, добрый Бэ-Фэ!

Эраст Гарин

Вся разница между умным и глупым в одном: первый – всегда подумает и редко скажет; второй – всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык – секретарь мысли, у второго – ее сплетник или доносчик.

В. Ключевский

Меня часто посещает какая-то внутренняя тревога, когда слышу безапелляционную болтовню актеров по любому поводу, по любой проблеме – политической, государственной. Человек должен, по моему разумению, заниматься в основном делом, но не болтать, не пополнять ряды дилетантов, которых так много развелось в наше время! Моему сердцу милее мастеровые, умельцы, актеры, художники, изобретатели, спортсмены, отдающие всего себя любимой профессии. Как правило, они из тех, кого называют добрыми чудаками, никакого отношения к болтунам не имеющими. Болтовня и дело – несовместимы.

Одним из самых талантливых чудаков был незаметный в жизни и быту, но только не на экране и сцене, производящий впечатление какого-то недотепы, умнейший Эраст Павлович Гарин. Трогательный, беззащитный фанатик театра и кино, загадочный для одних и очень понятный для других. Человек, по свидетельству хорошо знавших его, не произносивший лишних слов, напрочь лишенный риторичности. Все им произнесенное было всегда связано с конкретными проблемами, всегда относилось к сути режиссерской или актерской работы. Он не говорил лишнего и никогда не врал, следуя словам Монтеня: «Как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде».

Он был великим профессионалом и не мог себе позволить отвлекаться на треп, лень. Эраст Павлович был человеком размышляющим, и это качество во многом объясняло его замкнутость и малословие. Невозможно представить Гарина, произносящего с трибуны пламенную речь по поводу работы и судьбы каких-нибудь партий. Это было гомерически смешно или… трагично!

Еще: он почти никогда не пользовался иностранными словами. Прекрасно обходился родным языком. Вместо

«ромштекс» говорил – «кусок жареного мяса», вместо «бифштекс» – «кусочек мяса с кровью», вместо «коктейль» – «петушиный хвост», что соответствовало буквальному переводу этого английского слова. Не «плагиат» – а «похитил» или просто «спер», вместо «плюрализм» – «несколько мнений», «множество мнений»; не «трактовать» – а «толковать»; не «виртуоз», а «умелец», «мастер», «артист своего дела».

Я не хочу этими примерами спорить – стоит ли и хорошо или не очень так говорить. Я привожу их только для более конкретного восприятия сути человеческой.

У меня были неоднократные творческие контакты с Эрастом Павловичем Гариным. Я снимался в его картине «Обыкновенное чудо», играл в его спектаклях «Тень», «12 стульев», часто встречался с ним в его доме. Чаще всего он был сосредоточен, неразговорчив, и лишь внимательный взгляд на собеседника выдавал процесс энергичной душевной работы.

Был строг в работе. Помню, как Гарин снял с роли известного артиста, который и по годам, и по званию был старше его. Снял за два незначительных опоздания на репетицию и нетвердое знание текста. Артист извинялся, но Гарин своего решения не изменил. Сейчас могу твердо сказать, что это заметно укрепило творческую и производственную дисциплину в театре.

На репетиции сам Эраст Павлович приходил всегда первым, задолго до начала, с тетрадочкой в руках, перевязанной веревочкой крест-накрест. Бродил по сцене, проверял ранее изобретенные мизансцены. Графическое решение спектакля для него было если не главным, то одним из важных принципов в постановках. Порой жестом, мизансценой он выражал смысл происходящего на сцене гораздо ярче и доходчивее, нежели словами…

Рассказывать Гарину – комедийному актеру, человеку с очень развитым чувством юмора – анекдоты, смешные истории было занятием неблагодарным. Даже на «шлягерные», как мы говорили, анекдоты он реагировал слабо. А увидев, к примеру, на экране телевизора промахнувшегося или упавшего от неловкого движения футболиста, мог долго от души хохотать, как мальчишка!

Потерпев несколько раз фиаско как рассказчик смешных историй, я стал присматриваться к нему: в чем дело? И понял. Во время рассказа Гарин хоть и смотрел на тебя, но не слушал, оставаясь в плену своих мыслей. Позже я все-таки нашел способ, как заставить его улыбаться. Все оказалось просто: надо было

рассказываемую историю сопровождать показом, подключая мимику и жест. Если история ему нравилась, он хитро улыбался и готов был тут же сам ее пересказать, но на свой лад и уж обязательно с неожиданным другим концом.

Он нередко был рассеян. А ведь известно, что рассеянность – высшая степень сосредоточенности.

Спал на старой железной кровати, провисавшей, как гамак, и никому не позволял ее заменить. В той же комнате, где была эта кровать, находилась богатейшая библиотека, на полках которой можно было увидеть редчайшие книги по скульптуре. Он коллекционировал все издания, имевшие отношение к выразительности рук и кистей. Недаром был большим мастером динамики тела, которой увлекся со времен совместной работы с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.

Он не гнушался застолья. Но мало ел, любил селедку и чай. При жене он не позволял себе и рюмочки водки. Без нее, бывало, позволял то, что иногда приводило к нежелательным результатам.

Его Хесся Александровна – чудо-человек, сказочной доброты и ума. Она часто занималась режиссурой на озвучании иностранных фильмов и была в этом деле ведущим мастером на киностудии имени Горького, да и вообще в стране. А Эрасту Павловичу очень не нравилось заниматься дублированием какого-то актера, он считал это не творческой работой. Я считаю, что здесь он ошибался, так как дублировать большого актера – это означает прочувствовать вместе с ним суть создаваемого им образа. Я испытал и сложность и полезность этой работы, с восхищением вторя таким мастерам, как Марчелло Мастрояни, Альдо Фабрицци, Де Фюнесс, Тото, Фернандель, и многим другим.

Изредка, не без труда, Хессе Александровне удавалось уговорить мужа хотя бы попробоваться на чудесную роль в столь же чудесном исполнении большого иностранного актера. Он приходил, волновался, как школьник, мучился – не по нем была эта трудная и занудная работа. Сердился при всех: «Отпусти меня, не унижай! Больше не вызывай меня-я! Я тебя ненавижу!»

А сам без нее жить не мог. Бывали в их отношениях весьма экстравагантные сценки. Как-то Хесся Александровна долго что-то объясняла артисту на репетиции в театре – она всегда совместно с Гариным ставила и спектакли и фильмы. Он ждал, ждал и наконец выпалил: «Хеська, припопь себя». Что по Гарину означало – «сядь»! И не было в этом никакой грубости, была какая-то ребячья удаль.

Анатолий Дмитриевич Папанов записывал за Гариным его немыслимые каламбуры.

– Эраст Павлович, что-то душно в помещении, трудно репетировать!

– Пра-а-а-а-вильно! Нужно открыть форточку и устроить проветрон в смысле кислородизма.

– Эраст Павлович, в этой сцене напрашивается лирический музыкальный фон.

– Пра-а-а-а-вильно! Душещипательность хиловата. Яша! – обращается Гарин к заведующему музыкальной частью театра. – В этой сцене должны нежно зачесать скрипки! Для слезорождения!

Жена Анатолия Дмитриевича Надежда Каратаева рассказывала, что часто в минуты отдыха, расположившись уютно в кресле под лампой, он с наслаждением вслух перечитывал гаринские каламбуры, смеясь от всей души.

Ялта. Снимается фильм «Обыкновенное чудо». День рождения Гарина – постановщика фильма. В номере гостиницы накрыт богатый стол: невероятная хлебосольность жены Эраста Павловича общеизвестна. Мое непродуманное поведение за столом привело к тому, что сниматься на следующий день я не смог. Съемка было отменена.

Эраст Павлович сказал мне лишь одну фразу:

– Не умеешь ходить в гости – не ходи! Слаба-а-а-к! Палочка Коха!

Кстати, о Хессе Александровне. Вместе с Гариным она ставила мою инсценировку «12 стульев» в Театре сатиры. Анатолий Папанов – Воробьянинов, я – Остап Бендер. На одной из репетиций Папанов говорит мне: «Что-то я неважно себя чувствую. Подпростыл немного. Как бы не разболеться. Надо бы за водочкой послать – немного согреться».

У нас не хватало рубля до полного счастья. В перерыве одалживаю рубль у Хесси Александровны. Узнав, зачем он мне нужен, она сказала: «Пожалуйста, возьмите меня в компанию, я тоже что-то продрогла немного!»

– Пожалуйста, – соглашаюсь я.

После репетиции накрыли стол: бутылка водки, три стаканчика и три скромных бутербродика.

Папанов командует:

– Приглашай!

Привожу Хессю Александровну, хрупкую, болезненную, перенесшую несколько инфарктов и множество воспалений легких. Предположить, что она может на равных разделить с

нами зелье, было просто немыслимо.

– Пожалуйста, Хесся Александровна. – Стаканы наполняются.

– Какой мой?

– Любой, – улыбается Папанов, и я тоже. Переглядываемся.

– Ваше здоровье, – говорит Хесся Александровна, чокается с нами и спокойно выпивает весь стакан.

– Большое спасибо, – говорит нам она и, не притронувшись к бутерброду, покидает нас.

Переглядываемся снова. Папанов, не успевший, как и я, выпить свою порцию, говорит:

– Рубль не отдавай!

На другой репетиции «12 стульев» мы с Гариным заговорили о том, что в «Золотом теленке» прекрасно описано, как Бендер не мог с толком потратить свой миллион в такой стране, как наша.

– Ерунда-а-а-а! Это слабость романа! Что значит не мог потратить миллион. Ерунда! Вы мне дайте миллион, я его за неделю найду куда пристроить. Только чтобы Хесся не участвовала в операции!

Опять ребячество. Он, как послушный сынок, все деньги отдавал мамочке Хессе, никогда не знал что почем, везде его обсчитывали, вечно он терял зарплату, а уж в миллионеры и в деловые люди ну никак не годился.

Гарин и Пырьев когда-то очень хорошо относились друг к другу. Может быть, даже дружили, но… Что-то между ними произошло, отношения стали натянутыми. И я невольно оказался первопричиной начала их примирения.

Снимался одновременно у Гарина в «Обыкновенном чуде» и у Пырьева в «Свете далекой звезды». Договор с Пырьевым я подписал раньше, и съемки пырьевской картины начались раньше. Поэтому, когда начал сниматься у Гарина, то предупредил, что могу быть на какое-то время отозван к Пырьеву под Москву, в Монино. Гарин дал согласие.

В Ялту, где я снимался у Гарина, приходит телеграмма: меня срочно вызывает на съемки Пырьев. Иду с телеграммой к Гарину. Тот, согласно договоренности, отпускает меня, но просит:

– Скажи Ивану, что я его прошу отснять тебя не за десять дней, как у тебя в договоре, а за пять. Передай ему, что у меня горит картина. Что я надеюсь, что он еще хороший, что сохранил какие-то человеческие качества, несмотря на то, что мы в ссоре. Передай ему, чтоб он был человеком, а не дерьмом.

– Так и передать?

– Так и передай.

Прилетаю в Москву, еду в Монино. Приезжаю почти ночью, иду к Пырьеву, у того посиделки. Увидев меня, обрадовался:

– Прилетел! Молодец! Завтра немного погуляй, оглядись, текст подучи. Послезавтра начнем снимать.

– Иван Александрович, вот какая история. Мне Эраст Павлович велел вам сказать…

И передаю дословно весь текст, который сказал Гарин.

Пырьев замер, нахмурился, глаза стали недобрыми.

– Он прямо так и сказал: сохранилось во мне что-нибудь человеческое или не сохранилось?

– Да.

– Директор, расходимся! Давай тревогу! В семь утра съемка! Будем снимать Весника! Чтоб к семи часам на съемочной площадке все было готово! И никаких разговоров! Самолеты чтоб взлетали, приземлялись! Санвзвод, солдат, всех подготовить!

А был уже первый час ночи.

– Текст выучишь? – обращается ко мне.

– Да. Сейчас буду учить. – От такого напора я даже несколько растерялся.

– Давай. В семь часов на съемочной площадке. Директор, устройте его поспать, дайте текст. Расходимся.

Мне дали комнату. Я, конечно, не спал: учил текст. Восемь страниц. Полтора часа поспал, в семь часов был на съемочной площадке.

А там уже все готово к съемке: рельсы для операторской тележки проложены, самолеты гудят, санвзвод на месте. И началось…

Взлетали и садились самолеты, бегали люди, ко мне подходили, что-то докладывали. Говорю громче, говорю тише, куда-то иду, смотрю в разные стороны, как говорит оператор. Санвзвод бегает, камера трещит… Съемка!

Вместо десяти запланированных дней все было сделано к четырем часам дня! Вместо пяти дней, которые просил Гарин, меня отсняли за девять часов!

Подошел Пырьев и почти сорванным от адской работы голосом прокричал:

– И передай ему, что дерьмо он, а не я! Я-то человек! А вот в нем сохранилось ли что-нибудь? Сегодня же лети, пожалуйста, обратно. Директор! Отправить его немедленно из Москвы в Ялту. Срочно!

Меня сажают в машину, в аэропорту – сразу к начальнику перевозок, потом в самолет. В одиннадцать часов вечера я уже в Ялте. Появляюсь перед Гариным. Гарин не верит собственным глазам. Я подробно ему все рассказал.

– Ты врешь! Неужели за девять часов? Не может быть! Надо мириться!

После этого случая у Гарина и Пырьева началось новое сближение, возродилось их товарищество.

Эраст Гарин и Хесся Локшина – святая пара. Друг без друга они жить не могли. Детей у них не было. Она относилась к нему, как к сыну, брату, а Эраст ее заботы принимал с важной и гордой безропотностью, как само собой разумеющееся. Она часто болела, лежала в больницах, и в эти дни можно было ощутить, кем была Хесся для Эраста. Он сникал, худел, мрачнел, старел, обрастал бородой, делался мятым, неуютным и даже злюкой, с глазами, полными тревоги, печали и растерянности.

Когда он ушел из жизни, Хесся Александровна сгорела очень быстро. Без Эраста Павловича она стала потерянной и вскоре ушла к нему. Такие пары не забываются. Голубки!

Иван Переверзев

Улыбнись над своими горестями – горечь их исчезнет.
Улыбнись над своим противником – исчезнет его озлобление.
Улыбнись над своим озлоблением – не станет и его.

Ян Райнис

Из его письма ко мне: «Здорово, маенькая моя! (Мой друг любил так обращаться к собеседнику, независимо от того, к какому полу он принадлежал.) Пишу тебе из больницы… Опять что-то заболело внутри… Даже, если бы не улегся в это заведение, не смог бы сам себя озвучить… потому что стал совсем плохо слышать. Выручай… Тебе позвонят… Не отказывайся…

Заранее благодарю тебя. Надеюсь, увидимся и посидим за столом, но… впервые без чарки. Вот так вот, маенькая моя.

Будь здоров. Твой Перевэ»

Подписывая неофициальную корреспонденцию или называя себя по телефону, он не тратил время на то, чтобы выговаривать полностью имя, отчество и фамилию, а оперировал коротким – Перевэ. Все к этому привыкли, и было бы странным услышать из его уст или прочесть в конце его письма – Иван Федорович Переверзев.

Мало кто знает, что в кинокартине «Чисто английское убийство» Иван Федорович говорит со зрителем моим голосом. И уж наверняка никто не знает, что это озвучение сопровождалось моими большими усилиями скрыть наворачивавшиеся слезы. Мне трудно было смотреть на экран: я видел там красивого, прекрасно игравшего свою роль, здорового Перевэ, но знал, что он лежит в больнице уже в тревожном состоянии здоровья.

Иван Переверзев! Он из тех русских, чья душа нараспашку, у кого удаль, буйный темперамент, работоспособность, независимость, доброта, смекалка; кто умеет грешить и каяться, широко, красиво загулять, но при надобности вести аскетический

образ жизни, умение влюбиться, помогать, дарить, сопереживать. Он из тех русских, которые составляли и составляют неповторимый национальный колорит человеческого характера.

В самые тяжелые дни жизни правдолюбца Виктора Некрасова, автора лучшей книги об Отечественной войне, затравленного только за то, что он честнее и умнее «их», в те дни, когда многие боялись с ним общаться, Иван Федорович, прихватывая с собой меня, фронтовика и поклонника автора книги «В окопах Сталинграда», навещал испытывавшего материальные затруднения писателя. Он приносил с собой и еду и зелье, тем самым морально поддерживая сникавшего порой талантливейшего художника.

В трудные для Владимира Дудинцева времена, тоже затравленного теми же «цепными собаками», Иван Федорович осчастливил меня, взяв с собой на свидание с писателем, преподав таким отношением к опальному урок смелости, добра и сострадания. Трижды прав Василий Шукшин: «Культурный человек – это тот, кто в состоянии сострадать, это горький мучительный талант».

Легко представить себе, как необходимы были подобные визиты людям, попавшим под пресс гонений за правду и ум, за благородство. Никогда не забуду книжную полку в квартире Дудинцева со множеством иностранных изданий его всемирно известного романа «Не хлебом единым». Эта полка, я уверен в этом, была тем эликсиром жизни, который не дал сломаться психологически тонкому, интеллигентнейшему русскому литератору.

Легко представить себе его радость от посещения его дома такими людьми, как Переверзев.

Получив на «Мосфильме» приличные деньги за роль в очередном фильме, в торговой палатке у Киевского вокзала я выбрал себе хороший галстук. Расплачиваюсь и вдруг чувствую на плече чью-то руку. Оборачиваюсь – передо мной Иван Переверзев.

– Здорово. Ну что, отоварился?

– Да.

– Надо «обмыть», а то носиться не будет.

– Надо, – с удовольствием соглашаюсь я.

Пошли в привокзальный ресторан, встретили там компанию знакомых актеров, тоже посетивших кассу киностудии. Просидели в ресторане до закрытия. Как всегда, показалось, что свое еще не досидели, и дружно двинули в аэропорт. В те годы аэропортовский ресторан работал до утра. За все платил я – обмывали мой галстук. К шести утра от полученных денег почти

ничего не осталось. Наконец закрыли и этот ресторан. Наши товарищи разъехались по домам, остался я и Переверзев.

У Ивана было одно удивительное свойство – обаятельнейшая безапелляционность! Даже если он говорил что-то не всегда верное, не согласиться с ним было очень трудно.

– В Ленинград! – скомандовал он.

Почему в Ленинград, зачем в Ленинград? Казалось бы, надо было задаться этим вопросом. Не задался! Иван идет к дежурному, нас сажают в маленький самолет ЛИ-2, салон которого завален мясными тушами, и утром мы уже в Ленинграде. Оказываемся перед дверью квартиры Василия Васильевича Меркурьева – актера театра имени Пушкина, народного артиста СССР. Иван нажимает на звонок.

– Кто там?

– Это я. Перевэ!

Меркурьев, припав к замочной скважине, громким полушепотом:

– Ты что, с ума сошел?! В такую рань! Ирина сейчас скандал поднимет!

– Выходи! Это я, Перевэ…

– Вы что?! Взбесились, что ли? Я детей воспитываю, как не стыдно? Я же чувствую, в каком вы состоянии. Я никуда не пойду!

– Если ты не выйдешь, – категорически заявляет Иван, – я с тобой разговаривать больше не буду!

Меркурьев за дверью покряхтел, повздыхал и решился:

– Иду.

В кафе у гостиницы «Европейская» собралась интересная артистическая компания. Просидели весь день, весь вечер. Денег ни у меня, ни у Ивана уже нет, кончились. Пора ехать домой. Меркурьев купил билеты. Приехали в Москву.

– Маенькая моя, а где твой галстук?

Я обыскал все карманы – галстука нет! Он стоил 13 рублей, наша поездка – более двух тысяч (в старых деньгах). Ни денег, ни галстука было не жаль!

Замечательный пограничный городок Ужгород. Часть съемок фидьма – здесь. В гостиничном «люксе» Перевэ и я.

8 утра. Болит зуб. Адски! В 9 утра приходим в поликлинику. В 9.15 уже сижу в кресле. Надо мной колдует зубной врач женского пола и очень симпатичный. По-русски говорит с легким акцентом, что придает ей еще больший шарм. Мадьярка… Рядом, в ожидании клиента, не менее симпатичный доктор, тоже слабого пола, но не венгерского, а чешского происхождения. Не менее неотразимый, нежели тот доктор, который убивает мышьяком

мой нерв, а своим видом – меня.

Иван же своим видом, по-моему, убивает того доктора, который с ним беседует. Но и сам он – я вижу – под легким… мышьяком. В 10.00 закончена экзекуция… Несу себя и мышьяк в гостиницу. Говорю Перевэ, что моя отравительница назначила мне свидание на завтрашний вечер по случаю удаления мышьяка.

– А я, маенькая моя, им обоим. На сегодняшний вечер… На восемь. Поболтаем, а потом на 9-часовой сеанс в кино сходим, меня молодого вспомним – «Парень из тайги» посмотрим.

Я, несмотря на мышьяк, высказал предельный восторг.

С 11.00 до 20.00 безвылазно сидели в номере гостиницы, так как на улице несусветная жара, а в номере всего 30 градусов (не считая 40-градусного зелья, которое мы для уравновешивания температур позволяли себе «дегустировать»). Меню: два огурца, яблоко и несколько слив. В 20.00 стук в дверь, а мастера-дегустаторы в плавках, в номере накурено, на столе не убрано.

Перевэ открыл дверь, не осведомившись, кто стучит (про назначенное свидание, конечно же, в «трудах» запамятовали). Открыл и… вдохнул в себя аромат духов! Две принцессы – зубных дел красавицы! Та, которая «отравила» меня, сказала: «О! Боже!», а та, которая Ивана, – «Иезус, Мария! Який кошмар!». И, захлопнув двери, обе феи улетучились.

Перевэ почему-то очень медленно закрыл дверь… и сел в кресло, стоявшее тут же. В плавках он напоминал мне дежурного лодочной станции, безразличного ко всему, с потухшим взглядом на перспективу сдать лодки в прокат. Почему именно похожего на лодочника – не знаю. Пути нашей фантазии неисповедимы… Я почему-то включил транзистор, из которого – никто же не поверит! – зазвучал медленный марш, похожий на траурный, и присел на стул.

Минут двадцать мы вот так и сидели, глядя друг на друга и не сказав ни слова. Затем одновременно, как по команде невидимого волшебника, глянули на сосуд, молча поднялись, подошли к зелью, налили… Но раздался стук в дверь.

Боже! Если бы кто-нибудь мог увидеть, какие метаморфозы произошли с двумя ухажерами! В бешеном темпе, в мгновение испуганного и виноватого ока хлопчики оделись, и только на третий стук один из них робко спросил заискивающе:

– Кто там?

– «Скорая помощь», – с каким-то новым для нашего уха акцентом (как потом оказалось – польским) ответил мужской голос.

Действие следующее.

За столом – молодой доктор в белом халате и два ухажера.

Все солидно навеселе. Все рассказано-переговорено. Оказалось, что появление «скорой» было инсценировано оскорбленными мастерами зубных дел… Конечно же, наш вид (оголенный до предела) в глазах принцесс показался признаком явных – или помешательства или вспышки хамства, требовавших медицинского вмешательства, то есть «смирительной рубашки»!

Побеседовав с нами, доктор убедился, что мы вполне нормальные пациенты, и, даже признавшись в любви Переверзеву, согласился пригубить «семь капель», как он сказал, за наше здоровье. Очевидно, наш веселый настрой притупил его гражданскую бдительность настолько, что «семь капель» превратились граммов в 400, а скромная наша закуска довела его организм до такого неправильного обмена веществ, что он впал в состояние философской анемии и, приложив щечку к радиоприемнику, «бросил якорь» и заснул. Иван Федорович, узнав по телефону у администратора гостиницы, что нашего дружка-медика ждет машина с двумя санитарами, попросил их зайти к нам в номер с носилками…

Выносили доктора любовно, бесшумно, заботливо. Чуть-чуть – и мы заплакали бы: у нас отобрали что-то, ставшее родным…

А мышьяк из моего зуба вытаскивали в другом лечебном заведении – и мужчина… Принцесс и доктора «семь капель» мы не видели больше…

К зубным врачам-женщинам я больше никогда не ходил. Если и приезжала ко мне где-нибудь «скорая», прятал алкогольные напитки. Так спокойнее!

P.S. Через 16 лет в г. Ессентуки в антракте моего сольного концерта за кулисы зашла очень солидная дама и с легким венгерским акцентом спросила: «Вы не забыли из зуба удалить мышьяк?»

Иван Переверзев, производивший впечатление благополучного, счастливого, всеми любимого, красивого мужчины, сводившего, как говорится, с ума не одну женщину, не будучи ни на йоту ловеласом, на самом деле был весьма далек от устроенности в жизни, почти до конца своих дней не имея крепкого уютного уголка. В откровенных мужских разговорах признавался в том, что сам никогда не одерживал побед над женщинами, что все его увлечения, романы и даже «семейные гнезда» – результат побед женщин над ним. Как-то признался, что чувство истинной любви испытал лишь единожды, в молодости, и носил это неразделенное чувство в сердце своем тайком от всех на протяжении всей жизни.

В самые последние годы судьба принесла ему успокоение от суеты, подарив в жены красивую, внимательную, оберегавшую его от легкомысленных поступков и компаний, от дурных привычек дымить табаком и по всякому случаю позволять себе поднимать бокал, следившую за его здоровьем, родившую красавца-сына Федю – Ольгу Соловьеву.

Боже! Как недавно, совсем недавно раздавался телефонный звонок и в трубке звучал знакомый, дорогой моему сердцу голос:

– Маенькая моя! Это я – Перевэ.

Мексиканские сны

23 октября 1987 года. Предстартовые эмоции то усмирял, то разжигал туман! Летим – не летим! Летим – не летим! Аэродромы на неделю «заснули». Тем не менее подготовка к броску через океан идет вовсю: что брать с собой? Какими средствами ослабить тяготы долгочасового перелета и акклиматизации? Какую одежду брать с собой? Одни безапелляционно твердят, что нас встретит 30-градусная жара, другие, как «истинные» мексиканцы, говорят, что 50-градусная, а третьи предсказывают по ночам или жуткий холод, или не менее жуткую духоту…

Больше всех, по-моему, хлопочет моя жена-«наседка». Она должна отправить своего птенчика (он же кот Масик 102 кг веса) во всеоружии. И если бы не ограничение веса багажа и протестующий писк и мяуканье «птенчика-кота», ее чемоданомания приняла бы угрожающий размах, а ее жертва выглядела бы не менее эффектно, чем знаменитый Тартарен из Тараскона перед восхождением на Альпы. Спасибо ей за заботу, спасибо за то, что она постоянно провожает меня в пути-дорожки (взять с собой жену советский артист или труженик, даже если бы и разрешили (ха-ха!), не решился бы, так как пришлось бы продать весь багаж, собранный в дорогу, и все, что на тебе и на ней. Пусть остается одетой!).

Летим! Летим… Объявляют, что в Шэнноне (Ирландия) непогода, поэтому произведем вынужденную посадку в Прествике (Шотландия). Два часа провели в аэропорте Прествика. Радовались и печалились одновременно! Радовались увиденному здесь и печалились за родину… Тишина, чистота, отсутствие толчеи (хотя пассажиров не меньше, чем в Шереметьеве). Абсолютное изобилие всего, что может представить себе человек, особенно наш человек… Специальная комната для инвалидов, коляски для передвижения инвалидов, обслуживают инвалидов монашки…

Объявлена посадка на наш рейс. Прямо из холла, застланного огромным ковром-паласом, входим в чрево нашего лайнера. Летим и, естественно, садимся… Шэннон. Денег – ни шиша. Выдадут только в Мехико. Наши «деньги» нигде никакие не деньги, а унижающие тебя фантики. За тонну этих фантиков не купишь и жвачку.

И вдруг: «Весник! Какими судьбами? Рад видеть!». Представитель «Аэрофлота» в Шэнноне! Отец родной! Благодетель! Кормилец! Приглашает к столу, угощает пивом, чуть-чуть крепительным. Заметил завидущие глаза двух народных

артистов и нашей переводчицы – пригласил и их на «пир». И приятно и неловко. Но так как угощал «наш человек» и так как договорились встретиться в Москве (встретились, и я в грязь лицом не ударил – «отомстил»!), то сдюжили «унижение» и воспользовались широтой душевной и карманной «родного человека».

Девятичасовой перелет в Гавану. После Шэннона впечатление от аэропорта Гаваны – словно ты в унитазе! Грязь, вонь, солдат с автоматом (конечно, нашим автоматом!), развороченные потолки, духота, запрет выйти на воздух. Талон на 200 граммов подслащенной воды. В буфетах кое-что есть за большие доллары. Наши деньги, естественно, – пипи-факс!

Можно увлекать идеями, но столь же успешно отвращать от них бытом! Зачем Кубу – талантливую, красочную, легкомысленную – превращать в подобие нашего Крыжополя?

Через 2 часа 20 минут приземлились в аэропорту Мехико. Ура! Все обессилили: самолетик-птичка одна и та же – аж с Москвы; пассажиры – одни и те же. А вот летчики разные – один экипаж до Шэннона, другой до Гаваны, третий до Мехико.

Влетели в сказку. Завтра, 25 октября 1987 года, начну переводить эту сказку на наш язык и с упоением читать, читать ее…

Гостиница «Фонтан». Метро «Хидальго». Из моего окна видны на горизонте Кордильеры без снеговых шапок.

Под окном, во дворе гостиницы, строится дом – возводится первый этаж. Незадолго да нашего приезда Мексику очень сильно «тряхнуло» землетрясение. Поэтому идет интенсивное восстановление жилья. Во дворе гостиницы развалины 6-этажного дома быстро разобрали, оставили фундамент и воздвигают новый, теперь уж 8-этажный современный дом. Работы идут круглые сутки, владелец дома днюет и ночует на строительной площадке в маленьком спальном автоприцепе.

Нам выдали по 120 долларов на 17 дней – по 7 долларов в день. К большой радости нашей мощной дружины Малого театра посольские работники рекомендовали нам в течение дня два-три раза «пригубливать» – во избежание возможных отравлений водой и разными соблазнительными, манящими своим видом и запахами всякого рода яствами. Водка и спирт стоят буквально копейки. Творческие работники дружно двинулись в винные магазины и в аптеки, так как в последних спирт стоил еще меньше, чем «змии» в магазинах!

Я «приземлился» в первой попавшейся аптеке, спросил, понимают ли в ней русский язык? «Нет!» – «Дейч?» – «Нет». Тогда я пальцем показал на литровую бутылку с нашлепкой «Алкоголь,

96°» и попросил дать ее мне в руки. Многообещавший сосуд был пластмассовый, стоимость – смехотворная. Оставалось одно препятствие: питьевой ли этот спирт? Как спросить? Я сыграл настоящий этюд с воображаемыми предметами: как бы налил в стакан спирт и медленно выпил его, после чего сделал паузу и сыграл умирающего человека – скрестил руки на груди, закрыл глаза и тихонько напел похоронный марш. Потом снова выпил воображаемый стакан, захохотал, сплясал коротенький радостный танчик, остановился и произнес, вопросительно глядя на аптекаря: «А?»

Тот прекрасно понял сыгранную мною пантомиму: как и я, он выпил воображаемый стакан, стал приплясывать и хохотать, а затем снова, как бы выпив, сложил руки на груди, закрыл глаза и сказал: «Но».

Не задумываясь, приобрел два бутыля и, напевая «шумел камыш, деревья гнулись» (почему, не знаю), двинулся на улицу. В окне аптеки улыбался, приплясывал и махал мне рукой симпатичный дядечка.

Ночью снились разные сны. Началось с того, что я увидел себя заспиртованным в купленном сосуде, в костюме балетного премьера, но поющего арию Гремина из «Онегина». Потом пошло-поехало: на борцовском ковре, почему-то в цирке, появился огромный дядя в спортивном костюме с шутовским колпаком на голове, большим наклеенным носом и фальцетом прокричал: «Я перестройка! Начинайте барабанить!» Барабанщик начал аккомпанировать «Большому носу», который корчился, хрипел, кряхтел, снял с себя колпак, затем нос и, сопротивляясь невидимому противнику, уложил сам себя на лопатки. Затем вскочил, крикнул «туш» и своей левой рукой поднял свою же правую, победную! «Кого вы победили?» – спросил барабанщик, когда невидимый оркестр закончил играть туш. «Свои недостатки! – ответил фальцет. – Теперь я перестроился и совершенно стерильно чист!» Он почему-то очень быстро растаял, превратился в маленькую лужицу, которую выбежавший на манеж щеночек быстро вылакал, поднял ножку и…

Привезенные нами спектакли – «Вишневый сад» А. Чехова и «Иван» А. Кудрявцева – имеют успех. Перед каждым актом – объяснение на испанском языке предстоящих на сцене событий. Поэтому зрительный зал эмоционально ведет себя адекватно нашим русским залам, а в некоторых случаях зрительский прием даже активнее, особенно во время спектакля «Иван». Это объяснимо: на сцене – простые люди «от земли», с обаятельной, открытой русопятостью. Ну, а для реакции на всякого рода

сценические интриги криминального или любовного порядка, на силовые сценические воздействия персонажей друг на друга нет языкового барьера. Какую светлую радость, какое торжественное чувство гордости за нашу театральную культуру испытываешь, когда по окончании спектакля зрительный зал стоя аплодирует тебе. Даже самые солидные зрители (очевидно, и официальные, и просто богатые) с восторженным выражением глаз не стесняются громко выкрикивать «браво!», «браво!» и часто – «спасыбо!» «спасыбо!». Ради таких мгновений не надо спешить стареть!

В номерах гостиницы в постоянно сменяемых прислугой сосудах – озонированная питьевая вода, чтобы избежать пользования водопроводной.

Заглянул в местный театр вместе с нашей переводчицей. Пустячковая современная комедия. Одна из сцен:

Дама кого-то ждет, нервничает, посматривает на часы. Наконец в глубине сцены появляется красавец-мужчина. Он протягивает в ее сторону руки и очень громко, буквально рыча, прокрикивает какой-то короткий текст. Затем подбегает к ней, бросается на колени и еще громче, в каком-то патологическом неистовстве, повторяет сказанное.

– Что он ей говорит? – спрашиваю у переводчицы.

– Ну, в общем, что он ее очень любит! – отвечает она.

– Но зачем же так зверски кричать? Можно ведь и поспокойнее.

– Тогда это будет означать, что он ее меньше любит. Не очень страстно.

– А если признаться в любви нежно, тихо?

– О, нет, нет, нельзя! Это будет означать, что он ее совсем не любит; более того, что она ему неприятна. Что вы! Это трагедия! Спокойный мужчина – это не для мексиканского театра! Любящий мужчина – это, извините, племенной жеребец! Иначе нельзя!

Спектакль был принят зрителями весьма холодно. Мною – никак. Эта, если можно сказать, традиция, не мешала мексиканцам замирать во время сцен наших спектаклей, в которых мы, переполненные большими чувствами, говорили друг с другом очень напряженно, но тихо, чтобы не расплескать «кипяток» сердца и души! О, как они слушали такие сцены и какими жаркими аплодисментами награждали нас за них!

Прошло два дня. За окном заканчивают второй этаж. Много рабочих, подъездные пути к стройплощадке чистые, просторные, заасфальтированные, грязь никуда не разносится – ее нет. Рядом

проезжая часть не сужена, не перекрыта.

В пять утра напротив входа в наш отель собирается компания прилично одетых молодых людей, с мотороллерами, маленькими мотоциклами, велосипедами. То ли из типографии, то ли из редакции газеты, то ли со склада молодые люди получают большие пачки газет, журналов, брошюр и разъезжаются в разных направлениях. Кто они? Оказалось, почти все – дети богатых людей, подрабатывающие для карманных расходов продажей печатной продукции или ее транспортировкой в газетные киоски. Богатые мексиканцы не балуют детей своих деньгами, приучают их самих трудиться. Только после окончания института и получения диплома, да еще убедившись в том, что дитятко не балбес, тогда уж всерьез помогают встать ему на ноги и тут уж не жалеют ничего!

Вот бы на Руси так было! Дураков бы поубавилось…

Днем в городе полиция – дамская, ночью – мужская. Дамы на подбор: красивые, стройные, вооруженные и с наручниками на поясах – для «желающих» надеть их на кисти своих рук. Все дамы обязательно владеют приемами каратэ, дзюдо, джиу-джитсу (по нашим понятиям – на уровне 1-го спортивного разряда, как минимум!). Двум дамам ничего не стоит усмирить трех-четырех кавалеров и красиво уложить их на тротуар, что я имел удовольствие видеть в городе Гуанахуато. В этом городе находился центр фестиваля искусств, удивительно красиво названного «Сервантина» (от Сервантес), на который мы и были приглашены.

Ночь прошла без снов. Но открыв глаза в 7 часов утра и глянув в окно, увидел настоящий «сон» – заканчивалось возведение третьего этажа дома.

В Москве ограждение (ограждение!) нашего высотного здания на площади Восстания ремонтируется третий год. Улица Герцена перекрыта уже больше года – меняют трубы!

В Мехико изобилие яств: на каждом углу что-то жарят, парят, варят, мешают, выжимают, наливают, выливают… Но не надо обманываться: это изобилие не столько «для человека», сколько способ заработать. Рядом с продающими часто встречаются детишки. Я ни разу не видел, чтобы они ели то, чем торгуют папа и мама: обязательно что-нибудь купленное в больших магазинах – фрукты, овощи, сладости, напитки… Папа и мама торгуют и зарабатывают для того, чтобы сами они и их дети не ели того, что

предлагается прохожим. Зачастую это пережаренное или недожаренное мясо, какая-то мешанина на не очень свежей сковороде, лепешки из кукурузной муки разных форм и размеров. Запах манит, дразнит, но боязно – напугали!

Наша гостиница «Фонтан» хороша, ничего не скажешь. Чистота и порядок. Тишина. Уют. Сервис. А все потому, что высокий класс гостиниц – гарант прибыли! Не важно трех-или пятизвездочная эта гостиница. Хочешь в трех-, хочешь в пятизвездочную – это дело твоего кармана, но в любой – порядок, сервис, уют. У нас тоже есть гостиницы разных категорий – от высшего разряда до III-го. Но порядок и уют только в тех гостиницах или номерах «люкс», которые предназначены для партаппаратчиков, КГБ и МВДистов, депутатов, министров, ревизоров, мафии, воров в законе… за счет непорядка и отсутствия сервиса во всех других гостиницах и номерах для «хозяев» страны, то есть для плебеев-трудящихся. «Что делать?» – задавали вопрос.

Что же делать с нашими гостиницами? (Глянул, кстати, в окно – третий этаж воздвигнут, начат четвертый – время 23 часа.) Так что же делать?

Ночью во сне увидел ответ. Все гостиницы нашей страны за отсутствие горячей воды, за присутствие клопов и тараканов, за рваное белье, за ободранные обои, за отсутствие пипифакс, мыла, зеркал, электрических лампочек, вешалок, за неработающие телевизоры, радиоприемники, за плохое отопление зимой и за отсутствие кондиционеров летом, за грубость администрации, невоспитанность и неряшливость буфетчиц и официантов, за плохо работающие телефоны, за отсутствие в номерах справочников, почтовой бумаги и холодильников и т. п., и т. д. – все гостиницы страны платят большие деньги – штрафы, неустойки, компенсации всем, всем, всем оскорбленным, униженным, оплеванным и пострадавшим от кошмарного сервиса советских отелей!

Мне снилось, как бородатый бухгалтер, очень похожий на автора знаменитой книги «Что делать?», на костяшках огромных счетов, прибитых к географической карте страны, доказал, что штрафных денег могло бы хватить на то, чтобы на месте «больных» гостиниц построить новые, современные – для людей, а не для вывески и отчетов. И отдать их в аренду китайцам, корейцам, шведам, прибалтам, японцам, папуасам, которые платили бы налоги. На них можно было бы построить замечательные автострады, по которым скоростными караванами – туда-сюда – сновали бы разные товары, торговля

которыми – продажа и покупка – приносила бы огромные прибыли. На эти прибыли можно было бы нанимать учителей школ, преподавателей институтов, настоящих воспитателей нового поколения, способного приподнять страну благодаря своему высокому интеллекту, морали, этике, своей независимости от идеологий и партий и перевести ее с узкой колеи на нормальную, идущую параллельно с логикой природы…

Но зазвенел будильник и вернул меня на узкую колею. Бухгалтера с бородой в комнате не было. До слез обидно. Обманщик!

Глянул в окно: четвертый этаж готов. На часах 7 часов утра!..

По дороге в город Сан-Луис-Потоси.

Гид: справа вы видите огромные кактусовые плантации. Кактус – уникальное растение. Из этого растения получают спирт, делают сладости, выжимают сок, производят разные лекарства. Вы видите домик-времянку владельца большой плантации: нищенская развалюха, захламленный дворик. Тяжелый труд плантатора и, как правило, всей его семьи под палящими лучами солнца, при отсутствии должного количества воды, приносит им нищенский доход. Теперь посмотрим налево…

Все головы пассажиров повернулись справа налево. Не знаю почему, но я не поддался команде и провожал взглядом удалявшийся от нас домик-развалюху. Открылась картина, противоположная той, которую мы разглядывали во время пояснений гида: я увидел маленький самолет мест на пять-шесть.

– Смотрите, смотрите, – обратился я к сидевшему рядом со мной нашему посольскому работнику, – у нищего – и самолет! Вот это я вам скажу…

– Да, да. У каждого из плантаторов свой самолет. А как же! Добираться сюда из города долго, дорога пыльная, жара. А по воздуху считанные минуты тратятся на дорогу, да еще ровный ландшафт – сплошной аэродром.

Гид своего самолетика не имел – он летал на рейсовых, спирт не гнал, но пил, повидло не варил, но ел и прекрасно себе жил и поживал. Он не имел привычки задерживать свое внимание, направленное направо, он спешил повернуться скорее налево!

Город Сан-Луис-Потоси – административный центр штата того же названия и центр добычи цветных металлов. Жителей не так уж много – 350 тысяч. Очень много приезжей молодежи – студентов основанного еще в XVI веке университета. Много церквей XVII и XVIII веков в стиле барокко. Очень музыкальный город: в парках и симфонические, и духовые, и джазовые оркестры. На улицах множество оркестриков из трех-четырех

музыкантов и солирующих исполнителей: на саксофонах, гитарах и замысловатых экзотических народных инструментах. Не нищих, нет-нет – просто развлекающих публику в дни международного фестиваля искусств «Сервантина».

Просящего милостыню тоже видел, но для нашего глаза уж очень непривычного вида и настроя: с банджо в руках, в старинном индейском костюме, постоянно улыбавшегося, никому из подававших не кланявшегося, вслух никого не благодарившего и, самое главное, – ни у кого и ничего не просившего. За него все это проделывал шустрый мальчишечка, очень похожий на худенького крепыша-цыганенка лет 7–8. Подаяния он собирал в шляпу с огромными полями – и довольно щедрые денежные, и самые разнообразные продуктовые: то яблочко, то банан, то конфетка. Маленькая девочка положила ему в шляпу небольшую куколку. Мальчик вернул ей куколку, да еще угостил бананчиком. Она посмотрела на свою маму, та что-то ей сказала, после чего девочка присела в книксене, надула губки и снова положила в шляпу свою куколку. Мальчик не растерялся, вынул из шляпы монетку, купил в рядом стоявшем киоске порцию мороженого в вафельном конусе и вручил его своей трехлетней даме. Та опять посмотрела на маму, затем осторожно, двумя ручками взяла лакомство, смешно присела в книксене, замерла на месте и с большим знанием дела принялась слизывать розовую ароматную сладкую массу.

Съестные подаяния малец азартно поглощал во время исполнения своим «патроном» очередного музыкального опуса на банджо, преимущественно джазово-синкопированного, с редкими, но громкими гортанными выкриками или присвистами и с непременным притоптыванием. Чем бы ни занимался цыганенок – собирал ли подаяния, грыз ли яблоко, разговаривал ли тихонько с кем-нибудь из слушавших музыку – он всякий раз, буквально рефлекторно подхватывал выкрики и присвисты своего патрона и непременно при этом изо всех сил притоптывал ножонками и абсолютно синхронно с ним. Я долго наслаждался этим маленьким музыкальным спектаклем!

Но все-таки лучший оркестр города – это колокольный звон! Это неописуемо! Это необходимо слушать.

Сан-Луис-Потоси – город и разнокрасочный, и разночистый, и для разнобогатых. Рядом с симфоническим оркестром, играющим Штрауса, можно увидеть, как три полицейские дамы-красавицы укладывают в парке на траву пятерых дравшихся между собой мужчин, «одаривают» их браслетами-наручниками и отправляют на вызванной по рации полицейской автомашине в участок. При входе в очень дорогие рестораны, как правило, продают

доступную каждому прохожему снедь на фирменных одноразовых тарелочках, с возможностью самому положить на них приглянувшийся гарнир и соус. Стоит еда на улице раз в двадцать дешевле той, что подают в помещении ресторана. Она – еда – почти та же. Но сервис! Вот он-то и стоит дорого.

Но есть нечто, превосходящее все впечатления. Это нечто – радостный настрой буквально всех-всех, кого видишь занятыми своим делом: торговцев фруктами, кокосовыми орехами или молочком, музыкантов, водителей такси, полицейских дам с улыбками на лице, с пистолетами на боку и с висящими наручниками на поясах, играющих детей, бабушек, художников, продающих свои тоже радостные картины, целующихся на улице влюбленных, швейцаров отелей, зазывал в магазинах и даже продающих билеты на наши спектакли… Одним словом, как ни в одном из городов мира, в которых мне довелось побывать, в каждом ощущается как бы угаданное им самим свое призвание! При всем желании невозможно обнаружить чванливого человека – это было бы очень смешно! Здесь невозможно искусственное возвеличивание должностного лица над остальными, если и есть превосходство ума или образованности, оно естественно!

Город Гуанахуато – город очень театральный, музыкальный, с многими отелями, в том числе для архибогатых людей; административный центр штата в центральной части Мексики и района месторождения серебряной руды, добыча которой началась еще в XVI веке.

Играем спектакль «Иван» по пьесе А. Кудрявцева. Действие происходит в русской деревне, в нашем военкомате, райисполкоме, в сельском доме героя пьесы. Трудно было предвидеть тот активный доброжелательный прием, который был оказан спектаклю, содержание которого ну никак не монтировалось с мексиканским образом жизни, далеким от всяческих русских проблем, во многом надуманных, нелогичных, самим нам непонятных и обрыдлых. И вот поди ж ты. И аплодисменты, и «браво»!

Я предстал перед потомками ацтеков в роли советского генерала, но не трафаретного героя, спасителя-мудреца, проповедника всепобеждающей идеологии великих Маркса-Энгельса-Ленина (Сталин из «святого» ряда «выпал»), а сердечного человека, способного от чувства своей вины перед другим человеком не постесняться своих слез, способного покаяться в грехах, попросить прощения и даже, в порыве откровения, вдруг перекреститься. Мне пригодился опыт

воплощения на сцене Волгоградского драмтеатра в пьесе Ю. Чепурина «Сталинградцы» маршала В. И. Чуйкова (о чем я расскажу в следующей главе) и воспоминания о моем командире 5-й гвардейской артбригады Александре Федоровиче Синицыне. Оба – и маршал и полковник – были достойны того, чтобы быть прототипами моего художнического, обобщенного сценического образа генерала, так как являли собой – Чуйков по рассказам, а Синицын по моим личным наблюдениям – Человеками большой, доброй души, а следовательно, богоугодными, что всегда достойно и подражания, и преклонения.

После спектакля за кулисы под ручки привели старенькую, очень бодрую и симпатичную зрительницу, оказавшуюся русской эмигранткой, покинувшей Россию сразу после «окаянных дней». Лет ей было, на глазок, ну о-о-очень много! Глядя на меня в старинный бинокль-лорнет, представилась:

– Я – Наташа из Мытищ. Головины мы. У нас свои дома и лабазы были. – Она говорила с легким акцентом, то ли испанским, то ли английским, а скорее всего, и с тем и другим. – Мне через три месяца 90 лет. Да… да… Никогда не думала, что увижу на сцене частичку России, и так растрогаюсь, ну прямо до слез. Спасибо Вам. Вы так играли! Вы покорили меня! Да и всех. Благодарю. Я и предположить не могла, что советские генералы одеты ну совсем как белогвардейцы. Ах, как Вы играли! Вы меня привели в экстаз…

– Мадам, – я стеснительно поклонился, – для меня это высший комплимент!

– В духовный, – засмеялась Наташа из Мытищ. – В духовный! А Вы знаете, я с Вертинским целовалась. – И она напела какую-то неизвестную мне мелодию, затем игриво засмеялась и добавила: – Он такой большой и очень милый. Скажите, а Колчак жив?

На этот ее последний вопрос никто не мог ответить, и поэтому он как бы повис в воздухе.

– Натали, пора домой! – сказал вошедший мужчина, выглядевший лет на тридцать моложе Натали.

– Мой муж, – представила вошедшего гостья, – тоже русский. Да хранит Бог Ваш театр.

Пребывание в одной из уютных, среднего шика и блеска гостиниц города Гуанахуато подарило мне знакомство и весьма содержательное общение со швейцаром при входе – мужчиной 65 лет, ацтеком, со смуглым мужественным лицом, добрейшим выражением глаз и атлетическим телосложением.

В холле гостиницы на полукруглом, приставленном к стене диване круглосуточно – за исключением промежутка между тремя

часами ночи и семью утра – восседали за чашечками кофе, бутылочками воды и даже бокалами вина переводчики практически со всех ходовых в мире языков на испанский: человек 5–6, не более, но владевших, как минимум, 3–4 языками каждый! Обращение постояльцев к швейцару или к находившемуся недалеко администратору отеля тотчас же переводилось, и диалог разноязычных элегантно переходил в диалог понимающих друг друга собеседников.

Моя дружба со швейцаром началась с того, что он научил меня устанавливать на ручных электронных часах, впервые мною приобретенных, обозначение года, месяца, дня и времени. Ну, как отблагодарить за урок? Конечно, посредством приглашения к стойке бармена.

– Два по сто водки, бутылка пива, орешки, – сказал я и тут же был переведен на испанский. Глянув на переводчика, добавил: – Три по сто.

Переводчик отрицательно замотал головой и с ужасом в глазах почти на чистом русском отреагировал:

– Нет, нет! Что вы! Это много. Мы не можно так много. Половинка. Швейцар может – он из степей, из пустыни, там крепкий мужчина. Мне пятьдесят грамм.

– Хорошо! А бармен тоже из степей?

– О, да, да!

– Значит так. Пусть даст нам бутылку водки, а там видно будет…

За разговорами бутылка была опустошена, орешки съедены, но самое примечательное – переводчик в пылу своей культуртрегерской миссии и не заметил, как в деле опустошения сосуда принимал участие на совершенно равнопраммной с нами основе и – ничего! Все было нормально! Когда в конце нашей беседы я спросил, не из степей ли и он тоже, он ответил, что родился на самом краешке пустыни. А диалоги наши были заслуживающими того, чтобы их привести, тем более что они сохранились на моем диктофоне.

Швейцар. М-да-а-а… Наделало беды землетрясение. Но ничего, народ наш трудолюбивый, все поправит, все восстановит. Часто слышу: «Мир спасет красота!» Нет. Мир спасет, нет-нет, не Бог, а труд и справедливость.

Я. А что такое справедливость?

Швейцар. Люби ближнего – вот тебе и справедливость. Помогай другому.

Я. Что самое-самое лучшее в нашей жизни?

Швейцар. Сказки.

Я. А самое-самое плохое?

Швейцар. Смерть.

Я. Самый плохой человек?

Швейцар. Безбожник.

Я. А самый лучший?

Швейцар. Умеющий радоваться успехам других людей.

Я. Самый красивый?

Швейцар. Самый добрый. Он может быть внешне даже уродом.

Я. Самый некрасивый?

Швейцар. Самый жадный. Он может быть внешне очень симпатичным.

Я. Любимое занятие?

Швейцар. Вспоминать все хорошее!

Я. Самое нелюбимое занятие?

Швейцар. Ругать людей! И еще… смотреться в зеркало! Там видишь не то, что о тебе говорят, или не то, что хотелось бы видеть.

Я. Самое-самое трудное?

Швейцар. Самое трудное распознать честную, порядочную женщину. Это так же трудно, как на глаз определить вкус груши.

Я. А самое легкое?

Швейцар. Ничего не делать и стать бедным.

Я. Наших из Малого театра уже всех узнаете?

Швейцар. О! Да, да. Легко узнаю…

Я. Нравятся Вам наши люди?

Швейцар. И да, и нет. Нравятся потому, что, в отличие от всех туристов, они тихие, скромные, послушные. Не нравятся своей скованностью, необщительностью, бедностью, стадностью.

(В вестибюле отеля появилась группа наших вспотевших от жары и утомленных артистов – человек 7–8 с авоськами в руках, туго набитыми самой для нас доступной по ценам зеленью и фруктами. Швейцар приветливо поклонился вошедшим, легонько тронул меня локотком и вслед ушедшим прошептал сочувственно: «Папуасы!» – что не требовало вмешательства переводчика, родившегося на границе пустыни с цивилизацией.)

Я. Кто Ваш любимый герой?

Швейцар. Панчо Вилья. Он мой земляк! (Готовясь к поездке, я заглядывал в кое-какие справочники и в энциклопедию, поэтому надобности спрашивать, кто это, не было, так как знал, что Панчо Вилья (настоящее имя Доротео Аранго (1877–1923 гг.) руководил народным движением в период Мексиканской революции 1910–1917 гг.) О! Это человек! Он был настолько популярен в народе, любим и почитаем, что мог бы стать самым-самым главным в Мексике, ну, президентом даже. Но узнав, что президент должен

быть в курсе всех и всяких дел, отвечать за все и вся в стране, отказался от всех чинов и должностей, сказав: «О! Это не моего ума занятие! Не потяну». Это человек! Сейчас политики друг друга унижают и каждый убеждает страну, что он – лучший из лучших, что он, только он все знает и понимает. А Вилья – «не потяну»! Молодец! А еще… жену люблю и ненавижу. Она у меня портниха, хорошо зарабатывает, всем хороша, но любит выпить и… Не знаю, но Вам скажу по секрету, по-моему, один из трех сыновей, черт его знает, может, я и не прав, но… иногда думаю… не мой. О-о-о! Тогда ненавижу ее, но убить не могу. Люблю!

Он заскрипел зубами, зарычал как зверь и буквально «вплеснул» в себя остаток недопитого горячительного.

Я попросил подсчитать убытки. Между барменом, также участвовавшим в нашем «мальчишнике», переводчиком и ревнивым швейцаром состоялся молниеносный митинг, и мне было заявлено:

– Нас никто из туристов никогда не угощал. Мы Вам очень признательны, мы понимаем Вашу широкую русскую натуру и не хотим испортить Ваш душевный порыв. Поэтому договорились сделать так: вы заплатите только за орешки, а так как пиво и водка здесь в отеле стоят в 25 раз дороже, чем в супермаркетах, вы в городе купите такую же бутылочку пива, такую же – водки и отдадите их бармену.

Ударили по рукам, похлопали друг друга по плечам и спине и разошлись как добрые друзья, как в Москве. Здесь, в Мексике, в городе Гуанахуато, как в Москве!

В одной из наших частных бесед мой новый друг рассказывал о своих впечатлениях от наших двух спектаклей:

– «Вишневый сад» – это не о нас. Это о других людях, о другом времени. Их трудно понять. Здоровые, а все чем-то недовольны, нытики! По-моему, все они притворы. А вот «Иван» – это о нас, о теперешних людях. У русских все так же, как у простых мексиканцев, только одежды другие. Не такие все горячие, а проблемы и поступки те же, что и у нас. Артисты некоторые очень уж стараются, пыжатся, потеют, ну прямо как наши артисты! Наши ведь кричат, краснеют, тяжело дышат – это все надоедает! А те ваши артисты, которые не пыжатся, а спокойно рассуждают, тихо плачут, переживают, очень нравятся. Ну, очень! Сидишь как будто не в театре, а дома со своими родными. Хорошо! Сколько разных представлений идут в Вашем театре?

– У нас две сценические площадки – основная и вторая, в филиале. На каждой сцене пьес по 8–10, разных авторов.

– А каких больше – о современных людях или об ушедших?

– Об ушедших больше.

– Не понимаю, как же так? Разве важнее то, что было?

– Нет, конечно. Хороших пьес о нас, живущих, мало.

– Это плохо. Это стыдно. Значит, ваши авторы не знают сегодняшнюю жизнь или не хотят говорить правду. Или просто неталантливые авторы. У нас в городе только один театр играет исторические пьесы, даже русские, конечно на испанском. Я смотрел спектакль под названием «Гроза». Ну, все-все как у нас, и пели под гитару. Ну, как у нас. А в других театрах, их у нас больше десяти, идут спектакли про нашу теперешнюю жизнь. Очень злободневно! Наши зрители часто участвуют в происходящем на сцене – советы дают артистам выкриками, поддразнивают или осуждают поступки артистов. А если на сцене критикуют власти – о-о-о! – это замечательно: зрительный зал тогда превращается в митинг. Успокоить его трудно, иногда даже антракт объявляют, чтобы люди пива, вина или воды попили. Много музыкальных театров. Зрители подхватывают мелодии спектакля. Это прекрасно! Хорошо, когда на сцене о сегодняшнем дне говорят и помогают во многом разобраться своим умом. На исторические спектакли ходят, в основном, студенты и школьники.

Я тогда понял, почему мексиканцы посещали спектакль «Иван» с большей охотой, нежели «Вишневый сад», и принимали первый более активно. Но отзывы, самые восторженные, давали о том и о другом равногорячие.

– Вы заправский театрал! Театровед! – похвалил я швейцара.

– Я двенадцать лет работал в разных театрах. Был я и электриком, и помощником режиссера, и даже маленькие рольки в комедиях играл, даже с текстом – две-три реплики. Сейчас часто в театр ходим всей семьей. Брат мой младший – администратор в главном городском театре. Меня инфаркт сломал, но я еще ничего себе. Видите, могу и чокнуться.

В автобусе, который вез нас на спектакль, «один из наших руководителей» проявил незаурядные юмористические способности, сказав: «Молодец Весник, всегда найдет себе эрудированного собеседника: то пастуха в Щелыково, то рыбака в Рублево, теперь вот швейцара в Мексике!» Затем он встал во весь свой талантливый рост, повернулся лицом к народу, нашему родному, восседавшему в салоне. Держа в руках несколько разных газет (1987 год), с горящими политической благонадежностью глазами, со свойственным ему глубоким, как художническим, так и философским мышлением, он торжественно объявил:

– Товарищи! Два дня назад, на симпозиуме *(на каком не помню.* – **Е.В.***)* Михаил Сергеевич Горбачев произнес

замечательную речь. Он призвал великий русский народ и все другие народы к консенсусу и вселил уверенность в благополучном исходе перестройки, так как объявлено ускорение всего и вся. С ним на симпозиуме была Раиса Максимовна. Поздравляю вас. – Он зааплодировал.

За ним многие тоже зааплодировали, но так как в это время автобус прибыл на место назначения и остановился, получилось так, что мы благодарим аплодисментами шофера за артистизм вождения. Водитель встал из-за руля и стеснительно поклонился пассажирам. Хорошо получилось, очень хорошо, потому что аплодисменты мгновенно приобрели другой смысл. Выходя из автобуса, никто не вспомнил ни о речи «одного из наших руководителей», ни о докладе генсека, ни любви его к супруге, все говорили про мага и волшебника – замечательного шофера нашего огромного автобуса, превращавшегося под его управлением в послушную игрушку – как «один из руководителей» под управлением газет в то же самое. «Вот бы ему, – подумал я, – со швейцаром мексиканским поговорить. Может быть, глядишь, и театру нашему чего-нибудь интересненького перепало бы. Да Бог с ними, с пастухами, рыбаками и швейцарами! Что они в разного рода „сквозных действиях“, „сверхзадачах“ да соцреализме понимают? Смешно!»

Перед отъездом из Гуанахуато я все-таки представил швейцару «одного из наших руководителей». Руководитель привык к полифоническому почитанию, поэтому мы со швейцаром маленько потратились и угостили его, после чего он очень хвалил и возносил простых людей.

Швейцар. Очень мне понравились Ваши спектакли! Только вот в толк не возьму – на сцене Ваших артистов не больше 10–15 человек, верно, господин?

Руководитель. Совершенно верно. (Он хотел было чокнуться, чтобы овладеть очередным подаренным глотком, но швейцар остановил его.)

Швейцар. Наш администратор сказал мне, что Ваша делегация состоит из почти 50 человек. Это что – охрана?

Руководитель. Нет, нет, что вы! *(Хохочет.)* Очень остроумно! Нет, это представители дирекции, помощники режиссера и режиссеры, суфлеры, гримеры, врачи и осветители, художники и рабочие сцены, заведующий постановочной частью, электрики, председатель профкома и парткома.

Швейцар. *(зашелся смехом)*. Богато живете, поэтому и бедные! Наш театр на гастролях и в Англии, и в Испании, и в Греции пользовался услугами местных и гримеров, и электриков, и рабочих. На гастроли едут только артисты. Это дешевле

обходится, и артисты больше зарабатывают.

Руководитель засмеялся, чокнулся со швейцаром, выпил последнюю рюмку, загрыз орешками и подытожил «заседание»:

– Очень толково говорите, очень! Было приятно познакомиться! А страна наша действительно великая и богатая, поэтому чужими услугами не пользуемся ни у себя, ни в заграничных гастролях. Спокойнее, знаете ли. Приезжайте! Буду рад Вас видеть в Москве! – Он похлопал моего друга по плечу и ушел. Друг что-то сказал, а переводчик тихо перевел его слова:

– Большой человек. Добрый! Такого и угостить не жаль.

7 ноября. Праздничный прием в нашем посольстве в Мехико. Какое-то не поддающееся описанию волнующее состояние поселяется при посещении в чужой стране клочка земли, принадлежащего всем нам за кордоном, где встречаешься с земляками.

Знакомлюсь с приглашенным на прием мексиканским дипломатом, когда-то работавшим в Союзе и прилично говорящем на русском языке.

– Малый театр – замечательный, страна ваша – очень замечательная и очень трудная. Но очень бесхозяйственная ваша страна. Очень много бюрократов. Нужно везде делать скачки с барьером. Жизнь ваша – это конкур с препятствиями. И знаете почему?

– Почему?

– Вы всегда неправильно пели одну строчку в песенке: «кто был ничем, тот станет всем». Это так не бывает, это так невозможно. «Кто был ничем» может стать «всем» только через силу, бандитство, убивание других. Очень неверные строчки в песне.

Такие глупые строчки есть в каждой стране в разных песенках. Я делаю коллекцию таких глупых строчек. У нас тоже есть такая песенка, что я должен любить каждого президента. А если плохой президент? Все равно нужно любить?

– О! Раз Вы коллекционируете такие перлы, я сделаю Вам праздничный подарок: более глупую строчку, чем та, которую Вы привели.

– Пожалуйста! Прошу Вас! Я очень Вам благодарен! Вот ручка, вот блокнот. Я слушаю и записываю.

– «А вместо сердца – пламенный мотор!» – тихо и медленно спел я.

– Не может быть! – воскликнул он и записал новый «экспонат» в свою копилку.

Через день я встретил коллекционера в театре. Он зашел ко

мне в артистическую уборную поблагодарить за спектакль «Иван». Вместо принятого приветствия «добрый вечер» или «здравствуйте» он, пожимая мою руку, громко спел: «А вместо сердца – пламенный мотор!» На что я ответил: «Непременно любите любого Вашего президента». Мы обнялись как старые друзья – коллекционеры музыкально-поэтических шедевров!

Хлебосольный, очень красивый прием-банкет закончился в четвертом часу утра. Решили добираться до отеля пешком.

– Видите над башней луну? – сказали нам. – Вот и идите прямо на луну к башне. За ней – ваша улица и отель. Доберетесь минут за 20.

Прошли метров 200. Луна скрылась за облаками, а башня за домами. Куда идти? На наше счастье – навстречу полицейский на мотоцикле. Останавливаю. Показываю на каждого из нас троих, считаю – раз-два-три, для верности еще и по-немецки – айнц, цвай, драй. Протягиваю визитку нашего отеля «Фонтан» и, подложив под свою щеку ладонь, слегка похрапывая (хр-хр-хр!), даю понять, что мы, дескать, спим по указанному адресу, но… Я зашагал на месте, «озвучил» шаги – топ-топ-топ, приподнял плечи и развел руками.

Полицейский заулыбался, закивал головой – дескать, все понял. Завел мотоцикл, движением головы пригласил следовать за ним и очень-очень медленно, чтобы не утруждать нас, проехал метров восемьсот. Затем остановился, показал, как и я, на каждого из нас, подложил ладонь под свою щеку, похрапел чуть-чуть, затем, присвистнув, показал рукой – прямо. Потом сказал или на испанском, или на «международном» – «отель „Фонтан“», – потопал ногами по асфальту – топ-топ-топ, снова свистнул и показал рукой – вперед! Зафырчал мотор, полицейский умчался навстречу новым встречам со всякого рода топ-топ-топами.

Остаток ночи в отеле подарил мне странный сон.

Огромное количество весов, очень разных людей почему-то в форменных кителях, представлявших всевозможные и многочисленные профессии. Раздевшись догола, все взвешивали, каждый отдельно, свою одежду, и на особых весах каким-то сложным образом – свой ум. У многих, очень многих официальных лиц первое перевешивало второе. И что очень странно – попадались ловкачи, которые умудрялись на чашу весов, взвешивавшую их ум, незаметно подбрасывать тяжелые гирьки. Но у них ничего не получалось: чаша с одеждой оказывалась тяжелее. Одежда же и ум умельцев, рационализаторов и другой трудящейся публики постоянно находилась в состоянии уравновешенности. А вот одежда

крестьян, влюбленных в землю и отдающих ей всю силу и душу полностью, ничегошеньки не весила: она уступала уму крестьянскому и даже не пыталась не то что перевесить, но даже уравновесить себя с ним. Потом стали бить в колотушки. На пьедестале появился огромного роста глашатай и радостно объявил результаты взвешивания: «Человечество должно быть благодарно выдающимся модельерам всего мира за их разного рода модели и повсеместное их внедрение в жизнь планеты, что позволило поднять вес красивого внешнего вида людей принципиально выше, а значит, сделать его весомее их вечно ошибающегося, грешного, преступного существа, то есть умственных способностей. Недаром мудрец сказал, что красота, а не ум спасет мир!»

Раздался жуткой силы взрыв. Весы взлетели в воздух, люди, выдавленные из кителей, исчезли. Остались только те, кто был с мозолями, с молотками в руках. Они, будто и не было взрыва, продолжали что-то делать: копать, строить.

Я открыл глаза и понял, что взрыв во сне был не что иное, как резкий звонок, призывавший новую смену рабочих на строительстве дома во дворе нашей гостиницы приступить к работе. Глянул в окошко – седьмой этаж был почти закончен!

Вот и промелькнули три недели. Что ж, хорошенького понемножку! Пора в дорогу собираться. Шикарные отели, потрясающие темпы строительства жилья, копеечный спирт, красавицы-полисменки, кактусы, индейцы, швейцар – все это очень хорошо, но березки и песочек на берегах Москвы-реки, Оки и Волги, вобла, раки, немножечко пивка да водочки, рыбалка и уха, родная, почти талантливая русская бесхозяйственность, проселочные дороги, ядреные наши бабы-красавицы – куда лучше! Ей-ей!

Прощай, красочная Мексика! Прощайте пирамиды, степи, пустыни, талантливые люди! Как хорошо было бы поскорее решить все проблемы на земле и стать всем странам единой Человеческой семьей! Дай Бог тебе, Мексика, красивой беспокойной жизни во имя мира и уверенности в спокойном будущем. Спасибо тебе за сомбреро, за песни, за красивых женщин! Спасибо за все!

Утром перед отъездом глянул в окно. На строительной площадке звучит музыка. Рабочие в чистых комбинезонах укладывают на крыше 8-этажного дома красивой конфигурации черепицу…

Мысли, конфузы, эпизоды на земле обетованной

Если бы мне когда-нибудь сказали, что у меня будет премьера («Леший» Чехова, роль Орловского) в Израиле! О!

Знание идиш или иврита совсем не обязательно, потому что, как сказал Леонид Осипович Утесов, «Все люди – евреи, но дело в том, что некоторые уже признались в этом, а остальные пока еще нет». Играем на русском.

8 февраля 1990 года. В 10.30 взлетели на Тель-Авив. Самолет (Ту-154) специальный – для нас. Много свободных мест. Передаю летчикам записку: «Группа экстремистов Малого театра требует посадить самолет в Ялте или Могилеве! Мы вооружены мощной бомбой под кодовым названием „репертуар“. По поручению группы Евг. Весник».

В ответ летчики прислали нам бутылку виски.

Летели 3 часа 30 минут. Сели! Гостиница на берегу Средиземного моря. Называется «Астор». Средненькая. В холле меня встречали знакомые москвичи – очень неожиданная встреча! Номер с балконом – вид на море. По прямой до моря – метров 200. Солнце. Чистое небо! Чемодан раньше меня поселился в номере. Кто принес? Когда? Не знаю. Встречающие и я накрываем импровизированный стол. Со свиданьицем! Не прошло и десяти минут – звонок! Беру трубку.

– Алло!

Женский голос на русском языке спросил:

– Вам скучно?

– Скучно.

– Могу зайти. Мне 24 года, у меня красивые глаза. Я веселая – ха-ха-ха!!!

– Очень приятно. Я вас жду, но имейте в виду, за визит я беру 350 шекелей.

В трубке – ту-ту-ту… Больше никто из «веселых» не звонил. (Мне.)

Позже портье гостиницы объяснил: «Вам звонить боятся. Девицы распустили слух, что приехал педагог по сексу и что уроки очень дорогие».

9 февраля. Ночью была гроза. Утром песок на пляже стал коричневым, а днем светло-желтым. Берег напоминает Прибалтику: Дзинтари, Булдури, Майори, Лиелупе. Чистота.

Очень много автомашин. Наших нет. Телевидение – две программы: одна местная, другая американская с титрами.

Реклама, реклама, реклама. (Евреи проиграли кому-то в баскетбол. Мне почему-то стало их жаль.)

Запомнился бегавший с нашим багажом человек – невысокий носильщик, уже в возрасте. У нас никто не бегает, у нас все важные (наш носильщик – монумент).

Видел купающихся. Интересно, какая температура воды? Здесь ведь зима – февраль!

7 часов утра. Хорошо. Воздух свежий-свежий. Давно так не дыхивал. Учу текст роли Орловского. В 12.00 первая репетиция. Разница во времени – два часа. 15 градусов тепла – зима! Прекрасно! Опять вижу купающихся и трезвых! Мелко – далеко-далеко, как на рижском взморье. Метрах в двухстах от берега – волнорезы. Почему-то не такие, как у нас на многих курортах – бессистемные бетонные заграждения, опасные для жизни. Здесь в море испражнения не стекают, поэтому и рыбы много. Мы не учли, что рыба фекалии не очень любит, вот она и покидает нас. Просто-то как!

Волнорезы – приятное глазу нагромождение камней-глыб – усеяны белыми точками и похожи на чуть грязноватые кораллы – это тысячи отдыхающих от трудовых полетов чаек. Как красиво: черно-коричневые голуби и белые чайки!

Конфуз первый.

Заговорил с горничной на немецком языке, будучи уверенным, что в Израиле все его понимают. Оказывается, почти никто не понимает… Говорят на идиш и иврите.

Если бы не пальмы – ты в Европе! В средней ее полосе. Фрукты, овощи, жемчуг, водка, клубника манят и очень дешевы. Глаза разбегаются! Налопался любимыми фисташками.

На улицах – чистота. Не видать асфальта а ля «зад клоуна в заплатах». Совершенно не видно грузовиков. Не пахнет бензином. «Хитрые» евреи!

Наш отель «Астор» в пять этажей, а рядом в одиннадцать – «Шератон». Заходить в него неловко – не по карману.

Кораблей в море нет. Далеко-далеко маячит один грузовой, да вчера с самолета был виден еще один – спортивный.

Дождь моет и без того чистые улицы и пополняет чистое море сточной водой…

Немного погулял по городу. Надо быть врагом своей родины и народа, чтобы не испытывать непрекращающееся чувство стыда за Отчизну! Абсолютное изобилие! Зачем вся наша идеология?

Она – вся на лжи! Ложь делает человека грешником и злым, трусливым и не умеющим радоваться.

Радуют глаз белые кресла на пляже! Красавцы! Простояли бы у нас такие красавцы-стулья ночь? Сомневаюсь. Вспомнил, как у ресторана «Арагви» поставил автомобиль, отлучился на пять минут и… не досчитался противодождевых щеток и зеркала.

Диалог в последний день гастролей.

– Что вам больше всего понравилось в Израиле?

– Почти ничего не стоящая по вечерам перед закрытием магазинов клубника!

– А что не понравилось?

– Окна моего номера выходили на море. На берегу стояли белые кресла-стулья. Они не были привязаны ни к чему, сторожей, полиции – нет! Я ждал, когда наконец украдут стулья. Хоть один. Двадцать дней ждал! Не дождался. И очень опечалился. Понятно, почему? У нас бы эти стулья…

– Конечно, у вас в России нет таких стульев, кроме тех, которые искали Бендер и Воробьянинов.

– Дай вам Бог здоровья!

– А вам стульев!

10 февраля. Утро облачное. Опять радуют глаз белые кресла-красавцы. Песок подсыхает, светлеет. Ни одной бумажки, ни одной соринки. Молодые люди с метлой и совком на длинной ручке собирают невидимый мне с балкона «мусор». Без мух скучно!.. «Хорошо в краю родном, пахнет сеном и…»

Конфуз второй.

Очень внимательная и старательная горничная. Хотел проявить и я внимание: предложил подарок – крестик с распятым Христом! Опозорился! Она странно посмотрела на меня и подарок не приняла. Бог – да не тот!

Угол улиц Дизенгофф и Арлазоров. Уличный скрипач играет что-то проникновенно-знакомое. Полонез Огинского! На тротуаре около скрипача – коробка из-под обуви. В ней несколько шекелей. Останавливаюсь. Смотрю в его старческие слезящиеся глаза. Скрипач медленно опускает смычок:

– З Вэсника денег не беру!

Я, растерявшийся, ушел. На обратном пути хотел вручить ему скромный гостинчик… Скрипача не было… На его месте стояла в обнимку влюбленная парочка…

Сегодня суббота. Все закрыто.

Вчера перед закрытием овощных лавок торговцы выкладывали расфасованную в коробочки клубнику и уговаривали купить ее по цене вдвое-втрое меньше дневной.

Ковровщики выложили товар прямо на тротуар, ювелиры раздавали свои визитные карточки – «заходи только к нему!». Много магазинов уже к 15.00 закрыты – пятница! Перед субботой – шабаш.

Здесь сутки начинаются с вечера и кончаются следующим вечером, поэтому с вечера пятницы все закрывается до вечера субботы: работать нельзя (Бог не велит) до восхода первой звезды.

Семен Ковнер, москвич, простой киномеханик, брат жены моего однополчанина, везет домой на обед. Здесь он уже семь лет. Пенсия приличная, квартира хоть и небольшая, но трехкомнатная, автомобиль «ситроен». Буржуй! Не «наш» человек! «Барский» для меня стол – для них обыденный. Квартира в небогатом квартале, но и то и другое очень уютно, чисто, компактно и удобно. Два сына – чудесные парни Миша и Витя. Жена Ася опытная косметичка, подрабатывающая на жизнь шекелей около 4000 в месяц (это 2000 долларов). Россией все еще интересуются, но жить там не хотят, да уже и не смогут. Разнообразие закусок! «Ася, неужели сама готовила?» – «Ну что ты, Женя! Позвонила – принесли». Напитки для меня в Москве не доступные – коньяк «Наполеон», виски «Белая лошадь». Стоят они по 20–30 шекелей (то есть по 10–15 долларов). Для них это естественно. Одно дело «урвать» от 2000 долларов 100 шекелей, но совсем другое от моих 400 рублей – 50!

За столом еще гость – сосед-миллионер. Невзрачный, худощавый человек. Говорит на русском.

– Давно в Израиле?

– Шесть лет.

– Откуда приехали?

– Из Чернигова.

– Миллионы – наследство?

– Нет.

– А-а-а-а-а?..

– Купил подержанный грузовичок, снял помещение, стал выпекать бублики с маком. Развозил с 5 утра по всем булочным, ресторанам, кафе, барам. Работал по двадцать часов в сутки. (Обошелся без парткома, месткома, без директоров, заместителей, бухгалтерии.) Теперь имею филиалы в Хайфе, Иерусалиме. В вашей стране каждый тоже может стать миллионером! Нужна свобода и борьба с чувством зависти. Надо

работать, а не завидовать…

Первый прогон всей пьесы, но не на сцене, а в зале. Почему-то не очень волнуюсь.

11 февраля сыграл первый спектакль – скованно. Второй, на следующий день, смелее. Почувствовал, «нюхнул» возможности творческого обогащения роли, ее развития и углубления. На третьем спектакле совсем осмелел. Чувствую, что партнеры «приняли» меня в свой уже наигранный ансамбль! И публика принимает очень хорошо. Все вообще внимательны к нам, но зрителей маловато, к сожалению…

Попросил знакомого посмотреть представление и честно сказать: заметно ли, что я не так раскованно себя веду на сцене, как те наши актеры, которые уже много раз сыграли пьесу, одним словом заметно ли, что я ввелся в спектакль?

После представления он сказал:

– Я встретил в зрительном зале много своих друзей и каждого попросил ответить на твой вопрос. Сошлись на том, что все ввелись, а ты таки да – нет!

В конце нашего диалога он спросил:

– Очень волновался?

Я, чтобы точно быть понятым, ответил:

– Таки да – да!..

Выступал перед ветеранами войны. Отечественной для нас, второй мировой – для местных. Два с половиной часа отвечал на вопросы, читал, рассказывал.

Вот один из рассказов.

1 февраля 1973 года в 20.00 в моей квартире раздался звонок из ЦК КПСС: «Просьба срочно вылететь в Волгоград. Самолет в 23.00. Машину пришлем. В местном театре завтра премьера спектакля по пьесе Юлия Чепурина „Сталинградцы“, посвященная 30-летию Сталинградской битвы. Исполнитель главной роли – командарма маршала В. И. Чуйкова – не справился с задачей и с роли снят. Отменять спектакль нельзя, он транслируется по телевидению на всю страну. Вы – фронтовик, опытный артист и, как выяснилось, очень похожи на маршала в молодости. И с возрастом все нормально. Чуйкову в 1943 году исполнилось 43 года, а вам сейчас 50 лет. Нормально».

2 февраля 1973 года. 1 час 45 минут ночи. Волгоград. Гостиница. В моем номере – постановщик спектакля «Сталинградцы», главный режиссер театра заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Владимирович Бортко (отец ныне интересно работающего на «Ленфильме» режиссера Владимира

Владимировича Бортко. Кстати, я снялся, с моей точки зрения, в хорошей его картине «Единожды солгав» в роли отца киногероя и очень-очень старался быть похожим на старшего Бортко. Сын уверял меня в том, что старания увенчались успехом).

В номере уже собрались биографы маршала, суфлер, гример, костюмерша, портной. Рассказывают о привычках и характере Василия Ивановича Чуйкова. О том, что главное в спектакле. Одновременно снимают мерку с моего торса, головы. Все в ужасе: моя башка – 63,5 см в окружности. Такого размера фуражки не найти. Но, к счастью, все сцены происходят в интерьере, можно обойтись без головного убора. Кто-то приносит кипяток, заваривает чай, нарезает хлеб, делает бутерброды. В этой суматохе я успеваю заглядывать в текст роли.

5.00 утра. Остаюсь один, ложусь спать. Засыпаю, поставив будильник на 7.00.

7.00. Будильник проявляет бдительность – будит. Снова зубрежка текста.

8.30. Пришли костюмеры, примерили военный костюм, сапоги. Сообщили, что от парика решили отказаться.

9.00. Легкий завтрак с В. В. Бортко.

10.00. Первая репетиция на сцене. Партнеры предельно внимательны, даже шепотом подсказывают, когда нужно, текст. Режиссер – ну прямо отец родной: ласков, заботлив. А ведь славится суровым нравом.

13.30. Обеденный перерыв. Снова беседы с биографами Чуйкова и режиссером спектакля.

14.00. Отдых на кушеточке в гримуборной. Зубрежка текста.

15.00. Вторая репетиция.

17.00. Засыпаю в номере гостиницы.

17.45. Часовой-будильник на страже. Зубрежка текста.

18.30. В гримуборной театра показывают фотографии Чуйкова. Ей-ей, я похож на него, на молодого! Причесывают. Весь грим – только общий тон. Загоревшее, обветренное лицо, более мужественное, чем мое без грима, – замечательно!

19.25. Узнаю, что в зале сам Чуйков. Ноги чуть-чуть того…

19.30. Третий звонок для зрителей и для нас. Надо идти на сцену. Собранность предельная.

19.35. Занавес открыт. Мой выход. Аплодисменты. Понимаю – не мне, а Чуйкову «через меня». Это посредничество придало уверенности. А когда перекрестился кулаком (эту привычку Чуйкова подсказали его биографы), раздались аплодисменты. Но теперь уже в мой адрес, ибо зрительный зал не мог знать о такой привычке и счел это за смелую актерскую находку. Ну а когда после какой-то реплики, беззвучно, только артикуляцией губ,

обозначил слегка, вполоборота к зрительному залу, «те самые», наши «родные» (так часто на войне звучавшие и из моих уст, и из уст солдат, сержантов, маршалов слова), тут-то зал по-настоящему взорвался и от смеха, и от аплодисментов. А я совсем осмелел и повел себя так, будто играю роль в сотый раз! Текст не путаю. В темпераментных диалогах несколько раз брал в руки палку (подсказанная деталь) и энергично ею размахивал, что придавало ощущение возможности применения ее в самых неожиданных моментах.

20.45. Антракт. Я мокрый, как мышь. Костюмеры дали новую нижнюю рубаху, гладят китель. В мою артистическую входит маршал Чуйков.

Первые слова:

– Чертяка! Ну тебя!

Вошел адъютант. На гримерном столике появилась бутылка коньяка, две рюмочки, две конфетки и нарезанное ломтиками яблоко.

– Давай, со знакомством!

Я говорю, что не могу: «Мне ведь вас доиграть надо. Что же я… э-э-э, того…»

Василий Иванович слегка толкнул меня животом:

– Не расстраивай меня. Фронтовик ведь! По сто граммов принимали и как воевали, а? Будь здоров! И спасибо тебе!

– Ваше здоровье, спасибо, что зашли. – Ну и согрешил: 50 граммов похоронил в себе.

– Кто тебе сказал, что я с палкой воевал и что словечки разные нехорошие знаю, а? Кто?

– Ваши биографы. Те, кто о вас книги пишут.

Маршал улыбнулся с хитринкой:

– Чертяки. Болтуны!..

Он обнял меня, попридержал в объятиях, похлопывая рукой по спине, и прошептал:

– Спасибо, чертяка! Я слезу даже пустил. Ну тебя…

И ушел, чтобы на людях не расплакаться… Мне так почувствовалось.

21.00. Начался второй акт. Играл свободно, в охотку, чувствовал себя настоящим Чуйковым.

22.15. Финал спектакля. Поклоны артистов, режиссера Бортко и автора – Юлия Петровича Чепурина. Зал аплодировал стоя. Маршала нам не было со сцены видно. Но по тому, как большинство зрителей аплодировали, стоя вполоборота, а иные и спиной к нам, догадались, что он в зале.

23.00. Бутылка маршальского коньяка очень пригодилась. Выпили за его здоровье. На долгие годы подружились с

В. В. Бортко-отцом…

3 февраля 1973 года. 10 утра. Я дома, в Москве. Смотревшие телевизионную трансляцию спектакля рассказывали, что во время бурных аплодисментов зрительного зала на экране появились на миг портреты то маршала, то мой, и оба – со слезами на глазах.

Когда маршал ушел из жизни, я переживал потерю по-настоящему родного человека. А общался-то с ним всего две-три минуты.

Был в пригороде, если можно так сказать, Тель-Авива – в Яффе, в двух километрах от центра.

Изобилие такое же, как и в Тель-Авиве. Но… грязь жуткая, особенно на берегу моря и на пустырях. Это клочки еще никем не купленной земли. Музеи же и мечети в отличном состоянии. Национальная гордость арабов! Много рыбаков. Приманка-насадка – кишечки куриные. Удилища – 6–7 метров, умопомрачительной красоты. Колоссальное количество кафе и ресторанов. И никто при этом не прогорает! И у каждого свое особое меню…

Радио редко дарит русскую речь, поэтому трудно быть в курсе замечательных дел по развалу коммунизма. Дожили мы, обманутые, дожили до… прогресса! Развал – прогресс! Это лозунг коммунистов – развалить до основания, чтобы построить. Что? Теперь необходимо развалить тех, кто после 1917-го года развалил мощную страну и построил ад, и попытаться вписаться в мировое сообщество с помощью Бога и русского таланта?

Конфуз третий.

Все взяли с собой значки с изображением В. И. Ленина. Почему? Не знаю! И я тоже – целую горсть. Предложил половину горничной в знак признательности за ее труды. Она снова странно посмотрела на меня. Подарка не приняла!

Волны сегодня чуть больше. Маленький юркий тракторишко работает вовсю: приводит в порядок пляж – причесывает песочек. Что метут дворники – не видно, но метут.

Впервые за три дня увидел один, да и то не в центре, грузовик. Грузовики выполняют свою работу до того, как встают люди! У нас же грузовики – наравне с людьми. Они не дают нам спокойно жить, отдыхать. Москва – огромный кузов грязного грузовика, в нем перемешаны еда, человеки, скотина, ворованный

левый груз, пыль, грязь, мазут, бензин, масло, совесть, надежда, безразличие и судьбы людей. И все это постоянно перетряхивается на ухабах дорог!

Коктейль хамства и человеконенавистничества.

Четвертый конфуз

Предложил горничной за услуги чаевые – 3–4 шекеля. Покраснела, странно на меня посмотрела, отвела мою руку и, мило улыбаясь, вышла… Позже узнал, что ее заработная плата за месяц равна моей полуторагодичной!

Море показывает характер. Ветер нагоняет тучи, а моя бесхозяйственность «выгоняет» деньги из кармана. Бог их послал, Бог и взял. «Что отдал – твоим пребудет, что не отдал – потерял». (Шота Руставели) Чем больше денег тратишь – тем больше их приходит! (Это мое.)

Побывав в Израиле, убеждаешься в том, что жизнь предвнесена на землю. Задаешься вопросом: почему же в таком случае она, израильская земля, внешне развита слабее, чем другие, более или менее развитые страны? Почему? Ведь это место рождения Христа. Гроб Господень здесь же. И невольно приходишь к мысли о том, что цивилизация ведет к гибели. Может быть, действительно церковь была права в том, что прогресс губителен, что нужна цивилизация в смысле еще большей покорности Богу, для того чтобы сохранить все в первозданном виде. Ведь недаром Библия так часто говорит о наградах за покорность и преданность Богу и его заповедям! Это путь к самосохранению. Мы отравлены накопительством! Зуд измены данному! Богом данному!

Тель-Авив – означает «Курган-весенний». Воинственные Голанские высоты, обросшие лесом, очень мирно выглядят.

Церковь на месте, где Иисус накормил 5000 человек двумя рыбами и пятью хлебами, знает все секреты чуда и молчит. Нехорошо она ведет себя!

Версия: Иисуса после распятия видели много раз – он четыре года шел пешком в Японию. Японцы утверждают, что распяли брата Иисуса, а он сам умер в Японии в возрасте 110 лет…

Убеждаюсь лишний раз: необходимо международное правительство. Общечеловеческая конституция и единая религия. Это путь к успокоению людей!

Конфуз пятый.

Предложил горничной рюмочку коньяка и фисташки. Отказалась, странно и очень мило улыбнувшись.

Наша молодая артистка, впервые в жизни увидев зарубежный ассортимент продуктов в магазине: «Зачем мы такие несчастные?»

Один из наших руководителей на природе скромно ест в сторонке от людей. А за завтраком в отеле, на людях, подходит раз пять к «шведскому столу». Везде и всюду ходит в одной рубашке – ковбойке. Ковбойка и Израиль! Черные шляпы, пейсы и… ковбойка! Партхудожник!

Очень смешно наблюдать выражение лиц товарищей, разглядывающих твою продуктовую покупку – дескать, идиот, тратит шекели. (Вспоминаю артиста Д., который смотрел, как я ел купленное в Версале большое яблоко. Когда от него уже почти ничего не оставалось, вдруг спросил: «Кислит?» Я дал ему попробовать, и он жадно с косточками проглотил огрызочек.)

Обращаюсь к полицейскому (говорящему на русском языке), стоящему на посту около театра, в котором мы давали спектакли:

– Вы не подскажете, где в Тель-Авиве можно купить «костыль»?

– Для инвалида?

– Нет. Для автомобиля. Противоугонный «костыль», соединяющий руль и педаль и запирающийся на ключ.

– Не знаю, где такие вещи продаются. У нас ведь практически не бывает угонов.

– Как же? А почему тогда около входа стоят две машины и их задние колеса цепью прикреплены к фонарному столбу? Значит, опасаются угона…

– Иностранцы приехали, их побаиваются.

– Откуда приехали?

– Из Москвы. Какой-то театр! Всякое может случиться!

– ?!

Один из наших руководителей додает всем суточные – по 5 шекелей с мелочью. Но… мелочь не дает.

Вспомнил старинную восточную притчу. Богобоязненный мусульманин нашел мешок, набитый деньгами. «Кто потерял старый мешок?» – очень громко выкрикивал он. И очень-очень тихо добавлял: «С деньгами». Чтобы не гневить Аллаха.

Артист-общественник Б. выдает обменные доллары, но тоже никому не дает мелких монеток. Мне недодал 75 центов. Нас более 60 человек! 60х75 = а? «Угнал» деньги. Нужен «костыль»!

Люди «ума, чести и совести нашей эпохи», демонстрирующие высокую мораль на Святой земле! Как правило, гида на экскурсиях они не слушают, все в сторонке. Указаний, наверное, не было слушать байки о Христе! Один из руководителей беспрерывно просит все-все делать короче, быстрее. Куда он торопится? Нервы? Может быть, перед Богом стыдно?!

Последний конфуз

19 февраля. Последний день в Тель-Авиве. После вечернего спектакля в номере на столике у кровати увидел хрустальную, очень красивую кружечку, маленькую бутылочку коньяка и искусственную ромашку. В кружечке записка. Наш гид перевел: «На память от Бумы – вашей горничной!»

20 февраля. Иерусалим. Гостиница чуть получше. Вошел в номер – звонок из Москвы. Жена. Так неожиданно! Здорова, слава Богу… Израильские телефонистки нашли меня! Молодцы! Отсюда все заботы жены – как проблемы человека с другой планеты!

Все наши спектакли – фурор!

Друзья сказали, что могу записать себе в актив роль Орловского. Да и сам чувствую, что буду еще «набирать» в ней!

Наша скованность из-за отсутствия должного количества денег, незнания языка, угнетающего изобилия, да еще на фоне полной раскрепощенности местных жителей, имеет счастливую способность трансформироваться в чувство гордости за наше театральное искусство, за высокую драматургию. Это придает уверенность в своих художнических силах и без денег, без дешевых бананов и клубники, без жемчуга и агата. И происходит это чудо (причем не только здесь, но и в любой стране) в то мгновение, когда открывается занавес. Мы становимся богаче любого миллионера и щедро делимся своими богатствами со всеми сидящими в зрительных залах.

22 февраля. Скоро домой. Соскучился! Что там на родине деется? Кто кого скушает? Кошмар! Я воевал за рай. А вот теперь друг дружку «кушают». Вспомнил диалог с 80-летней тетей Олей из Леселидзе (Абхазия), у которой купил несколько бутылок чачи (самогон из винограда) для компании артистов, снимавшихся в 1961 году в кинофильме «Яблоко раздора» в поселке Псоу.

– Вы не боитесь продавать самогон? У нас преследуют за это.

Судят!

– Нэ боюсь… Мы друг дружкэ помогаем, а вы, русские, – самоеды. Ви друг дружку кушаете…

Неужели снова диктат, тюрьмы, слежка? Ужас! Так недолго и Сталина оправдать! Не может такого быть! Бедный Сахаров, как он нужен России…

Хочется домой, в топь, но домой. Как пчела – пусть в самый плохой, но свой улей… Удивительно примитивное создание человек…

Весь Иерусалим на холмах. Все здания облицованы белым камнем. Все деревья – посадки! И всюду камни, камни… А дороги! Стыд и срам за наши. Автодороги в еще не построенной стране, среди гор, над обрывами и под скалами – для России лишь мечта.

По одежде можно распознать представителей разных религиозных течений. Разные пальто и шляпы, пейсы, стрижки…

Три основные веры – иудейская, православная, мусульманская (и еще несколько) – соревнуются в том, кто добрее, кто щедрее помогает людям, кто активнее участвует в строительстве жилья и храмов, в восстановлении старины, прокладке дорог.

Белый камень надоедает, но разнообразие планировки, архитектурных решений разных частей гористого города спасает: ибо разное в похожем уже есть богатство! Очевидно, очень сложно управлять Израилем: население многонациональное, разноверующее, часто враждующее, вплоть до выстрелов и крови.

Старый город – чудо из чудес. Описать его мне не под силу. Его надо видеть! «Коктейль» всего и вся: лиц, тканей, золота, мусора, жемчуга, крестов, вина, рыб, лекарств, сладостей, живописи, ковров, велосипедов, полицейских, туристов, меди, часов, зажигалок, папирос, детей, стариков, молитв, пива, кофе, авто, мото…

24 февраля. Поездка к Мертвому морю. «Мертвое» потому, что в нем 30 процентов соли. Посетили «кибуцы». А ля наши колхоз, артель или кооператив. Поваром в столовую, как правило, нанимается араб. Остальная обслуга – хочешь не хочешь – каждый отрабатывает в столовой две недели в году. Общее собрание выбирает на два года начальника – наблюдателя-организатора – с огромным количеством обязанностей и прав, но при отсутствии каких бы то ни было льгот. Это заставляет «начальника» с нетерпением ждать окончания срока руководства, а не стремиться его продлить, как это делает «наш начальник», как правило,

отрывающий себе от общественного пирога кусок пожирнее и тем самым разлагающий души, общность людей, их желание трудиться.

Бог мой! На камнях при Мертвом море создавать метр за метром Рай! Оазисы изобилия! Божья помощь!

Дом для молодежи: комнаты на двоих-троих. Если на троих, то третий – часто ребенок из «трудной» городской семьи или сирота. Он растет с нормальными детьми, не сбивается с пути праведного и вырастает работящим человеком. У каждой семьи в их комнате – кондиционер, холодильник, цветной телевизор. Есть матери 8–10 детей – своих и приемных. Все обласканы, все родные!

Все равны по доходам. Прибыль делят поровну. Свои гостиницы, пляжи, рестораны – доходы колоссальные! Техника – любая. Зелени много – все посажено, так как сами, без помощи человека, деревья здесь не растут.

Открытой воды глазами не увидишь, вся в трубах. Цитрусовые – круглый год. Завал. Половина урожая пропадает – гниет!

В горах дикие козы, стада бедуинских баранов, коров, лошадей. Масса бедуинских шатров. Жизнь бедуинов загадочна. Им предоставляют возможность жить оседло в цивилизованных условиях – не хотят. Только в своих шалашах, внешний вид которых – серый, бедный, грязноватый. Есть получше, побогаче, есть похуже, а вот внутри – загадка! Бедуины – народ крепкий, здоровый, работящий. Когда нужно, одеваются богато.

По дороге к Мертвому морю в глубоком ущелье стоит знаменитый старый монастырь. (Патриархат греческий.) Он стоит именно там, потому что издревле рядом с ним протекает мощный ключ-ручей. Чуть выше монастыря – как это ни странно на территории Израиля – под греческим флагом, рядом с водой, стоит одна-единственная, смотрящаяся как чудо в пустыне, пальма! Как она одинока и как она радует своей зеленью всех любующихся ею! Я назвал ее «Вдовой». Живут в монастыре семь монахов, семь святых отцов из разных стран.

На берегу Мертвого моря мы увидели арабские пикники с песнями, танцами, шутками, жаровнями, чудной едой и напитками (без вина и водки). И во всех компаниях – добросердечие, родственность, раскованность и свобода, но обязывающая к порядку и порядочности. Это не наша свобода, открывающая «лафу» хулиганству, пальбе, мордобою, сведению счетов, заработкам за счет обмана…

Ничего не стоящая, удобная упаковка посуды, готовых соусов, дешевых салатов, мяса, фруктов, напитков, сладостей,

освобождающая женщин от изнурительной стряпни. Человекоуважение! Видно, что работают люди, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. Поэтому у них есть желание работать! «Если я больше работаю – я живу лучше». Это их закон!

У нас можно воровать – значит не надо работать! Примером тому была КПСС, ничего не производившая, но жившая лучше всех. Разврат государственного размаха! Последствия? Самое страшное Божье наказание – человеческая разобщенность! А разобщенность – это бессилие каждого и погибель общего!

Летим домой! Хорошенького понемножку! И радостно и грустно… В голове, как на экране, – кинокадры воспоминаний, впечатлений. Самое сильное впечатление – трудолюбие людей, строящих свою страну.

Эпизоды, эпизоды, эпизоды…

Вечером – овации зрителей, а утром те, кому аплодировали, тянут все что можно со «шведских столов». Официанты все видят, снисходительно улыбаются: «Ничего не поделаешь – макаки!»

Эпизоды, эпизоды…

Одной нашей артистке местный житель предложил руку и сердце и, естественно, безбедную жизнь. Она, бедняжка, растерялась, зарделась и с испугу сказала: «Ах, я не могу принять ваше предложение!» – «Но почему? Потому что вы не еврейка? Это не помеха». – «Нет, нет, потому что я член КПСС!»

Эпизоды, эпизоды…

Перед сном одни из наших скромно жуют привезенный провиант: задушенную чемоданной тюрьмой колбасу, черный хлебушек, консервы; с риском устроить короткое замыкание кипятят водичку для чая и бульона из кубиков. Другие приобретают и смело употребляют здешние напитки, закуски, фрукты, сладости… Первые смеются над вторыми – «болванами-транжирами», вторые над первыми – «скупердяями», лишающими себя сказочных удовольствий. Но… стоит появиться на приемах и банкетах разного рода угощениям, как с первыми происходит чудодейственная метаморфоза, подравнивающая их со вторыми, и все дружно становятся милыми обжорами и «транжирами». Как приятно смотреть на людей с отличным аппетитом!

Эпизоды, эпизоды…

Совершили посадку на Кипре для подзаправки топливом: израильтяне не дали нам керосина! В помещении аэровокзала около магазина «Вино» – дегустационный столик: пожалуйста, пробуй, выбирай, покупай. В основном коньяки. Наши начали пробовать, выбирать и… не покупать. Пробовали в «круговерть»,

становясь по нескольку раз в очередь… только из наших. На это обратил внимание продавец, улыбнулся и крикнул: «Советик!» Столы с напитками мгновенно были убраны… Участники «круговерти», между прочим, освящали в Иерусалиме крестики, читали Библию, собирали камни Святой земли, кланялись Гробу Господню! Бес их, наверное, попутал! Какой сильный бес, а?

Летим. Скоро Москва!

Каков же главный итог сказочных гастролей?

Я возвращаюсь обогащенный новым художественным опытом – сыграл роль Орловского в чеховском «Лешем». Возвращаюсь с чувством гордости за наш русский театр, за нашу актерскую школу, покорявшую зрительные залы, наполненные людьми пусть богаче нас живущими, но оценивающими наше творчество дороже большого урожая апельсинов, упаковок салатов и удачно произведенной сделки, скажем, с бубликами и маком…

Возвращаюсь с совершенно ясным пониманием того, что необходимо решительно отказываться от догм старых и новых идеологий и становиться активными последователями бессмертной Нагорной проповеди Иисуса Христа!

Волшебство Японии

25 мая 1990 года. Осака. Первое впечатление: все знакомо! Чуть богаче, чем, скажем, в Мехико, и совсем чуть-чуть, например, центра Тель-Авива. И как почти на всем свете, никак не похоже на все нашенское. За броской – разноцветной, мигающей, зовущей, но не менее производящей впечатление, как ни странно, «разнообразного однообразия» – рекламой, да еще на фоне высоченных зданий американских отелей, фирм и банков, архитектурное лицо города размывается. Но стоит отвлечься от всего внешнего, как тут же откроются удивительные, интересные, своеобразные и по-настоящему разнообразные и неповторимые (как наши русские церкви – чудо!), подчеркнуто национальные особенности архитектурного облика города. Чего не скажешь о внешнем облике японцев – мужчин, одетых словно в спецодежду: очень хорошо, модно пошитую, но уж очень одинаковую – до недоумения! Костюм обязательно черный, рубаха обязательно белая. И галстук! Обязательно! В любую погоду! «До недоумения» потому, что в витринах множества магазинов выставлены тысячи мужских костюмов разных цветов и фасонов из разных стран, разных назначений. Но нет – черный, черный, черный… И все тут!

Гамма женской одежды куда богаче: тут и очень разного вида кимоно, и чисто европейские костюмчики, и просто спортивные…

«Триллион миллионов» магазинов, битком набитых… человеческой фантазией!! На дорогах «биллион триллионов» автомашин. Работу их моторов не слышно, а если услышишь, то, не глядя на автомобиль, можно сказать, что он – европейский. Запаха бензина при желании не учуешь. Возникает подозрение: не оглох ли, не потерял ли обоняние?

Тысячи тысяч таксомоторов. Свободные медленно двигаются в первом ряду и останавливаются по малейшему движению твоей руки или просто по взгляду. На красный свет или даже желтый никто из пешеходов не подумает двигаться, а если пытается – он чаще всего оказывается нашим – гордым, широкой натуры русским человеком! За нарушение – большой штраф. Спорить с полицейским бесполезно. Рискуешь «схлопотать» маленькие, легонькие, красивенькие наручнички и быть отправленным в полицейский участок, где штраф возрастает в 10–20 раз! Чем выше чин провинившегося – тем больше штраф.

Все не как у нас! Надо же! Чистота на улицах… опять не как у нас! Швейцары в гостиницах – люди, помогающие во всем, отвечающие вам охотно, подносящие, провожающие, подсказывающие… Словом, не наши люди. Номера в отелях –

комбайн удобств! В этом вопросе у нас расхождение лишь в понимании и трактовке слова «удобства». А в другом – все так же: спишь – платишь.

Вот только непонятно: столько вокруг тебя улыбок, поклонов, вежливости, внимания, исполнительности, всего этого непривычного для нашего брата так много, что поневоле закрадывается мыслишка: не понарошку ли все это? Ведь когда-нибудь должны же меня обложить или стибрить чего-нибудь? Должны же! Ан, нет. Странно!

Да еще каждое утро тебе подкладывают новую зубную щеточку, тюбичек с зубной пастой, кусочек мыльца (в то время в Москве мыло было по талонам), бритвочку и шапчоночку из полиэтилена, чтобы ты головку не замочил, когда душ будешь принимать, шампунь (такой, сякой и прочий), полотенце и белье каждый день меняют, туалетной бумаги – изобилие (всегда запасной рулон лежит без дела); и что совсем уж непонятно – дают два халатика: один в пакете, а другой (если тронул его или надел разок на себя, каждый день меняют) – без пакета.

Зачем второй? Не провокация ли? Не проверка ли на твердость характера? Дескать, сопрет – не сопрет жилец? Ну, действительно: в номере ты один, зачем же второй халат? Гордость во мне взыграла, и я купил в гостинице, внизу в холле, в ларечке точно такой же халат за свои деньги! В номере положил его на стол, на виду у горничных, а сверху еще и чек. Нате, глядите, на мое мужество, на мою широту! И нечего, дескать, меня испытывать на честность!

Позже, на обратном пути в Москву, в самолете, я узнал, что второй халат в номере гостиницы был презентом. А я к нему так и не притронулся.

Если чуть-чуть надуть воздушный шарик, нарисовать на нем в красках – как земной шар на глобусе – город Осака со всеми его людьми, улицами, домами, рекламами, авто-мото-велоармией, затем сесть в поезд, идущий со скоростью 200 км в час, и надувать его – этот шарик – потихонечку до еще большего объема, то через несколько часов увидите за окошком копию вашего шарика-Осака, раздавшегося вширь и ввысь, очень поважневшего и изменившего название на… Токио.

Волшебство – я в Токио! Наши гиды извинились за то, что мы передвигались очень медленно. На поезд, скорость которого 320 км в час, мы опоздали и вынуждены были сесть на «черепаху». Деталька: по всей Японии сумма опозданий всех поездов составила 1,5 минуты в год, что вызвало большую обеспокоенность правительства. Сейчас, в начале 1994 года, читал, что по той же трассе Осака – Токио поезда идут со

скоростью 420 км в час, а к концу года будут ходить со скоростью 500 Км в час! (Чудаки! Они не знают нашей мудрой пословицы «Тише едешь – дальше будешь». Так что зря они стараются…)

Токио. Станция метро «Таконава»… Приятная пятиминутная прогулка по узкой улочке с легким подъемом, мимо переулка, в котором расположено наше торгпредство, и вы у цели – «Принц-отель». Заведение высокого класса, подход к которому устлан специальным паласом: вы идете по тротуару, устланному ковром! Входные двери открываются по волшебству машинерии.

Входите в просторный холл, вам кланяются швейцары, вы можете себе на память или для служебных надобностей взять лежащие в разных местах почтовые открытки с видом Японии, рекламные брошюры, увесистые справочники на любой вкус и тему… Куда ни глянь – автоматы и буфеты, содержимое которых вызывает ноющее чувство тоски. (Не от того, что всего этого у нас нет. Есть! Все есть – пока не для всех. Но ничего… Лет через пятьдесят будет для всех, надеюсь!) Чувство тоски от того, что ты хочешь хотя бы всего понемножку, но воспитание и гордость не позволяют этого сделать. А в общем-то – зачем? В твоем номере (да и в каждом, где живут «наши») есть все. Консервы, колбаса, сухарики, чай, сахар и т. д. (из Москвы). В каждом номере есть бар-холодильник. В нем «все для всех»: от маслинки, сосисочки, грибочка, апельсина, банана, омара, креветки до ананаса, арбуза, водки – 15 сортов в посуде от «мерзавчика» до «деда» – литра. А зачем? Нам-то зачем все это?

Никто из наших не притронулся ни к чему. Понимаю, если бы все было от души, а то ведь – за все плати! Эдак каждый может: бери, но плати! Да ведь еще как сделано у них! (Тоска.) Взял, скажем, малюсенькое блюдечко с тремя маслинками, да еще с воткнутыми в них малюсенькими, красивенькими палочками-иголочками (некоторые «наши» эти палочки повынимали на память). Так вот, взял ты это блюдечко, а под ним что-то еле слышно – щелк! – и у администратора внизу табло показывает твой номер комнаты, что ты блюдечко сцапал, маслинки слопал и должно тебе при расставании с этим чудо-баром и гостиницей «Принц-отель» заплатить что положено! Это тебе не Матушка-Русь…

Представьте себе такую картинку: потерял кто-то «бдительность», ну, скажем, сшамал лишку на приеме в посольстве нашем. На приемах все едят именно так – будто делают это в последний раз и на всю жизнь! Многие умудряются в карман чего-либо положить: теплую котлетку или конфет жмень пять – впрок! Самое смекалистое, что я видел за всю свою

банкетную жизнь, это как один заслуженный деятель искусств ложечкой выковырнул крем из пирожного «эклер» (крем съел, конечно), вместо крема густо натолкал туда черной икры и заел этим «коктейлем» крем! Никогда не забуду, что после этой «физзарядки» он перекрестил рот. Для чего? То ли каялся, то ли просил Бога не дать помереть, потому что впереди маячило звание «народного», то ли… Не знаю, одним словом.

Или, скажем, потерял я «бдительность», напригласил гостей к себе в номер да попотрошил бар этот чужестранный. Представляете? Счет ведь предъявят! Что делать? Пока не заплачу за все, не выпустят ведь из страны. Остается одно («голь на выдумки хитра»): просить у страны своей материально-финансового убежища! А ведь могут не дать. Вот ведь почему наши со своими кипятильниками да тушенкой по заграницам шастают. Русскому человеку за границей «бдительность» потерять после бесплатной шамовки и спиртного (как говорят дипломаты высшего пилотажа – после «на халяву») – раз плюнуть. Мы в этом деле «закаленный» тип людей!

А вообще-то, лучше наших людей, ей-богу, нет на свете! Я серьезно говорю, имея в виду тех, кто остался нормальным человеком, то есть таким, который понимает, что надо хорошо и полезно работать, быть милосердным к другим, не стрелять в людей и в их дома… Были бы все такие – у всех торчали бы палочки не только в маслиночках!! А вообще-то, зачем нам палочки? Ну их к лешему!

Принимали нас в Токийском университете. «Вождем» встречи была преподавательница русского языка, жена японского предпринимателя, живущая в Японии уже 16 лет, наша очаровательная коренная питерская, если не ошибаюсь, Людмила Николаевна (а если ошибаюсь, прошу прощения – столько встреч, столько впечатлений). Я попросил молодого официанта, обслуживающего наш а ля фуршет, заменить мне холодающую баночку пива на теплую. Показывал пальцем на баночку, изображал кашель и трясущегося от холода человека. В ответ на мой микроспектакль официант что-то произнес и, сложив руки – ладонь к ладони, – несколько раз быстро согнулся в коротком поклоне. Я понял по выражению глаз, что он ничего не понял. Пришлось пробисировать свой морозный спектакль. В ответ те же звуки и телодвижения. Подозвал еще одного молодого официанта – та же игра, с той лишь разницей, что отвечали мне уже двое, синхронно издавая дуэтом знакомые звуки, сложив ручки и склоняя торс. Стало тоскливо. Как говаривал Михаил Михайлович Зощенко – «хучь плачь»…

Третий официант, внимательно посмотрев мое представление с кашлем и трясучкой от холода, радостно начал часточасто сгибаться, выражая предельную готовность спасти меня от всех недугов. Неодобрительно посмотрев на своих смутившихся коллег, он взял мою баночку ледяного пива и для того, чтобы покончить любые недоразумения между высокими договаривающимися сторонами, вынул из кармана красивенькую зажигалочку, высек огонь и показал, что огонь нужно поместить под баночкой и подогреть содержимое. Трио прозрело, заулыбалось, закивало головами (я тоже, да еще сложив на их манер руки) и одновременно удовлетворенно заговорило хором, испытывая, очевидно, одни из самых счастливых мгновений в своей жизни на островах.

Я ждал подогретую баночку пива минут тридцать и наконец… Счастливая троица бережно, в шесть рук, несет солидную кастрюлю, из которой шаловливо выпархивает пар… В почти кипящей воде – три баночки пива! Кланяемся друг другу: «Спасибо!» – «Пожалуйста!» Долго ждал, когда можно было опустить руку в чуть-чуть остывшую воду, достал желанные баночки и… поставил их в холодильник.

Уже хочу домой! Огурчика из бочки! Бородинского хлеба хочу.

С большим успехом идут наши спектакли «Леший» и «Вишневый сад». Чехов реабилитирует Россию советского изложения в глазах людей за рубежом. Чехов силен, потому что человечен, освобожден от надуманных догм, идеологии. Чехов спасает, очищает мнение о НАС. Пусть путем изображения тоже когда-то нелегко живших людей, но жизнью естественной, а не идеологически выстроенной! Есть у Чехова слова: «Идея-то идеей, но нужно еще и сердце иметь». Так вот, эти слова относятся к понятию «идея», но не «идеология». Идея – это фантазия, увлечение индивидуума, а идеология – это подавление индивидуума и этой самой его идеи, ибо у каждого она своя, а идеология – это подавление каждого! Чехов силен человечностью! Его идея – показ калейдоскопа идей. Идея – творчество, идеология – тюрьма мозгов.

В газетных киосках предлагаются журналы, на обложках которых реклама: М. С. Горбачев держит баночку пива какой-то фирмы, а в магазинах – разных размеров фигурки М. С. Горбачева! Если ударишь по губам генсека – кукла энергично и довольно долго болтает языком! Японцы ко всему

еще и ясновидцы!

Глядя на облик Тель-Авива и на то, что видишь в Японии, убеждаешься в том, что этот «рай» не состоялся бы без помощи США – в свое время… Бомбы были в свое, а помощь – в свое. Банки, кредиты, техника, гостиницы, самолеты – это помощь.

Россия тоже пользовалась поддержкой со стороны США… в свое время. Мы забыли об этом… Второй фронт – тушенка, автомобили, трактора, мотоциклы – это помощь в войне против фашизма. Молодежь об этом почти не знает… Новые заботы о России – в интересах США. Иметь голодного медведя даже на той стороне реки – опасно.

В Токио есть магазинчик «Ежик». Ну прямо специально для нас, потому что он торгует техникой и электротоварами, рассчитанными на напряжение в 220 вольт. Вся Япония пользуется напряжением в 127 вольт. В «Ежик» – постоянные очереди. Там продается все то, что у нас купить было невозможно: подзаряжающие устройства, скомбинированные на все виды электробатареек, кассеты разные, фонарики, дешевые радиоприемники, фото- и киноаппаратура, счетные машины.

Наши гастроли совпали с гастролями симфонического оркестра под руководством Евгения Светланова и группы цирковых артистов, так что очереди в «Ежик» были солидными!

Молоденькие и симпатичные – судя по фигуркам и багажу – танцовщицы (какой национальности, трудно определить), проживающие в нашей шикарной гостинице, выходят на улицу, рассаживаются в такси (стоимость одной только посадки – 540 йен, что равно 3 долларам 60 центам) и едут, едут. Елки-палки, едут, куда им, человекам, нужно. А мы, советские гастролеры – народные-разнародные, орденоносно-орденоносные, – «чапаем» до метро и целый час с пересадками добираемся по выданным нам бесплатно (спасибо за это!) билетам до места нашей работы! И так же, утомленные, назад, в гостиницу «Принц-отель». Но, ей-ей, гордые, довольные, счастливые, потому что принимают нас японцы по-настоящему горячо и – это чувствуется по аплодисментам – оценивают нашу актерскую школу очень и очень высоко.

Так что не надо завидовать тем, кто едет на работу в такси. Черт с ним, с такси! У нас дома тоже не очень-то раскатаешься на нем!

Хочется домой! Хочу пельменей. Соленой капустки! На рыбалку бы!

Процесс познания заграницы доступен в основном должностным лицам, так как среда их общения с людьми и учреждениями разнообразна и широка. Разобраться в тонкостях японской жизни самому очень трудно. Я, правда, не тужу, так как всю свою калейдоскопическую жизнь отдавал предпочтение чувственно-образному восприятию мироустройства, а не скрупулезно-научно-музейно-скучному познанию его.

Мне важно не то, **как** сделана картина, когда и в какой манере, не то, **что** лежит в основе экономических катаклизмов той или иной страны, а **какое** чувство и образ рождают в моей душе то, другое, пятое, двадцатое… Образ сильнее логики; чувство умнее науки; сердцебиение роднее математически выверенного маятника часов; смерть справедливее унижения, голода и страдания; умение жить по-доброму, во имя добра, выше жизни во имя карьеры и должности; знание природы и попытки понять ее самому – выше начитанности или таланта любого экскурсовода, знающего **«все»** и **ничего** не чувствующего…

Нужно ли России стремиться быть похожей на «декорации» Запада или развитых стран Азии и Востока? Думаю – нет! России, конечно же, нужны свои стежки-дорожки к возрождению. Но ведь все, к сожалению, загадка! И что такое Россия и что нужно возрождать? Японский дипломат, хорошо знающий Россию и русский язык, сказал нам: «Мне кажется, Конституция Сахарова, в основе которой полная самостоятельность и равноправие государственного устройства всех – и мало- и многочисленных народов, – есть правильный путь, ибо утверждает ощущение своей полноценности, горделивой нужности у любых, всяких и независимо где расположенных народностей! О, я это знаю на примере моей Японии».

Если это так, то путь к возрождению должен быть и у нас не общий для всех национальностей, а у каждой из них – свой. Сумма этих самостоятельных путей даст наилучший результат! Президентство во имя обеспечения этих самостоятельных путей развития – богоугодное дело! Благое! Мне так мыслится… Вот только хочется изменить слово «Возрождение» на какое-то более точно определяющее движение вперед… Ведь «возродиться» – это значит «восстановить», «вернуть», «снова воспрянуть духом». Все это хорошо, но ведь необходимо еще «стать новыми», «переделать плохое», «дерзать», «искать»… Каким же словом заменить «Возрождение»? Не знаю!

28 мая. Экскурсия в городок Диснея. О! Описывать бесполезно…

Сотни «одушевленных» героев литературных произведений

всех стран и народов! Мда-а-а!

Маленький человечек, посещающий с папой и мамой этот городок, воспитанный на основах любви к ближнему, не может вырасти плохим человеком.

По всей территории городка как бы разостлан огромный палас, чистоту которого беспрерывно поддерживает армия подрабатывающих студентов с метелочками, совками и пылесосами в руках… Ни пылинки, ни соринки. Разлил что-нибудь карапуз – пятно тут же поливается какой-то жидкостью, застилается специальной материей и через минуту пятна нет. Упавший малыш не может даже при большом старании причинить себе боль или «заработать» царапину. Здесь дети не плачут, им некогда плакать! Ведь столько впечатлений! Как он может заплакать, когда его, упавшего, ставит на ноги подбежавший Волк, Мишка или Микки-Маус? Никак не заплачешь! Тысячи детских колясок напрокат бесплатно!

Вспомнились мои ребята. Вот бы их сюда, когда были маленькими! Вспомнились их словечки, шалости, детская непосредственная мудрость…

Трехлетний старший сын Женя вернулся с юга в Москву.

– Нетю гор-р-ры, нетю мор-р-ры и доздь идет.

Выговариваю проштрафившемуся пятилетнему Жене:

– Я очень на тебя сердит. Встань в угол! (За что поставил – не помню, но за дело.)

Женя встал в угол, провожает глазами меня, идущего на кухню, затем из кухни… И снова – на кухню и из кухни. И еще раз – туда-сюда.

– Па-ап! Вот так вот и стоять?

В день своего восьмилетия Женя был удостоен чести посетить спектакль «Ревизор». И что самое главное – восседать в директорской ложе, на самом что ни на есть почетном месте – на виду у всего зрительного зала.

Второй акт. Наступает черед появиться на сцене Городничему, в роли которого – я. Открываю скрипучую дверь. Потихоньку вхожу в номер грязной, захудалой гостиницы. Оглядываюсь – никого… И вдруг свесившийся через барьер ложи – вот-вот вывалится! – мой дорогой сынуля во весь голос кричит:

– Папа! Во-он-он! – показывая на спрятавшегося в одеждах, висевших на вешалке, Юрия Соломина, игравшего Хлестакова. Мы с Юрием Мефодьевичем и рассмеялись, и растерялись. Но

должен сказать, что такой активный реагаж зрителей, который заслужил восьмилетний Женя, мы в адрес своих артистических стараний слышали не часто. Невероятным усилием воли взяли себя в руки и с трудом закончили сложнейшую сцену встречи Городничего с Хлестаковым.

По окончании спектакля я попросил привести сынулю ко мне в гримуборную. Не было его долго: по дороге за кулисы, под сценой Малого театра он разревелся и объяснил эту проявленную слабость тем, что – «папу все обманули».

Второй мой сынок Антоша в возрасте уже солидном – почти четырех лет, просмотрев мультфильм о том, как белочки запасаются на зиму орешками, попросил у женщины, торговавшей овощами около дома отдыха «Щелыково», морковку.

Позже она мне поведала: «Морковочки захотелось сыночку. Умница – витамины ведь!» Зимой, в Москве, Антон, услышав слова «в холодильнике пусто, хоть шаром покати», сказанные мною по телефону, подарил мне идею:

– Папа! Поедем в Щелыково. Там в дупле дерева, около почты, я на зиму запас морковки.

Я – шестилетнему Антону:

– Как тебе не стыдно! Дожил я до такого позора! Ты обманул отца! (В чем – не помню, но обманул.)

Антон – мне, ради него согласившемуся играть на телевидении роль капитана Врунгеля:

– А тебе не стыдно каждое воскресенье говорить неправду всем детям всей страны!

Семилетний Антон:

– Папа, я видел на детской площадке в Зоопарке, как птички и зверюшки танцуют. Почему?

– Они любят друг друга и хотят доставлять друг другу радости.

– А что такое радости?

– Это – дети.

– А зачем дети?

– Чтобы не кончались радости.

– Значит, для тебя я – радость?

– Конечно.

– Ты ведь – не дети. А ты для меня – тоже радость. Почему?

– Просто я – старая радость. Вот и все.

Восьмилетний Антон в Зоопарке:

– Пап! Откуда человек произошел?

– Смотри… Вот от кого. От обезьяны.

– А за что мы их в клетках держим? Они провинились?

Старший – младшему на выставке живописи:

– Вон, смотри, тетя голая, а мне не стыдно!

Младший – старшему:

– А ей?

Вернулся домой после гастролей по Сахалину и Камчатке. Сидим за столом с пятилетним Антоном, «помогающим» мне приводить в порядок привезенные фотографии, рецензии, заметки в блокнотах…

– А это что?

Вместе по буквам разбираем: «Почетная грамота».

– За что тебе ее подарили?

Читаем по слогам: «За большую творческую деятельность по культурному обслуживанию трудящихся».

– Ты выступал там с концертами?

– Да, сынок.

– А где это – Камчатка? Расскажи, па-ап…

– Очень далеко. Туда нужно очень долго лететь на быстром самолете…

– Я хочу туда!

– Когда там восходит солнышко и наступает новый день, в Москве еще прежний. Когда там наступает Новый год, ты в Москве спишь после обеда! Когда там наступает 1 Мая, ты здесь празднуешь 30 апреля, твой день рождения… Там очень красивая природа: горы называются сопками… А высокие вулканы седые от снега, а из их макушек поднимается в небо дым, как из трубки курильщика…

– Полетим туда, па-а-а-п!

– А в низинах буйная зелень, быстрые, холодные реки, в которых много рыбы, которая дарит людям много красной икры…

– Я хочу черную икру!

– Черной там нет, сынок… В речках купаться нельзя – холодно. Зато есть много горячих источников, гейзеров. Вода в них лечебная, она исцеляет от многих недугов.

– У меня есть недуг?

– Нет, сынуля…

Антон:

– Все равно я хочу туда!

– Зима, сынок, там очень суровая: снег часто заваливает дома и дороги, автомобили и тракторы, метели сбивают людей с ног…

Молчит.

– Там живут мужественные и сильные люди. Очень добрые, веселые. Очевидно, преодоление трудностей порождает жизнерадостность…

– А я жизнерадостный?

– По-моему, очень…

– А я преодолеваю трудности?

– Конечно. Помнишь, как ты радовался, когда впервые самостоятельно начертил палочкой на песке букву «А». Ты радовался победе над трудностями…

– Па-а-а-п! Я буду летать туда, где красная икра, а потом домой. Сначала туда, а потом сюда. Туда и сюда, ладно?

– Кстати, ты знаешь, там нет лягушек, которых ты так боишься. Я маленьким боялся пауков, а ты – лягушек. Почему?

– У них глаза страшные! Я поеду туда – там нет лягушек! А почему там нет лягушек?

– А они боятся землетрясений. Змеи и ящерицы – тоже, и их там тоже нет. А в тех далеких краях очень часто происходят землетрясения.

– Я в те места не пойду. Я туда, где редко трясется земля. Ладно?

– Ладно…

Антон «клюет» носом.

– Я, сынуля, пересек на газике всю далекую землю вдоль и поперек, а по трудным дорогам, с переправами через быстрые речки, мы ездили на тракторах и на лодках…

Антон заснул. Переношу его на кроватку, раздеваю, укладываю. Открыл глазенки.

– Па-а-а-п! Когда мы полетим в Москву, к маме?

Заснул.

В городке Диснея, на пристани, в ожидании пароходика «Том Сойер», я уронил 170 долларов. Меня догнала японская студентка в фартучке с метелочкой в руках и вручила мне деньги. Я растерялся. Стал кланяться ей, по-японски сложив руки. Купить гостинчика не смог, так как она убежала, а пароходик зафырчал и отчалил. Высадившись на берег, долго искал студентку в фартучке, но не нашел. Тем не менее купил коробку хороших конфет, а переводчица наша попросила студентов, тоже убиравших территорию, найти мою спасительницу и вручить ей презент от артиста из Москвы.

Поездка в городок Диснея завершилась. Перед самым отходом нашего автобуса прибежала запыхавшаяся «моя фея» в фартучке, держа в одной руке мою коробку конфет, а в другой –

свой портрет с надписью на японском. Вручила его мне. Я был на седьмом небе и, конечно, в центре внимания всех наших.

Переводчица прочла надпись: «Господин из Москвы, передайте, пожалуйста, артисту Вячеславу Тихонову, что в Японии есть девушка, которая влюблена в него и, если понравится ему, готова стать его верной женой. Это я!»

Я уже сказал, что ребенку, воспитанному на гуманизме Диснея, трудно стать мерзавцем. Но я думаю, что и взрослому человеку в городках Диснея навряд ли захочется грубо толкнуть ребенка, дать ему подзатыльник или влепить пощечину, оскорбить его грубыми выражениями.

У нас нет таких прекрасных добрых городков, и это досадно. Может быть, отсутствие таковых и позволяет нашим папам и мамам травмировать маленькое, свое же создание нецензурной бранью, окриками, избиением, отвратительным поведением в семье, позволяет демонстрировать образцы «трамвайного» хамства и в школе, и на работе, и во взаимоотношениях между собой… У нас большой начальник без мата – редкость! Чужак! Не наш! Человек не из народа!

Скорее бы приступили и у нас к строительству таких городков добра, вежливости и уважения друг к другу и к зверюшкам тоже.

Родину нашу, Россию, надо переучивать, а не перекраивать. Ее не надо мучить распрями разной расцветки правителей – бывших и настоящих. Ей надо дать возможность спокойно жить, а правителям сделать закон и труд критерием благополучия.

Домой хочу!

Все хорошо в Японии, все интересно, поучительно, восхитительно. Одно только плохо – это обилие велосипедов. Гуляешь по улицам три-четыре часа, и все это время находишься в невероятном напряжении, потому что ждешь – вот-вот на тебя налетит велосипедист! Устаешь не от ходьбы, а от ожидания столкновения. Велосипедистов больше пешеходов. Уйма! Как они лавируют, снуют между бесколесных – уму непостижимо! Но за все время пребывания в Японии не видел ни единого колеса, врезавшегося в пешего! А на автопроезжей части велонаездникам упражняться запрещено. Ну да ничего, привыкнешь, объезжают! Улыбаются! Аккуратисты!

Люди пытаются найти в небе другие миры и себе подобных. Зачем же небо тревожить, когда есть Япония! Вот куда телескопы

надо направлять – больше толка будет! Только из телескопов необходимо вытащить линзы фирмы «Зависть» и вставить оптику фирмы «Учеба» – вот тебе и другой мир!!

За границей нашему брату есть над чем поразмышлять! Сопоставительство – «нашего» и «иностранного» беспрерывно аккумулируют этот полезный процесс! Заглушать его – грех!

Одна из встреч в Токийском университете со студентами, изучающими русский язык, состоялась в учебной аудитории. Выразив свое восхищение всем увиденным в Японии, выразив сожаление по поводу того, что срок гастролей Малого театра – всего 20 дней – до того мал, что понять глубоко историю и культуру Японии нет никакой возможности, я тем не менее заслужил бурные аплодисменты собравшихся здесь студентов, педагогов, деятелей искусств, дипломатов и наших и местных – своими рассказами и воспоминаниями о знаменитых артистах Малого театра.

Александр Сашин-Никольский

Афоризму Алексея Дикого «Надо играть любые роли, но стараться делать это лучше всех!», как никто другой, соответствовал народный артист РСФСР Александр Иванович Сашин-Никольский. В любой роли, в любом спектакле он всегда был ярче всех. Поэтому было у него мало друзей и очень много завистников.

В этом худом, невысокого роста человеке с неважным зрением и здоровьем вообще, подорванным еще и неприятием условий жизни по «сухому закону», с лукавыми, с искринкой в зрачках озорными глазами бурлила неуемная артистическая фантазия. Фантазия абсолютно художническая, не допускавшая ни в чем дилетантства, одинаково мощная во всех жанрах: в комедии, драме, трагедии, концертных номерах, в пародийных сценках, в жанровых зарисовках, в игре на гитаре, в исполнении романсов.

Всего от двух человек в жизни я получал письма, в которых присутствовали слова: «Да хранит тебя Бог!» И получал их на фронте: от 70-летней учительницы по литературе Анны Дмитриевны Тютчевой и от Александра Ивановича. Я уверен, что эти их обращения к Богу способствовали тому, что я еще хожу по земле, несмотря на то что перенес и ранение и контузию. Их письма давали уверенность, энергию, психологическое здоровье, что было так важно в безумной войне, где нормальному человеку можно было сойти с ума хотя бы от сознания того, что ты – соучастник глобального человекоубийства.

Эти письма – лучшая характеристика нравственных и душевных качеств их авторов. Кто я им? Никто. Для одной – школьник, для другого – начинающий студент, артист, мальчишка. И для обоих – чужой человек. Ни от родственников, ни от друзей подобных слов не слышал – «Да хранит тебя Бог!».

В голодной эвакуации, в необустроенной жизни маленький, щупленький – весил он, ей-ей, не больше 45–50 кг – Александр Иванович излучал из себя столько теплоты, юмора, сочувствия и музыки! Он часто брал в руки старинную гитару и завораживал всех своим неповторимо печальным и умным исполнением русских романсов. Он столько излучал добра, что казалось, оно неиссякаемо и его бы хватило на весь театр, город, страну, мир! Колдун! Замечательный колдун! Маг и волшебник!

Такой же силой обаяния и заразительности обладал Сашин-Никольский, выходя на подмостки Малого театра. Даже при большом желании он не мог плохо играть. Сила его обаяния не

позволяла ему испортить, провалить роль. Не хочется вспоминать одну-две его роли, потому что все его служение в Малом театре – это одна роль, роль могучего, талантливого, но не до конца оцененного художника.

Сила его правдивости и органичности на сцене подводила многих. До его появления фальшь в игре актеров, если она была, конечно, оставалась незаметной или простительной. Но стоило появиться Сашину-Никольскому, как фальшь становилась явной, артисты меркли и часто начинали даже раздражать своей неестественностью. Никогда не забуду его в роли отца в кинофильме «Анна на шее». Какие только знаменитости и красавцы ни появлялись на экране, но стоило появиться Александру Ивановичу, и все вокруг немножко жухло, а он лучился, как святой!

А фильм «Композитор Глинка»! Маленький эпизодик – роль строителя. Несколько реплик Александра Ивановича – и некоторая напыщенность в игре главных артистов становилась явной и досадной.

Рядом с ним было играть невыгодно, поэтому многих ролей в своей актерской жизни он так и не сыграл. Не давали! Он разделял участь всех истинно талантливых людей – нес свой крест, ни на что, кроме своего творчества, не отвлекался. Но добивался выдающихся результатов, чем раздражал многих и ограничивал реализацию своих уникальных способностей. Стоило ему появиться на сцене в любой маленькой или не очень маленькой роли, все внимание зрительного зала устремлялось в его сторону. И это притом, что на сцене могли в это время находиться самые что ни на есть корифеи, игравшие самые что ни на есть главные роли!

Сашин-Никольский всегда напоминал мне кошку, случайно выходящую на сцену и срывающую даже самое напряженное действие. В любом спектакле, в любом театре и любая кошка! Этот закон – это какое-то таинство. Что срабатывает? Кошачья индифферентность, полная свобода мышц и отсутствие старания или просто нелогичность самого появления. Что срабатывало при его выходе на сцену и привлекало к нему внимание сидевших в зале, не знаю. Но что вызывало шквал аплодисментов после его ухода со сцены, знаю – это виртуозно разработанная партитура психофизического существования своего героя, выраженная средствами, доступными только высокоодаренному счастливчику. А средства эти не поддаются анализу, они одному Богу известны. Всякого же рода мудреные разбирательства сути таланта, его секретов бессмысленны.

Вообще, талант нужно поощрять и поддерживать, но не

пытаться разбирать по частям и полочкам. Разобранный талант уже не талант, собрать его нельзя, ибо никому не дано понять план его создания! Талантом нужно восхищаться, и поэтому все восхищались артистом Сашиным-Никольским. Его могли не любить только завистники.

Очень точно говорил об Александре Ивановиче как о музыканте-исполнителе один из лучших гитаристов Москвы, малограмотный, не знавший нот, но виртуозно тем не менее игравший на слух Шопена, Моцарта и Баха, артист цыганского театра, ныне покойный Вава Поляков. Я был приглашен в гости к Александру Ивановичу, который попросил привести с собой Полякова, о котором он был наслышан, познакомить с ним. Я передал Ваве приглашение, тот с радостью принял его, но только с условием, что пойдет без гитары.

– Поляков и без гитары – это не Поляков, – сказал я ему.

– Нет-нет-нет! Играть на гитаре при Сашине-Никольском и даже петь неприлично и нескромно. Я, может быть, и не хуже играю, но никогда никто меня так не слушал, как слушают его. Это какое-то колдовство. Как он воздействует на слушателей, чем и какими манками – не знаю и не понимаю. Единственное, на что я обратил внимание, это на паузы, на дьявольской силы паузы, которые он проживает, не делает, а проживает во время игры на инструменте и во время исполнения романсов. Если бы я позволил себе такие паузы, меня перестали бы слушать. А его в паузах слушают еще собраннее, еще сосредоточеннее, с каким-то скрытым восхищением и восторгом.

Вот, например, цыгане, да и русские исполнители никогда не делали ни одной паузы в первых строчках романса «За зеленым забориком ты не можешь уснуть». Никогда! Александр же Иванович уже за первыми двумя словами «за зеленым» позволял себе маленькую паузу; сразу после третьего слова «забориком» – вторую, да еще проигрыш, нагнетая интерес к сюжету романса. А уж после слов «ты не можешь» устраивал чуть ли не 30-секундную, что просто фантастично, паузу в тексте, заменяя его активными аккордами и проигрышем, отрывая от струн глаза, поднимая голову и проживая на глазах у слушавших какую-то сложную думку-загадку. Затем уж обрушивался, с продолжением основной мелодии в гитаре, на заключительное в строчке слово «уснуть». Я наслаждаюсь его талантом, поэтому с гитарой к нему не пойду.

Александр Иванович принял его очень тепло, но играть все же заставил на своей гитаре. Вава играл. Он волновался, но был в ударе. Александр Иванович чуть-чуть – и заплакал бы от восторга.

– Не понимаю, как ты можешь на слух играть Шопена, Баха?

Это гениально! Я преклоняюсь перед тобой!

– А я перед вами, и я тоже не понимаю, как вы волшебно играете и поете, чем, какой силой околдовываете нас!

Гости давно уже разошлись, а два удивительно восторженных человека до утра пили и играли, пели и пели друг другу, то плача, то хохоча, к счастью, не понимая таинства своих талантов. Они понимали друг друга сердцем, добрыми душами и разговаривали колдовскими звуками. И всего из семи нот!

Александра Яблочкина

«Я – девушка». Этими словами великая русская актриса Александра Александровна Яблочкина начинала каждую встречу со студентами театрального училища имени Щепкина при Малом театре. А их было, как правило, две за учебный год. Эти встречи – часть ее общественной деятельности.

Ее любили, чтили, уважали, берегли – добрые!

Ею восхищались, гордились – добрые.

Ей завидовали – злые.

О ней в течение чуть ли не ста лет сочинялись разного рода милые, добрые, наивные истории. Разобраться в том, какая из них правда, какая нет – невозможно. Да и не стоит этого делать, так как они все добрые. В этом сочинительстве злым делать было нечего. Все нижеследующие истории – факты.

Заседание художественного совета Малого театра. Государственного! Академического! Да еще ордена Ленина!

Константин Александрович Зубов (народный артист СССР да еще замечательный артист, к тому же – главный режиссер театра):

– Александра Александровна, голубушка, большая просьба. «Сверху» (министерством культуры) нам навязывают постановку плохой пьесы. Нам нужна сильная поддержка для того, чтобы освободиться от этой повинности. Не согласились бы вы навестить Вячеслава Михайловича Молотова (курировавшего искусство) и «заполучить его в наши ряды»?

Яблочкина (высоким, звонким, чистым голосом):

– О, с удовольствием. Когда?

– А вот сейчас же наберем номер телефона секретаря – и с Богом! Рядом ведь…

Это были времена, когда Совет Министров находился напротив гостиницы «Москва» (где сейчас Госдума), в трехстах метрах от театра. Александру Александровну посадили в автомобиль, а художественный совет замер в ожидании своего парламентера.

Через 40 минут появилась Яблочкина, улыбающаяся, разрумянившаяся, с еще более углубившимися ямочками в пухленьких розовых щечках.

– Поздравляю вас, дорогие мои! Еле-еле уговорила! Вячеслав Михайлович пьесу ставить нам… разрешил.

Немая сцена.

Студент:

– Александра Александровна, вы такая добрая, такая мягкая.

Вот нас учат искать в ролях, когда злые бывают добрыми…

Скажите, пожалуйста, вы были когда-нибудь на кого-нибудь очень злы?

Яблочкина:

– Почти никогда. Я христианка! Я прощаю злое всем людям, и они делаются добрее. Но однажды, должна признаться, была очень-очень зла на одного весьма солидного режиссера, который меня, ну, уж очень обидел. Я сделала ему замечание по поводу его неинтеллигентного выступления на собрании труппы Малого театра: «Вы забыли, что в этих стенах Ермолова играла!» На что он мне ответил: «Бабушка, с тех пор здесь три раза ремонт делали!» До сих пор не могу простить ему бестактность, хотя должна вам сказать, что при случае рассказываю эту историю, в кругу близких, как очень смешную.

Глубокая ночь. Квартира Яблочкиной. На стенах, словно часовые, – многочисленные портреты известных людей. Среди них и портрет Александра Ивановича Южина, в которого хозяйка была без памяти тайно влюблена (по ее же словам).

В постели сладко спит великая актриса с чепчиком на голове. Вдруг ее кто-то будит. Просыпаться не хочется – сон уж очень хорош. Но, видно, нужно, раз кто-то будит. Открывает глаза и… О, ужас! Две рожи полупьяных мужиков! Пахнет перегаром, чесноком… «Давай драгоценности», – выхрипывает одна из рож…

Яблочкина показала рукой на большую красивую шкатулку. «Физиономии» открыли ее, их глаза алчно заблестели ярче лежавших в шкатулке драгоценностей. Схватили ее и ушли. Вдогонку высоким, но мужественно звучащим голосом обворованная произнесла: «Вам за меня попадет!»

Сама Яблочкина рассказывала: «Дальше – снова сладкий сон…»

«Как это так?», «Как это возможно?», «Да после такого!», «Да я бы…», «Да ведь с ума можно сойти!» – тараторили все.

Яблочкина спохватилась: «Ой! Я забыла сказать, что в картонной красивой коробочке были бутафорские украшения под золото и алмазы. Цена им грош!»

Ну, не чудо ли Александра Александровна?

Игорь Ильинский

Есть, есть чудеса! Ей-ей!

Часто врачи и коллеги, руководствуясь самыми добрыми помыслами, отговаривали постепенно терявшего зрение знаменитого артиста от участия в спектаклях и концертах. Дело в том, что ослепленный огнями рампы и выносными прожекторами, он терял на сцене ориентацию, а во время уже последних спектаклей в своей жизни, ведя диалог с партнером, адресовал свои реплики иногда мимо него. Тем не менее это ни в коей мере не отражалось ни на логике поведения, ни на силе воздействия на зрительный зал. Буквально за месяц-два до смерти партнерам приходилось помогать ему и выходить на сцену, и покидать ее…

Так вот о чуде. Мало того, что он не прислушивался к таким советам, но еще, ко всему прочему, активно занимался режиссурой! И не хуже многих зрячих. Режиссировал на слух!

Он слышал малейшую фальшь на сцене и мгновенно воинственно реагировал на нее. И добивался правдивого, органичного, как мы говорим, существования артиста в роли и в предлагаемых обстоятельствах.

Меня всегда поражало мужество этого человека, его фанатичное сопротивление надвигавшейся трагедии – расставанию с любимой профессией! Слезы наворачивались на глаза при виде того, как незадолго до смерти его, беспомощного, высаживали из автомобиля, вели по лестнице в артистическую уборную, где он готовил себя к блистательному исполнению ролей – «Фирса» в «Вишневом саду», или Толстого в «Возвращении на круги своя», или Крутицкого в «На всякого мудреца…». Трудно было сдержать слезы и тогда, когда, встречаемый зрительным залом бурными аплодисментами, он буквально за эти несколько мгновений обретал уверенность и активно включался в происходившее на сцене! Столь же бурно, как и при его появлении, зрители аплодировали Мастеру, уходившему после сыгранной сцены за кулисы.

Я понял, что являлось движущей силой его упорного нежелания прекратить свою деятельность! Это был дух любви человеческой, дух благодарности за все сделанное им в искусстве, дух восхищения его нежеланием уходить с «поля боя», дух, помогавший ему жить, надеяться и творить, дух, исходивший из сердец сидевших в зрительном зале! Этот дух – народная любовь!

Ох, как трудно ее заслужить! Но заслужив ее – невозможно ей изменить или предать ее. Я понял, что любовь – выше всего! Даже зрения! Любовь требует свиданий! Понял, что если любовь не

обоюдная, она – трагедия. Его любили, и он поэтому был счастлив! Он не мог не работать, так как аплодисменты зрителей и были его зрением. Дай Бог артистам с прекрасным зрением заслужить и выстрадать возможность быть таким же счастливым, каким был в конце жизни почти слепой Игорь Владимирович Ильинский. Великий зрячий слепой!

Есть чудеса, ей-ей!

По 15–20 раз с мальчишеским восторгом смотрел я киноленты с участием любимого артиста: «Процесс о трех миллионах», «Закройщик из Торжка», «Праздник святого Иоргена», а позже – «Волга-Волга». Потешая сверстников, старался я изображать походку Игоря Владимировича, выражение его лица, манеру говорить, смеяться. В школьном драмкружке многие находили во мне сходство с ним!

Начинающим профессиональным артистом мечтал я играть его роли! М-е-ч-т-а-л!! Но предположить, что свершится чудо (чудес же, говорят, не бывает!) – ну, никак не смел! Но!..

В концертах играл Хлестакова, Присыпкина в «Клопе» Маяковского – в Театре сатиры, Расплюева в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина в очередь с Игорем Владимировичем(!) – в Малом театре! А Городничего в «Ревизоре» – тоже в Малом и тоже в очередь, да еще и в спектакле, поставленном им самим. Так как же? Бывают же чудеса? А?

А судьба Ильинского-артиста? Не есть ли она – тоже чудо? Настоящее!

От эксцентричного а ля «глупышкина» до глубокого трагика! Достаточно посмотреть любую раннюю киноленту с участием молодого артиста и сравнить ее с кадрами снятого на пленку спектакля «Возвращение на круги своя», в котором артист гениально играл монументального Льва Николаевича Толстого, – и ты убеждаешься в том, что чудеса свершаются не только на небесах!

Понять и изучить Ильинского трудно – как каждого талантливого человека. Мне это просто не под силу, так как знал его только по работе, да и то непродолжительной. Но тем не менее моя безоговорочная влюбленность в его кино- и сценические создания, в подсмотренные штрихи характера, в поступки, в особенности его творческого метода и манеру работать, влюбленность в его художническую честность и принципиальность – это достаточный запас впечатлений, позволяющий постоянно сохранять в себе преклонение перед его талантом, перед его фанатичной влюбленностью в свою профессию, перед его трудолюбием!

Спасибо судьбе за то, что она подарила мне общение с Игорем Владимировичем!

Спасибо Вам, Игорь Владимирович, за вашу принципиальность и смелость в отношении к опальному Мейерхольду, в оценке его значимости для русского театрального искусства! Эта ваша высоконравственная позиция в трудные «решетчатые» годы вывела на «чистую воду» многих, предавших Великого режиссера!

Спасибо Вам, Игорь Владимирович, за добрые статьи в дни моих 50-и и 60-летий! Спасибо за все добрые слова, сказанные в мой адрес! Они помогли мне сохранять чувство собственного достоинства – самого главного чувства, помогающего не опускать голову и улыбаться каждому утру, солнцу и людям! Я их помню, повторяю и горжусь ими! Они для сердца, для раздумий – они не для бумаги! Спасибо!

Надеюсь, Вы слышите меня! Спасибо!

Михаил Царев

В средневековом городе Шартре строился знаменитый собор. У трех строителей, возивших тяжелые тачки с камнями, спросили, что они делают. Один ответил, что возит тяжелые тачки, другой, что зарабатывает себе на хлеб, третий сказал, что строит самый красивый в мире собор.

Вот такое же разное мнение бывает при оценке того или иного человека, а уж артиста тем более.

Кто-то видел в Михаиле Ивановиче Цареве человека доброго, кто-то злого; кто-то считал его красавцем, а кто-то – нет; кто-то упивался его голосом, а кому-то он был неприятен; некоторые принимали его за отзывчивого, сердечного человека, а некоторые за замкнутого сухаря. Как общественного деятеля его то поносили последними словами, то возносили до небес. Были такие, кто считал, что он занимается саморекламой, а другие – что он был чрезвычайно скромен. Многие считали его блистательным артистом, но не меньшее количество театралов относились к его способностям иронично. Одним он делал добро, к другим же был равнодушен, но был способен и приглушить, не дать, запретить, осмеять, принизить. В разных ситуациях он проявлял совершенно противоположные качества: мог быть простым, мог быть барином, мог быть шумным в застолье, но и, если это было нужно, молчаливым дипломатом.

Одним словом, был он человеком, сложенным из противоречий, а люди выбирали те, которые нужны им были или для защиты его, или для нападения на него. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим. Но не могу не согласиться с тем, что был Михаил Иванович человеком ярким, личностным. Когда же затрагивали проблему наличия или отсутствия юмора в этом редко и как-то отрывисто-скрипуче смеявшемся человеке, я, отбрасывая все нюансы наших прохладных взаимоотношений, становился и сейчас остаюсь его защитником, защитником человека, обладавшего своеобразным и большим чувством юмора. Я часто говорил о том, что напрасно Михаил Иванович Царев не попробовал себя в комедийных ролях, даже таких, как Фальстаф и Мальволио. Я убежден – это имело бы большой успех. А исполнение им в острохарактерном ключе роли Вожака в «Оптимистической трагедии» укрепило мое глубокое убеждение в том, что Царев – неиспользованный комедийный артист!

Есть примеры неожиданных, парадоксальных актерских проявлений. Академичный Яхонтов очень смешно читал Зощенко. Маленького роста, с постоянным румянчиком на лице,

замечательный артист МХАТа Грибков убедительнейшим образом читал в концертах отрывки из гоголевского «Тараса Бульбы». А клоун Юрий Никулин – артист ведь трагикомический! Попадись ему соответствующий драматургический материал – наверняка стал бы первым трагическим, так как у нас нет ни первого, ни второго, ни десятого.

Итак, многоликий, парадоксальный, наделенный большим чувством юмора Михаил Царев.

«Штатная доносчица». Михаил Иванович, от артиста Н. пахнет водкой!

Царев. А может быть, коньяком?

«Штатная доносчица». Может быть.

Царев. У меня к вам просьба: в следующий раз, если обнаружите что-либо подобное, узнавайте точно, что ваш объект пил.

«Штатный блюститель порядка». Михаил Иванович, сейчас только десять утра, а наши сапожники уже под мухой!

Царев. Дорогой мой, а если бы вы были сапожником, под чем же еще находились вы к десяти утра?

После этих диалогов невольно вспоминаешь слова Алексея Денисовича Дикого: «Если театр начинает искать пьющих – это значит, что театру больше нечего искать».

Михаила Ивановича очень трудно было рассмешить. Почти пределом его оценки чего-либо смешного были слова «ничего», «смешно» или «забавно». Но если он все же начинал скрипеть своим особым, по-царевски эмоциональным смехом, значит, высоко оценил юмор и уж тут никаких слов не нужно было!

Общее собрание театра. Михаил Иванович – в президиуме. На трибуне – очень часто выступающий по любому поводу артист:

– Вот, скажем, артист Х. Позволяет приходить на спектакль и играть, так сказать, не в форме. Ведь видно, что он и пригубил и закусил солидно шашлычком. Наверное, красный, потный… А ведь, товарищи, не забывайте, что наш зритель иной раз с трудом накопит денег на билет, ведь он стоит два с полтиной.

– Вы хотели что-то сказать? – спрашивает выступающий у меня, поднявшего руку.

– Да, хочу. (Я знал, что артист Х. был гипертоником, болен диабетом, скрывал это и никоим образом о «пригубить» речи быть не могло.) Вот вы всегда играете не пригубив, не закусив, не красный и не потный. Как вы думаете, ваша игра стоит два с полтиной?

После собрания председатель президиума рассказал мне, что сидевший рядом с ним Царев после моей реплики чуть-чуть нагнулся к нему и шепотом спокойно сказал: «Нокаут!»

Диалог после этого собрания:

– Ну-с, Евгений Яковлевич, во сколько же вы оцениваете мои выступления в спектаклях?

– Скажу вам совершенно искренне. С возрастом вы делаетесь все более дорогим.

– Спасибо. Вы приятный покупатель! – был ответ.

Я был искренен в своем ответе. С возрастом и пришедшим опытом Михаил Иванович уходил все дальше и дальше от укоренившихся штампов амплуа героя-любовника, да еще с элементами искусственного пафоса. Он становился актером все более глубоким и скупым на средства выражения, проявлявшим большое мастерство в наивысшем назначении актерского творчества – в перевоплощении. Царев всю свою творческую жизнь увлекался художественным словом – выступал с чтецкими программами, и тем, кто слушал его, наглядно была видна его эволюция, его рост и в этой области актерского проявления. В чтении общеизвестных классических произведений появились неожиданные интонации, акценты, трактовки – очень глубокие и интересные, делавшие его мастерство все более и более высокого класса.

Жаль, что с возрастом не пришло к нему повышенное чувство меры, ибо чрезмерная творческая жадность, желание как можно больше быть на виду притупляло самоконтроль и позволило появиться на свет наряду с отличными ролями работам, не украшавшим на старости лет его большой послужной список. Мне кажется, более умеренная общественная работа на разных должностях, почетных и реальных, помогла бы Михаилу Ивановичу стать еще более весомой фигурой на артистическом поприще. Это мое сугубо личное мнение.

Закончились гастроли Малого театра в Алма-Ате. Прощальный банкет. Мне необходима резолюция Михаила Ивановича, улетавшего в Москву рано утром, разрешающая взять с собой трехлетнего сынишку в Дом творчества «Щелыково». На банкет не пошел. Дождался его окончания. Царев увидел меня с заявлением в руке.

– Вы что, объявили бойкот банкетам?

– Нет, мне нужна ваша резолюция, а после застолья как-то неловко обращаться с такой просьбой. – И объясняю суть дела.

– Голубчик! Я с трезвыми о Щелыково не разговариваю!

– Что же делать, Михаил Иванович?

– Возьмите с собой коньяку и ко мне в номер. Через три часа улетаю.

Сижу в его номере гостиницы. Михаил Иванович читает

стихи, собирает чемодан, показывает подарки и покупки. Понемногу пригубливаем коньяк. Я слегка хмелею. Утро. Дежурная сообщает: «Машина за вами прибыла!»

– Михаил Иванович, – чуть заплетающимся языком обращаюсь к Цареву. – Как же с ребеночком? В Щелыково, а?

– А я и с охмелевшими о Щелыково не разговариваю! – скрипуче закудахтал он. – Давайте заявление!

Я протянул бумажечку, он поставил на ней краткую резолюцию и провел синим карандашом стрелку в сторону фамилии директора Дома творчества. И все! Улетел. Что значила стрелка – загадка! Решили с женой ехать: не разрешат отдыхать с ребенком – снимем комнатку рядом в деревне.

Приехали. Директор увидел синенькую стрелочку и без слов распорядился предоставить нам гостевой двухкомнатный номер «люкс».

В заключение два маленьких эпизода.

После большого успеха премьерного спектакля «Господа Головлевы» с Виталием Дорониным в главной роли Иудушки Михаил Иванович тихонько сказал мне, постановщику спектакля: «Эх, вы! Не могли мне предложить эту роль!» Я промолчал, но был удивлен его неожиданной реакцией на успех спектакля.

К моему 60-летию Михаил Иванович разрешил на основной сцене в честь юбилея спектакль с моим участием и широкую его рекламу в городе с моим портретом. Подобным подарком ни один из актеров моего поколения, насколько хватает памяти, не одаривался!

Я был снова удивлен, но теперь уже его вниманием ко мне, тем более что взаимоотношения наши были, повторяю, прохладными. Но именно такие взаимоотношения, мне кажется, могли быть объяснением его щедрости в мой адрес. Одним словом, сложный, загадочный человек!

Я должен признаться, что, глядя на Михаила Царева и общаясь с ним, мною всегда овладевало какое-то странное чувство. Мне казалось, что вот-вот он снимет с лица маску и предо мной предстанет другой, неожиданный и, главное, да простит меня Всевышний, более симпатичный мне человек!

Виталий Доронин

Есть имена, одно упоминание которых печалит и радует, будоражит, не дает покоя. Виталий Доронин – такое имя. Воспоминание о нем, человеке и артисте, – это моя радость и боль, моя гордость и мой гнев. Радость – оттого, что он был мне другом и в счастливые дни, и в годы наших общих актерских и человеческих бед. Боль – оттого, что утрата друга невозместима. Гордость – от сознания, что последнюю свою замечательную роль, Иудушки Головлева, Доронин сыграл в поставленном мной спектакле. А гнев – от обиды за большого, редкого дара артиста, многие годы лишенного ролей, достойных его таланта.

Я приступал к реализации своей мечты – сделать инсценировку романа моего любимого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Долго мучился над проблемой – кого пригласить на роль Иудушки Головлева? Наконец после долгих уговоров остановил свой выбор на Виталии Доронине. Для всех (и для него самого) это было неожиданно: одного из самых симпатичных артистов, с ярким положительным обаянием и вдруг – на роль Иудушки Головлева, образа отрицательного, имя которого стало нарицательным.

Мне хотелось, чтобы Иудушка был не сразу противен зрителю, чтобы поначалу даже вызывал симпатию, потому я и пригласил на роль Доронина. И не ошибся. Спектакль имел большой успех, а Доронин вызывал просто шквал оваций.

Я как-то спросил у билетерши: «Почему таким большим успехом пользуется Доронин?» Билетерши всегда говорят правду, очень точно называя и промахи и удачи.

И она мне ответила:

– Если такие люди, каким выглядит Доронин, оказываются негодяями, так как же надо быть осторожным в жизни, как внимательно надо относиться к людям, которые тебя окружают.

Доронин сыграл всего четыре спектакля и умер.

Но эти четыре спектакля возродили Доронина. И те, кому удалось побывать на них, снова увидели развернувшийся в полную силу его талант, но уже в новом качестве. Виталий Доронин, вместивший в своей актерской индивидуальности многие светлые черты национального русского характера – доброту, обаяние, удаль, озорство, нетерпимость ко лжи, ярко отразившиеся в его внешнем облике и поведении, – вдруг предстал в страшном образе Порфирия Головлева. Парадоксальное сочетание внешне обаятельной, вполне

располагающей к себе фигуры артиста с отвратительным внутренним миром его героя произвело ошеломляющее впечатление. И это была не внешняя парадоксальность. Актер сумел органично сплавить противоречащие, казалось бы, друг другу черты в едином характере. В этом и была сила и новизна художественного открытия Доронина.

Лишь ему да мне было известно, ценой каких актерских и человеческих усилий далось ему это открытие. Полтора года работы над спектаклем было временем беспрестанных радостных и мучительных поисков доронинского Иудушки. И не на одних лишь репетициях в театре. Мы жили этой работой постоянно. Любая наша встреча, случайная или запланированная, становилась своеобразной репетицией. На улице, на отдыхе, в ожидании записи на радио и телевидении, во время шумных актерских застолий и совместных поездок в Щелыково мы обговаривали, пробовали, находили и отвергали, доискивались до сути образа, выстраивали его линию, открывали новые краски в актерском резерве Доронина. За столом забывали о еде, на рыбалке – о рыбе. Он будил меня по ночам телефонными звонками, и работа продолжалась. Это было как ожидание встречи с истиной, как откровение, как утверждение себя в искусстве!

Однажды на рыбалке мы молча сидели рядом, поглядывая на неподвижные поплавки. Каждый думал о своем. И вдруг Доронин вскочил. Его глаза, лицо, фигура выражали страдание, отчаяние, боль.

– Где?! – закричал он, протягивая ко мне руки. – Где все?

Это было так неожиданно, что я не сразу понял, в чем дело.

– Ты что, с ума сошел? – отпрянул я от Доронина и тут же понял: «Где все?» – финальная реплика Порфирия Головлева, вдруг прозревшего, увидевшего всю свою жизнь разом и кающегося в своем иудстве.

– Окуни где, я спрашиваю?! – тут же с лукавой и одновременно смущенной улыбкой свел Доронин свой внезапный порыв к шутке.

Это было настоящее творческое озарение, пришедшее вдруг, в момент, когда артист вроде бы и не думал о роли. Подсознание «выдало» ему давно знакомый, но еще не найденный на репетициях результат. В спектакле этот кусок стал одним из самых сильных.

Наверное, Доронин предчувствовал, что Иудушка Головлев – его последняя работа. Помню, на последней генеральной репетиции он сказал:

– По-моему, это моя последняя роль.

Потому всю свою нерастраченную творческую энергию вкладывал в нее без остатка. Нужно было видеть, как этот немолодой уже артист горел, жил ролью. Его энергия, темперамент, его одержимость, азарт определяли характер нашей работы. Несмотря на то, что я его хорошо знал и мы были дружны многие годы, лишь работа над «Господами Головлевыми» дала мне возможность узнать Доронина во всей полноте его человеческих и актерских достоинств, еще больше сдружила с ним всех участников спектакля. Поэтому, наверное, в одном из отзывов на спектакль было отмечено полное творческое единомыслие актера и режиссера.

О смерти Доронина я узнал в Куйбышеве. Послал в Москву телеграмму, которую просил прочесть у гроба Виталия.

«Когда уходит из жизни человек, это всегда трагедия. Когда уходит близкий твоему сердцу человек, это еще трагичнее. Когда уходит высокоодаренный, истинно талантливый человек, это горе. Это беда. Это несправедливо. Невозможно смириться с тем, что среди нас, актеров, нет больше Виталия Доронина. Однако это так.

Виталий, спасибо тебе за те минуты, часы, дни, годы твоей жизни, которые имели отношение и ко мне, как к твоему товарищу. Я всегда был влюблен в твой талант, в твое обаяние. Спасибо тебе за совместную работу над спектаклем „Господа Головлевы“. Я смело могу тебе сказать, дорогой мой, что твоя последняя работа, Порфирий Головлев, – высочайшего класса творческая победа. Я надеюсь, что в последние минуты твоей жизни воспоминания о работе над этим образом доставляли тебе секунды морального удовлетворения. Прощай, дорогой мой друг. Прощай, большой артист. До последних минут моей жизни ты будешь жить в моей душе. Твой Евгений Весник. Июнь. 1976 г. Куйбышев».

Как же мне было приятно услышать потом из уст его жены следующие слова: «Спасибо тебе, Женя, что ты занял его в этом спектакле. Он был несправедливо обойден театром. И в последней его работе он был счастлив. Это счастье переполнило его душу. Он, по-моему, умер от счастья».

Виталий Доронин, Петр Алейников, Иван Переверзев, Борис Андреев, Василий Меркурьев, Михаил Яншин – всех этих актеров Бог наделил каким-то особым даром обаяния. Они были очень разные, но сила и качество обаяния каждого были очень схожи – все они были из чаши Добра! Все они были в святом смысле слова – богоугодными человеками! Магнитами! К ним тянуло

всех и вся. Я не могу себе представить нормального человека, который испытывал бы чувство неприязни к этим людям. Я не могу себе представить этих артистов в качестве ложных общественников, болтунов, разглагольствующих на любые темы, начиная с судеб мира и кончая перспективой захоронения чьих-либо останков, причем варьируя те или иные темы в зависимости от политических и общественных обстоятельств, от того, кто за штурвалом страны!

Я не могу себе представить ни одного из названных беспрерывно проводящими время на заседаниях, в президиумах, занимающими одновременно 5–10 разных постов, должностей, почетных и реальных. Что значит быть в одно и то же время худруком, артистом, преподавателем, общественным деятелем, сопредседателем какого-нибудь заведения, депутатом чего-либо и т. д.? Сосредоточиться при таком количестве функций на чем-либо одном невозможно, а следовательно, невозможно быть полезным ни в чем.

Доронина как-то избрали председателем месткома театра, и, надо сказать, причем делалось столько добрых дел, как ни при ком другом! Он не занимался своей персоной, он сосредоточивался на делах для других и потому был полезен и любим. Доронин в должности председателя месткома оставался Дорониным во всех проявлениях. Многих тянуло на заседания месткома с его участием, так как он никак не соответствовал принятому облику советского месткомовца с особой лексикой: «партия и правительство», «школа коммунизма», «советское лучшее», «самая демократичная», «наш долг», «ближе к народу», «ближе к партии» и т. д. и т. п.

От председателя Доронина можно было услышать: «Братцы! Надо дать. Надо подарить. Надо помочь. Надо пойти и добиться. Надо похлопотать. Надо навестить в больнице. Я пойду. Я постараюсь. Не надо трепаться, надо делать».

Доронин был художнически честен, бескомпромиссен и как-то по-особому чистоплотен. Весь облик Виталия Дмитриевича был богоданным отрицанием банальности, он был природой защищен от нее. И это было счастье его – человека и художника. Он открыто любил и так же открыто, не скрываясь, презирал то, что считал несовместимым с жизнью артиста, театра, искусства. Он был откровенен в выражении своих симпатий и антипатий, и поэтому, очевидно, снискал славу «трудного» человека. Был из тех, кто «не умеет жить», «пробивать» роли, добиваться чего-нибудь для себя.

Последнее, впрочем, можно в какой-то мере поставить ему в вину. И не только ему – многим художникам, чья ложная

скромность невольно способствует тому, что бесталанные, но весьма активные в борьбе личности пробиваются в «лидеры» и свои убогие мыслишки, примитивные создания возводят в эталон художественного мышления. Ведь каждое отступление подлинного художника – это победа посредственности. Каждая значительная работа художника – это не его лишь, а и национальное достояние. И художник обязан его пополнять, обязан быть активным в создании своих творений.

Увы! Доронин многого не сыграл. И это не его потери, но наши общие. Самая большая из них – царь Федор. Уверен, что, сыграй Доронин Федора, это было бы крупнейшее событие в истории русского театра. Говорю это совсем не в упрек тем, кто играл эту роль. Доронин был рожден для этой роли. Весь облик его, склад ума, манера поведения, выразившие гармонию национального характера, в сочетании с образом трагедии А. К. Толстого не могли не стать значительным художественным явлением.

Да, имя Виталия Дмитриевича Доронина рождает много радостных и тревожных мыслей. Одна из самых тревожных – вынужденные, изнуряющие простои больших талантливых артистов. Артисты могут годами «работать» в театре и ничего не производить. А когда вдруг случается роль… робеют. Мне целый год пришлось уговаривать Доронина сыграть Иудушку Головлева. И отказывался он не только потому, что не видел себя в этой роли, но и потому еще, что отвык от дерзаний.

Виталий Дмитриевич думал о людях, люди о нем думали меньше. Он, повторяю, сыграл ролей меньше, чем мог, чем хотел. И страдал из-за этого, страдал незаметно. Но страдал как добрый человек, никого не виня в невнимании к нему. Он был истинным талантом, а потому явлением, раздражавшим многих. Завистливая серятина, как саранча, – не слабое сообщество. Оно способно сдерживать потенциальные возможности таланта, не понимая того, что чем больше энергии «саранча» тратит на ограничение таланта, тем большую любовь и уважение к нему порождает.

Любовь людей Доронин и заслужил и выстрадал!

Каждый раз, вспоминая Виталия Доронина, говоря о нем или пытаясь написать о нем, я невольно вспоминаю полюбившиеся мне слова французского этнографа Клода Строса: «Мир дороже жизни, жизнь дороже человека, уважение к другим дороже любви к себе».

Плавание на «Ноевом ковчеге»

Чудеса! Прошло всего два года с того дня, когда я преклонял колени пред Гробом Господним, когда боялся говорить громко в древнем и святом Иерусалиме, когда был полон впечатлениями от страны, в которую мы привозили спектакли Малого театра. И вот снова – в гости к Христу!

Итак, в Израиль (во второй раз), через Стамбул (впервые) и Пирей (во второй раз, хотя первый и был очень коротким).

«Бог троицу любит». Любит, любит – это я могу (как говорят самые безответственные государственные деятели «со всей ответственностью и определенностью») подтвердить. Давно, скажем, не видел человека – вдруг встретил раз-два, значит, обязательно встретишь и в третий раз. Поймал две рыбки, обязательно и третью Бог пошлет. Нашел два боровичка на полянке – не уходи! – обязательно где-то рядом затаился третий крепыш толстопузый. Захотят два бывших строителя светлого будущего опустошить сосуд нашего «национального» напитка – обязательно «проявится» третий! Или – «обещанного три года ждут»…

Сейчас во второй раз предстоит побывать в Израиле. О своем первом путешествии туда – о гастролях Малого театра в 1990 году – я уже рассказывал выше. На сей раз буду сниматься в кинокартине по сценарию и в постановке Эфраима Севелы «Ноев ковчег» в почти главной роли. Чему очень и очень обрадовался, потому что смогу сравнить свои впечатления от древней страны образца 1990 года с теми, которые возникнут в 1992-м.

Известие же о том, что в 1994 году намечено снимать вторую серию названного фильма и что я в третий раз побываю в Израиле, – не лучшее ли доказательство того, что Бог действительно любит троицу? Любит, любит!

А пока предполагаемые, как принято говорить в театре, обстоятельства: до отплытия из Ялты – девять дней (сегодня 21 марта 1992 г.); сценарий не видел, не читал; жанр фильма – комедия; должен сыграть роль бывшего фронтовика – русского дедусю-вдовца, которого дочь от умершей жены-еврейки (а с ним и внучку) увозит в Израиль, к его великому неудовольствию; партнеры – очень хорошие артисты: Роман Карцев, Семен Фарада, Валентина Петрова из театра «Современник», Алексей Гуськов – из театра имени Гоголя, Римма Маркова из Театра киноактера; текст будет выдаваться перед съемкой на пароходе; весь фильм – основные кадры – должен быть снят за время круиза за

двенадцать дней (небольшие досъемки в Химках, на палубах теплохода в Москве); костюмы – свои; грима – никакого!

Ну, что за прелесть! Такого в моей практике еще не было.

И еще – импровизации! Ура!

Когда отсутствует долгий, часто нудный репетиционный период, да еще собирается компания одаренных артистов, а режиссер – не узурпатор… О! Тогда это – настоящий бал импровизации! Это – наслаждение!

28 марта 1992 г. Курский вокзал. Отправление в 14.55. Я в двухместном купе с Эфраимом Севелой!

Он – многогранник: эрудит, блистательный писатель, лирик, барин, простак, во всем парадоксален (признак истинного таланта), авантюрный ребенок, холостяк, владелец квартир в Германии, Москве и дома на острове Фиджи (!), предприниматель, артист, продюсер, аскет в одежде, трезвенник, сильный (и духовно и физически) человек… Одним словом – из тех, которые не могли «ужиться» с советско-партийными самоуверенными «духовными» папуасами, из тех первых диссидентов, которых просто вышвырнули из страны!

Кто-то, хорошо знающий Севелу, назвал его «мухой с оторванными крыльями, ползающей по глобусу». Он часто говорит, что его – теперь гражданина Америки – тянет обратно в Россию, поэтому здесь он работает и живет вот уже третий год подряд… Верю! Конечно, верю. Но… Если бы не дешевые артистический труд и процессы издания своих очень хороших книг и создания фильмов (дешевых в сравнении с ценами в Европе и в Америке), не задерживался бы он так долго в одной стране. И он с этим согласен.

Я нисколько не подвергаю сомнению тоску по родине. Нисколько. Но нигде в мире не смог бы он за короткий срок издать почти десяток своих (не устаю говорить – замечательных) книг и снять чуть ли не пять фильмов. Небольшой пример: мой гонорар за исполнение главной роли раз в 20–30 меньше того, который пришлось бы заплатить американскому артисту (не только там, но и здесь!). Так что есть смысл не только по причине ностальгии задержаться в России.

Можно ли Севеле что-нибудь поставить в упрек? Упаси Господь! На фоне грызущихся болтунов, не знающих, как распорядиться появившейся свободой, употребляющих ее на то, чтобы снова загнать ее в конуру, он – трудолюбивый мастеровой, создающий ценности: отличные книги и фильмы – примеры человеколюбия во имя решения общечеловеческих проблем. О нем кто-то сказал: «Он не просто большой еврейский писатель, он

больше – он просто Большой писатель». Поэтому очень неожиданны слова Севелы из книги «Остановите самолет – я слезу»: «Евреи, рассеянные по всему миру, по всем странам, – это отличное удобрение, помогающее процветанию этих стран. Евреи же, собранные вместе, превращаются в обычное говно».

29 марта 1992 г. Ялта. Гостиница «Крым».

Вся наша молодежь на втором этаже. Я – 70-летний – на третьем. Лифта нет. Балкон на три номера – один! Кради кто и что хочешь! Туалет в коридоре. Воды теплой нет. Туалетная бумага, сказали, «только для иностранцев». Телевизор не работает. Очевидно для директоров (и гостиницы и нашей киногруппы) «забота о человеке» – главный лозунг…

30 марта 1992 г. Наш директор-человеколюб поднял всех в 9 утра, «выволок» всю киногруппу на улицу. Разбили «табор» на причале. Ждем теплоход «Астра»…

20.00. В глазах уже темно от усталости.

Минутный диалог с таможенником.

– О! Кого я вижу! Здравствуйте! Неужели насовсем?

– Не-е-е-т. «Насовсем» я не способен. Я с киноэкспедицией – Стамбул, Пирей, Хайфа и обратно – «до дому, до хаты».

Один из пассажиров настолько заждался посадки на теплоход, что постепенно превратился в весьма опьяневшего (правда, интеллигентного вида) мужчину. Покачиваясь, держась руками за какой-нибудь предмет или за человека, он передвигался со скоростью два сантиметра в час. Как только в поле его расфокусированного зрения попадал артист Семен Фарада, оживлялся, отрывал одну руку от предмета, за который в тот момент держался, показывал на него пальцем и, с трудом выговаривая буквы, произносил: «Се-е-е-ме-но-о-ов!» Не получая ответного импульса от Фарады, он каждый раз безнадежно отмахивался от него и с досадой кряхтел:

«Э-э-э-э-эх-х-х-х-э-э-э! Семенов! – э-э-э-э-э-эх-х-х-х-хэ-э-э-э!»

Диалог с симпатичным розовощеким 30-летним человеком с открытым, добрым лицом.

– Здравствуйте! Узнал вас! Отдыхать?

– Здравствуйте. Работать. Съемки.

– Как вам Ялта?

– Ужасное впечатление производит на меня любимая Ялта. Я бывал здесь еще пацаном с родителями, потом с киноэкспедициями, с концертами. Посмотрите на морской вокзал – грязь, запущение… А был – красавец! Уютненький.

– Да, да, да… Ужасно. Туалет закрыт – дверь заколочена

гвоздями. (Улыбается.)

– Ведь Ялта! Черт побери! Лучшего курорта нет! Весь мир знает, что такое Ялта! Чехов!

– Да, да, да. (Опять улыбаясь.) Ну, а пароход наш? «Астра» наша! Где она, где этот «милый цветочек»? Что же это такое? Люди платят огромные деньги, огромные! И… пожалуйста. Уже на семь часов опаздывает. И никакой ответственности, ни тебе «извините», ни тебе «неустойки»! (По-доброму смеется.) Вот такая страна – без «неустойки»!

– Обидно. Коммунистический диктат перешагнули. Инициативе людской дорога открыта. Свобода? А вот энтузиазма не видно. Улучшений не видно…

– Перешагнули ли? (Улыбается.)

– А как вы считаете? Демократы, слава богу, победили…

– Победили ли? (Улыбается.)

– К черту политику! Эх, отсняться бы поскорее, да домой… «Не нужен мне берег турецкий и греческий и Африка мне не нужна… тоже».

– Вернемся ли? (Улыбается.)

– Не пугайте! Что нам может помешать?

– Ну мало ли что может случиться! Перево… Революю… Пут… Понимаете? (Хохочет.)

– Типун вам на язык! Не дай Бог! Не пугайте. (На каком-то судне зазвучала веселенькая мелодия. Она придала мне сил.) Скорее бы в каюту забраться. Отдохнуть. Ноги гудят, спать хочется. С утра здесь…

– Отдохнуть хотите? (Улыбается.) Не получится. (Хохочет.) Только отчалим – начнется учебная команда «Тревога!». Для экипажа, конечно. Но вас все равно разбудят. Жилет спасательный заставят надеть. Потом возможен шторм, качка… Гулянка в баре начнется по поводу отплытия. Ор, крики, шум, гам, музыка до утра… Не заснете.

– Мдаа! Большой вы оптимист!

– Вы угадали – оптимист! Хотя бы потому, что не поддаюсь самообману! Не люблю себе врать! (Хохочет.)

Мне почудилось, будто ему далеко вторило эхо – не то с гор, не то со стороны моря. Мурашки пошли по спине…

Устроившись в каюте, долго не мог заснуть – вспоминал диалог с улыбавшимся пассажиром-«мефистофелем». Сложно ли ему, легко ли жить? Быть может, смысл «черного оптимизма» – в подспудном ожидании неожиданной и желанной радости от чего-либо светлого, обязательно прорвущегося сквозь пелену отрицания всего и вся? Если так – он игрок, артист! Сильная

краска: постоянно вещать что-либо отрицательное, страшное, злое – с улыбкой. С очаровательной улыбкой или хохоча! Чтобы «не сглазить» ожидаемого светлого, радостного?

«Астра» – судно югославской постройки, повидавшее виды, свой срок (30 лет) отработавшее. Но подлатанная, подкрашенная, она продолжает трудиться и зарабатывать деньги. И немалые! – для приватизировавшей его компании дельцов. Из-за нерасторопности нашего директора, постоянно объясняющегося мне в уважении и любви, только я – самый пожилой из всей группы – просидел три часа на нижней палубе в ожидании каюты. Ходили мимо люди, очень разные – дамы, жаждущие знакомств, деловые мужчины, влюбленные, под хмельком… Среди них увидел того, который звал Фараду «Эх, Семенов!» – его почти внесли в каюту. Мой «Мефистофель» не появлялся. Многие меня узнавали, некоторые просили автограф, все выражали соболезнование по поводу моей неустроенности. Одна дама приглашала к себе в каюту. Не решился… Знойная уж очень. Подошла девица, представилась официанткой, спросила, не нужно ли чего-нибудь принести. Очень кстати! Но не бросишь же чемодан и в ресторан его не понесешь. Принесла ужин… На палубе, воспользовавшись вместо стола чемоданом, вкусно поел и даже пригубил «капитанские» 100 граммов, положенные за первым ужином. Разговорились.

– Я сама из Одессы. Ведь «Астра» приписана к одесскому порту. У меня вопрос есть, можно?

– Да, да, конечно.

– Неужели правда, что когда на сцене артисты поцелуются, у них любовь возникает?

– По ходу сценического действия и да и нет…

– А в жизни?

– Вряд ли. Или редко…

– Спасибо.

– За что?

– Не хотела мужа в драмкружок отпускать – там с одной девчонкой целоваться требуют. Боялась, ревновала. Теперь вот с вами поговорила, и с вами согласная – отпущу. Пусть идет, пусть целуется. Мне плевать! А на спектакль – хоть убей! – не пойду. Если хоть раз ночевать домой не придет – сама в драмкружок запишусь! Посмотрим, кто из нас артист получше! Спасибо вам!

Наконец я один в каюте! И хотя она двухместная, но тесная, мрачноватая. И… благоухающая дорогими духами. Горничная объяснила: «До вас тут плавала парочка. Они уронили и разбили флакон французских духов. Так что нюхайте на здоровьичко! На весь круиз хватит. Стойкие духи. Я бы с удовольствием у себя

дома такие разбила!» Окошка-иллюминатора нет. Только кондиционер. С характером: дарит или жару или холод. Средняя температура не в его компетенции.

Сирена. Музыка! Отчалили! 12 ночи!

Спать, спать, спать…

Первая сцена, снимавшаяся рано утром на борту судна, насторожила, но и приятно обрадовала. Насторожила – «глубиной философских мыслей», сравнимых лишь с шекспировскими.

Я: Вот они, Дарданеллы!

Дочь *(по роли)*: Папа, это Босфор.

Я: Это Дарданеллы…

Дочь: Это Босфор…

Я *(нервно)*: Это Дарданеллы, это Дарданеллы, это Дарданеллы, а потом Босфор…

Подходит Севела в роли капитана судна.

Капитан: Это Босфор, а потом будут Дарданеллы.

Я *(обрадованно)*: Ну вот, слышишь. Я же тебе говорю, доченька, – это Босфор, а потом будут Дарданеллы.

А обрадовала сцена тем, что Севела оказался очень хорошим правдиво-органичным, как мы говорим, – артистом.

Когда пассажиры узнают, что вот этот полненький, симпатичный дядечка и есть сам Эфраим Севела – реакция одна и та же: «О-о-о-о-о-о!» Значит, знают, ценят, раз «о-о-о-о-о-о!». Почти все пассажиры наблюдают за нашей работой. В паузах между съемками – подходят, задают вопросы.

Подошел мужчина средних лет.

– Прошу автограф.

– На паспорте нельзя. Нет, нет. И на денежной купюре нехорошо… Ну, что вы, где это видано, чтобы артисты на грязных носовых платках оставляли свои автографы? Нет!.. На фотографии Сталина? Принципиально – нет-нет! На ладони? Вы что, смеетесь надо мной?

– Не ожидал… Обижаете.

Позже кто-то из нашей группы рассказал, как любитель автографов жаловался на меня: «Зажрался, забыл, что искусство принадлежит нам – народу, а не артистам да режиссерам!»

31 марта. Стамбул!

Такое впечатление, что мы вплыли прямо в город. От борта до административного корпуса порта метров 10–12. Теплоход наш потерял свой образ плавающего гиганта – он стал огромной гостиницей, как бы въехавшей в улицу города. Между правым бортом и причалом зазора нет, воды не видно.

Перед самым входом в Босфор на якоре стоял наш грузовой пароходик, нагруженный донельзя – вот-вот утонет! – ящиками. К нему, от него, вокруг него сновали турецкие суденышки, растаскивающие эту гору груза. Проходивший мимо меня по палубе матрос прошептал на ухо: «Мафия, наши контрабандисты». В том, что это так, убедился в первые же минуты пребывания на турецкой земле.

Сходишь с трапа, и буквально в пяти метрах – вход в морской вокзал. Еще 10–15 метров – и ты в шуршащем человеческом «муравейнике»! Но что за черт? Галлюцинации? Розыгрыш? Куда ни глянь – все наше, советское. Наваждение! Ты дома? Здесь просто изобилие «нашенского»! Всего того, что чуть ли не с миноискателями, рыская по городу и селу, совлюд пытается хотя бы увидеть, чтобы не забыть! (Не забывайте, это была весна 1992 года.)

Трудно перечислить товары нашего изготовления, которых здесь не встретишь. Мало того, с гордостью видишь такие, о которых знаешь только понаслышке. Вся эта разноликая масса «гордости» смотрит на вас с мольбой – вернуть ее «из турецкого плена» домой. Но пароходики и огромный, хорошо организованный трудовой коллектив «туда-сюда» предпочитают ублажать кого угодно, только не своих… Интернационалисты! Христиане!

На самом же деле, все, что ласкает здесь твой взор, не отдано кем-то кому-то, а просто у тебя уворовано. Нас наши же грабят. А мы всему миру «дай-дай», «помоги» для того, чтобы, получив, снова разворовывать… Утюги, канистры, аспирин, печень трески, велосипеды, завал красной и черной икры, полное собрание сочинений Сталина – это все же детские игры в «бизнес» на фоне деятельности группы «круизистов», как оказалось, под командованием моего собеседника-«мефистофеля»!!

О программе масштабной деятельности этой группы, занимающейся куплей-продажей, перекуплей-перепродажей бывших в употреблении автопокрышек, подержанных автомашин, мне поведал один из членов экипажа.

Есть и другие специализированные группировки: «шоколадники», «обувщики», «ковровцы», «специалисты» по парфюмерии, часам, женскому белью, спортивной одежде. Все товары вывозятся в Союз огромными партиями (это помимо официального государственного товарооборота) и из Турции и из Израиля. Что самое «смешное», до слез, – количество и качество этих товаров у «них» почему-то не уменьшается, а, наоборот, с увеличением спроса – растет. «Уморительно», до слез!

Жанровая картинка: следом за нами, в хвост, пришвартовался

теплоход «Лев Толстой». Прекрасное, мощное, молодое – не чета нашей «Астре» – быстроходное судно, названное всемирно уважаемым именем гения, чьи труды воспринимаются всем читающим миром как художественные и духовные вершины нашего народа. (Столь высокий стиль необходим для контраста с нижеописываемым). И вот вижу – и не только я, но и турецкие таможенники, полицейские, матросы, грузчики, шоферы, – как наша «родная» пассажирка, тяжело дышащая, толкает перед собой одной рукой тележку на колесиках, нагруженную несколькими в «трубовалики» свернутыми коврами (дешевые, из синтетики); такие же, два или три, обвили ее нежную шею и свисают чуть ли не до пола, словно красивый турецкий халат; в другой руке – еще ковер. Беленькое (когда-то) личико с глазами, выражающими азарт и счастье от предчувствия выгодной продажи своей ноши (а следовательно, улучшения своего существования до следующего круиза), смотрится, как будто она вышла из парилки.

Ну что делать? Ругать ее, смеяться или осуждать?

Не знаю… Если бы меня попросили сделать так, чтобы никто на свете не смог больше увидеть подобную унизительную картинку, я бы резко увеличил производство разных ковров и продавал бы их по доступной цене. Если бы «мы» сами не смогли этого сделать – отдал бы производство в руки иностранцев.

Утопия! Непрофессиональные рассуждения! Ну почему же? Ведь когда необходимо было что-то решить, страна наша делала именно так, как я предлагаю, – обращалась к «варягам». А эпоха Петра и Екатерины Великой? А индустриализация страны в сталинские времена? А Отечественная война? Я ведь участник ее, этой какофонии патриотизма и идиотизма. Артиллерия, начиная с 76-миллиметрового калибра, была почти вся на американской тяге: автотягачи «Додж», «Студебеккер», трактор «Каттер Пиллер»; обмундирование из английской шерсти, американская тушенка…

Стамбульский рыбный базар! Это фейерверк искрящейся под солнцем чешуи! Вот где материализация строчки «шаланды, полные кефали» и еще такого количества разных рыб, что описывать это бесполезно!

В детстве я видел знаменитый одесский базар Привоз. Мне казалось, что ничего экзотичнее, красочнее и разнообразнее, чем его рыбные ряды, быть на всем белом свете не может! И вот Стамбул «порушил» мои детские фантазии. Самое впечатляющее: во всех больших лодках рыба обложена льдом и постоянно поливается водой. Ни мух, ни запаха! (В Одессе за три квартала до рынка ты уже чуешь рыбные ряды!) Лодки привязаны к кнехтам на высоком берегу, вдоль которого – асфальтированная

дорожка, ведущая к длинному ряду рыбных ресторанчиков. На берегу, над лодками, – покупатели… Торгуются громко, перекрикивая друг друга. Рыбаки продают улов поштучно или на вес, в целлофановых пакетиках и, ловко закрутив их в узел, бросают наверх в руки покупателя, а те бросают в лодку деньги.

Стараюсь увидеть как можно больше, ведь завтра съемки, а послезавтра в 9.00 мы уже отчаливаем.

1 апреля. Ждал или розыгрыша или подвоха какого-нибудь. Не дождался… только бармен нашего дредноута обрадовал вопросиком. Думал – первоапрельский розыгрыш, а оказалась «тяга к культуре».

– Наш телеграфист рассказывал (то ли на палубе болтали, то ли по морзянке поймал), что Геннадий Хазанов какое-то отношение к Долорес Ибаррури имеет. Вроде бы он ей сын, а отец… какой-то Аркадий Хайт. Очень, говорят, творчески богатый человек и любит вроде бы сына очень, богатством своим делится с ним. Одним словом, отец хороший, толковый. Ничего не слыхали про эти разговоры?

– Нет, ничего такого в последнее время не слышал. Но обоих хорошо знаю и очень люблю. Если эти слухи имеют под собой какую-нибудь почву… если учесть возраст того и другого, думаю, что сыном Долорес скорее всего должен быть Хайт, а Хазанов – конечно же, ее внук…

– Конечно, конечно! Согласен. Все объясню телеграфисту, а то он извелся совсем. Бедняга, молодой еще, но очень любознательный! Многое знает, к культуре очень тянется, ну, а тут, видите, застопорилось дело. Все ему расскажу, вот обрадуется! Спасибо вам. Не выпьете немного? Угощаю.

– Нет, нет. Спасибо. Пока еще не заслужил. Вот если еще что-нибудь застопорится, а я распутаю, ну тогда уж…

Весь день на палубе. Лишь после обеда довелось побывать в центре Стамбула, сняться на фоне знаменитой голубой мечети, очень красивой, очень большой и самой главной в стране. Снимали в торговых рядах: сотни магазинчиков, магазинов, магазинищ. Крик, ор, не очень чисто.

Съемка очередной сцены: я останавливаюсь посредине тротуара, рядом с собой ставлю сумку, достаю носовой платок, вытираю вспотевший лоб, нагибаюсь за сумкой… Сумки нет! Вот и вся сценка. Сумку должен «украсть» наш артист. Репетировать не стали, лишь на тротуаре пометили мелом место моей остановки и договорились, что только по команде Эфраима Севелы артист-похититель начнет приближаться ко мне и,

оглядевшись по сторонам, цапнет мою сумку…

Звучат команды: «Все по местам! Приготовились к съемке!

Мотор!» Начали! Потихонечку иду, останавливаюсь, ставлю сумку на тротуар, вытираю пот, «жулик» делает свое дело – цап сумку! – и… Вдруг вопль, бросок местного дядечки в сторону «вора». Сумку у нашего артиста вырвали, ему заломили руки, ор превратился в дикий хор. Лишь невероятными усилиями двух переводчиц – нашей и турчанки – удалось «подавить восстание» защитников правопорядка.

Все было чрезвычайно забавно, если бы не чувствительные тумаки, которыми был награжден наш артист…

Многие любопытные из числа наших пассажиров поехали с нами на съемку. Да и на город взглянуть. В паузе между съемками подошла ко мне ну очень серьезная дама лет пятидесяти:

– Можно задать вам вопрос? Я из Анадыря. Смотрела вас в гоголевском «Ревизоре» по телевидению. Я в восторге… Я очень далека от театрального мира. Скажите, как это вы запоминаете такое – с ума сойти можно! – количество текста Городничего? Долго, наверное, зубрили?

– Во многом помогает память, рефлекс. Когда точно знаешь свои поступки, чего хочешь добиться – как бы механически фиксируется необходимый для достижения цели текст твоего героя. Понимаете?

– Понимаю, понимаю! Рефлекс – механический! И он фиксирует! Понятно! А потом подсказывает!.. А он тяжелый, ну, этот аппарат? Тяжелый?

2 апреля 9.00 утра. Загудела-забасила наша «Астра», отошла от причала Стамбула и направилась в греческий порт Пирей.

Вихрем закружились воспоминания, воспоминания…

Гастроли Малого театра в Афинах и Салониках в 1978 году. Бесшумные, огромные «фиаты» мчат нас из Афин в Салоники. Традиционная остановка около развалин старинного греческого театра. Нам повезло – на сцене под открытым небом играется древнегреческая пьеса. Не зная греческого языка, традиций старинного театра, особенностей актерского мастерства, вы мало чего поймете, а уж рассказать смысл происходящего, конечно, не сможете, не говоря уже о жанре представления. Первое впечатление – пародия, капустник…

Через всю сцену – из глубины на первый план, где стоят остальные артисты, – важно идет артист в древних одеждах и гриме, с чуть приподнятой и протянутой вперед правой рукой и

опущенной и оттянутой чуть назад от туловища – левой. Громко, нараспев говорит долгий текст. Дойдя до авансцены, поворачивается, меняет положение рук – теперь левая смотрит вверх, правая – назад вниз. И, не прекращая говорить, скрывается в глубине за кулисы…

– Что он сказал? – шепотом спрашиваю у переводчицы.

– Он сказал – «Пора ехать!».

– И все? – Я чуть было громко не засмеялся.

– Все.

– А почему же так долго? Многословно?

– Он к каждому обращался по имени, называя, кроме того, еще их должности и звания.

– Это комедия?

– Трагедия.

Весь плац для автобусов «обшит» ларьками, малюсенькими барами на два-три столика, ресторанчиками на пять-шесть. Подходим к «заведению», торгующему вином. Показываю хозяину один палец и на бутылку. Дает. Плачу. Открывает. Показываю шесть пальцев и на фужеры. Дает. Наливаю. Нас пятеро. Шестой фужер протягиваю хозяину. На его лице – некоторая растерянность. Чокаемся… Говорю: «Ваше здоровье, дядько!» «Дядько» заулыбался и выпил. Отходим к автобусу. За спиной слышим: «Дядько!» Оборачиваемся. Продавец манит к себе. Возвращаемся. Грек открывает новую бутылку, ставит на поднос шесть чистых фужеров, наполняет их и говорит: «Дядько!» Чокаемся. Жестами и поклонами показывает, что теперь он нам всем желает здоровья. Благодарим. Предлагаю деньги. Качает головой, дескать: «нет, что вы, я на этот раз угощаю». Благодарим, кто на русском, кто на немецком, кто на английском. Выпиваем. Я показываю пальцем на бутылку. Еще! Плачу! Выпиваем. Грек разрумянился. Благодарит поклонами. На лице – восторг! Автобус сигналит, созывая всех наших. Многие уже в салоне. Прощаемся, обнимаемся, даже лобызаемся. Что поделаешь – собутыльники ведь! Дружба навеки! Подходим к нашему «фиату», вот-вот войдем. Вдруг снова слышим: «Дядько!» Надрывное, щемящее, тоскливое – «Дядько-о-о-о!». Опять зовет к себе, опять угощает. Мы – его, он – нас, мы – его, он – нас. И все повторяет:

«Дядько! Дядько!» Очень ему понравились и винная игра и это слово. «Фиат» сигналит, сигналит и наконец трогается… Финальная мизансцена: на дороге, окутанный выхлопным автодымом, стоит удаляющийся от нас наш друг, держа в одной руке поднос с наполненными бокалами, и машет нам другой. По артикуляции губ видим повторение одного и того же слова: «дядько», «дядько», «дядько»…

Переводчица-гречанка сказала, что мы – первые туристы, угостившие его, хозяина, его же вином. Первые за всю его жизнь.

Первое утро в Афинах.

7.30. Звонок…

– Алло?

– С добрым утром. Это Весник? С приездом! Это говорит дедушка твоего сына Жени…

– Братцы, дайте поспать. – Вешаю трубку.

7.33. Звонок… Снимаю трубку.

– Ну, что? Угомонитесь, черти! Неужели всю ночь… (Грешу на своих веселых коллег.)

– Серьезно, это говорит дедушка твоего сына…

– Идите вы! – Вешаю трубку.

7.36. Звонок…

– «Дедушка», отстань! Ну кто это? Сергеев?

– Это дедушка…

– Мама родная! Кто это? Иванов?

– Дедушка…

Вешаю трубку.

7.40. 7.50. 8.00. Тишина. Засыпаю…

Стучат. Открываю глаза – на часах 9.30.

– Войдите!

Дверь открывается. На пороге… дедушка моего сына Жени!

Теща была замужем за греком. Родила мою жену. С греком развелась. Жена родила мне сына Женю. Грек уехал на родину. В каком городе жил грек-дедушка, я не знал. Дедушку в глаза не видел, только на фотографии. Но этого было достаточно, чтобы узнать в стоящем в дверях номера гостиницы дедушку моего сына Жени.

Судьба этого человека достойна внимания. Член Коминтерна в Греции. За это приговорен к двум месяцам тюрьмы.

Затем послан в Рай – в СССР. Там за невинный анекдот «награжден» «самым объективным, демократическим и гуманным» судом к 10 годам заключения в лагере строгого режима. «Отдохнул» – и в Ташкент. Там женился. Стал папой. Разошелся. «Поступил» в Компартию СССР. В числе многих греков был отправлен в Афины на подмогу тамошним единомышленникам. Как раз во время наших гастролей в 1978 году происходили выборы мэра города. В числе нескольких кандидатов был выдвинут коммунист – композитор Теодоракис. Дедушка – активист избирательной компании. Не помогли тысячи греков-коммунистов СССР: Теодоракис не прошел…

– Родина моя – Россия. Там мой дом! Когда встречаю на улице или в городском транспорте подгулявшего человека, всегда заговариваю с ним, надеясь на то, что он из СССР! И часто не ошибаюсь, – рассказал дедушка.

Мне послал его сам Бог! С ним я узнал больше всех наших и об Афинах, и об истории взаимоотношений наших стран и увидел больше. Не говоря уже о том, что, делая редкие покупки (не люблю «болтаться» по магазинам), после объяснения дедушки, что я советский артист, что работаю в Малом театре, который с большим успехом гастролирует в Афинах, платил чуть ли не полцены за покупку. Дело не в деньгах, а в уважении к представителю России! (И в деньгах тоже, чего там!)

Наши «сверхбдительные» товарищи чуть ли не отворачивались от бедного дедушки до тех пор, пока не узнали, что он советский коммунист, да еще и служащий «Интуриста», возит группы в Москву в качестве гида-переводчика. Перестали отворачиваться. Но хотя на дворе был уже 1978 год, все же смотрели на него через «оптику» образца 1937 года.

Если новая кинокартина – это съемки на новую пленку, то воспоминания – это проявление старой.

Снимаем, снимаем свой «Ноев ковчег». То мне кажется, что роль получается, то – нет. То кажется, что Севела – гений, то – нет, то хороши актеры, то – не очень… Хандра. Заболел. И смех и грех: укутают, вывезут на съемку, быстренько отснимут и – в келью-каюту, где радуют, к счастью, до сих пор благоухающие духи. Навестит корабельный доктор, проверит, как дышат мои воспалившиеся легкие, уколет какими-то зверскими, «самыми американскими» антибиотиками, даст пилюль целую пригоршню и покинет меня, одинокого.

3 апреля. Пирей. Днем вышел на пристань, снялся в нескольких эпизодах и – в каюту.

4 апреля. Афины. Утром меня, закутанного, привезли к Акрополю, сняли несколько сцен и, закутанного, – в каюту. В 13.00 отошли от Пирея.

До Хайфы – почти двое суток ходу. Интенсивное лечение…

«Астра» басит трубой. Подходим к Хайфе. Здоровье мое чуть-чуть, но здоровеет. Общение с однокруизниками, бравый вид розовощекого корабельного доктора, чистый воздух и размеренная морская качка – а ля гамак в саду – возвращают меня к благородной деятельности. Взбодренный, с новыми силами собираюсь на съемки… в Иерусалим.

Не доходя до таможни Хайфы, в сторонке, кто-то из наших

пассажиров, переговариваясь с местным израильтянином на чистом русском языке, «переправляет» через разделяющий их забор электродрель, маленькую швейную машинку и еще что-то «закутанное», наверняка облагаемое пошлиной (иначе зачем же через забор?).

На контрольном пункте таможни и на всем пути следования по дорогам портового города много девушек в военной форме с автоматами за плечами. Два года тому назад подобный образ молодой женщины олицетворял для меня какую-то чистоту (и душевную, и физическую) и истинный патриотизм. Это были девушки, не успевшие к 18 годам выйти замуж, что освобождает их от воинской повинности. И вот спустя два года этот образ потерял черты привлекательности: среди девиц мы увидели полупьяных (от спиртного или наркотиков?), курящих, жующих надоевшую всем жвачку (что никак не красит женщин), вульгарно бранившихся между собой…

Хорошее настроение поддерживал лишь шикарный автобус «мерседес», бесшумно летевший по прекрасной дороге и везший нас в сказочный Иерусалим. Первым делом – на съемочную площадку! А она – по сценарию – знаменитая смотровая площадка, с которой открывается весь город, с его синагогами, мечетями, памятниками старины, богатыми и бедными улочками… С нее видны и дальние холмистые пригороды, словно сотканные из белого-белого камня.

Два года тому назад старые вежливые евреи и приличные молодые арабы продавали на смотровой площадке чудесную цветную фотопанораму города – рулон около метра в длину и сантиметров 20 в ширину. Фотопанорама – точная копия того, что видишь, стоя на смотровой площадке. Продавали также агатовые, бирюзовые бусы, апельсины и много всякой другой всячины. Теперь же, к величайшему моему разочарованию, площадка превратилась в скопище орущих, нахальных хулиганов-арабов, пристающих к тебе, желая сбыть свой товар, нагло хватающих за, извините, «места» наших артисток… Наши попытки оградить женщин от скотского обращения привели к тому, что один из этой беснующейся толпы показал нож. Создавалось впечатление, что нас умышленно провоцировали на скандал.

Все-таки повезло… Проезжавший мимо на мотоциклах полицейский патруль угомонил хулиганов и задержался на время проведения наших непродолжительных съемок.

«Замутившееся» настроение не очистила и знаменитая Стена плача, успокаивающая своей неподвижностью, таинственностью и величием. Стена – хранительница человеческих тайн и чаяний. С ней разговаривают один на один, каются в грехах, делятся

радостями и горестями, просят помощи. Для этого надо в каждую щелочку, выбоенку вложить записочку с изложением своей просьбы. Я оставил в стене клочок бумажки со словами: «Прими нас всех, живущих на земле, и прости нам грехи наши, Господи!» А на словах попросил Господа поскорее вернуть мне здоровье.

На душе стало легче, даже радостно, как после удачного выступления или сделанного доброго дела. Но стоило чуть отойти от чуда-стены, как снова – неприятное удивление. На сей раз – от совершенно нелепого с точки зрения архитектуры, логики градостроительства, вкуса и такта (в отношении религии) 5-этажного здания: полицейская управа напротив святой Стены плача! Ну, ни в какие ворота! За спиной молящихся – полиция с автоматами, дубинками, джипами. Что это? Насмешка? Торжество атеизма?

Два года тому назад я только вполголоса разговаривал, прохаживаясь по городу и рассматривая его. Мне казалось – над ним витает Святой дух! Ей-ей! Сейчас духа не учуял. Автомобили сигналят вовсю, прохожие говорят громко, попадаются пьяненькие и много «веселых дам» – говорят, все они «из России». Одним словом, городская тональность и атмосфера Иерусалима явно приближается к среднемировому уровню хамства. А жаль!

Конечно, поверхностные впечатления не могут быть основанием для создания общего образа страны и ее дел. Я на это и не претендую. Это мои личные наблюдения. Поэтому хватит на эту тему! Тем более что «хамья» хватает во всех уголках земли. Многие люди часто не понимают (да иногда и не хотят понять) «анатомию» своего родного города, что же тогда говорить о познании чужих городов, в которых промелькнешь как метеор на небе…

8 апреля 1992 года. От Хайфы отходим в 12.00. Все! «До дому, до хаты» – без остановок. В Ялту приходим вечером 11 апреля.

9 апреля. По инициативе капитана нашей «Астры» был организован вечер под названием «Я люблю тебя, Одесса». Судно – одесситка, экипаж – одесситы, пассажиры – за редким исключением – поклонники специфического, неповторимого юмора Одессы. В кают-компании за столиками собрались влюбленные в Одессу. Условия игры: каждому столику по очереди предоставляется слово. Далее – полная импровизация. Настоящее соревнование в наблюдательности. Тренинг памяти.

У нашего актерского столика, конечно же, было преимущество перед остальными: мы не просто рассказывали об Одессе и одесситах, мы играли интермедии – странички моей записной книжки, мы представляли из себя импровизированный

плавучий театр миниатюр.

Итак, одесские интермедии.

1949 год. Театр имени Станиславского, где я тогда работал, приехал на гастроли в Одессу. Жить меня устроили на квартире. Хозяйка – полная, громкая, но добродушная женщина, ее муж – невысокий, худенький человечек.

В спектакле «День чудесных обманов» я играл Дона Карлоса. Роль маленькая: два или три выхода. В одном из них я выходил с дудочкой и пел два куплета. Хозяйка посмотрела спектакль.

– Женечка, скажите, сколько вы получаете денег?

Я, начинающий артист, деньги зарабатывал небольшие.

– Триста десять рублей. А что?

– Вы что там делаете? Держите палочку и куплетик поете?

– Почти так, – отвечаю, не понимая, к чему она клонит.

– А нельзя мне там устроиться на такую сумму? Я тоже могу это сделать.

Когда гастроли подошли к концу и я собрался уезжать, она мне сказала:

– Вы знаете, я так к вам привыкла, вы такой хороший мальчик. Но я вас должна предупредить, что у вас страшная болезнь.

– А что такое? – насторожился я.

– У вас рэдки пальцы.

– Боже мой, что это означает?

– У вас все деньги идут мимо! – Она растопырила веером пальцы и показала, как между пальцев уходят деньги.

Прощаясь с ее мужем, подарил ему свою выцветшую рыбацкую одежду:

– Я вижу, вы тоже рыбак, но у вас нет специального костюма. Вот вам брючки, вы их переделаете на себя.

Хозяин всплеснул ручонками, растрогался:

– Ой, спасибо! Родной сын платка носового не подарил.

– Подождите, подождите, вот вам еще кепочка, рубашка.

– Спасибо, дорогой мой! Что вы делаете! У меня сердце разорвется от благодарности!

– Вот вам еще пиджачок, вот вам еще ботинки, носки.

– Спасибо, родной мой! – И заплакал.

– Ну вот и все.

Он моментально прекратил плакать:

– А галстук?

Канатный переулок, дом 5, где меня поселили на время гастролей. Окна выходят во двор.

В окне женщина:

– Вы слышите? Этот новый дворник не открыл моей дочке ворота! Было всего полпервого. Вы слышите? Он назвал ее проституткой. Вы слышите? А если она таки да, что ж, ей ворота нельзя открыть? Я вас спрашиваю! Артисту Вескину он же открывает и говорит «здравствуйте»! Где же конституция?! Ми же все ровные!

Сильный дождь. Галантерейный магазин. У магазина гора пустых коробок, около них пожилой человек. Подходит прохожий с зонтиком, он значительно старше первого.

– Что ты здесь делаешь?

– Стерегу товар!

– Вундеркинд! Иди домой! Пусть мокнет что-нибудь одно!

Трамвайная остановка около Одесской киностудии. Метрах в десяти от меня женщина. Подошла подвыпившая компания молодых людей, с гоготом и бранью… Неловко, стыдно перед женщиной, но сделай им замечание – полезут в драку или назло усилят ругань. Словом, вмешиваться бесполезно. Подошел трамвай, компания уехала. Подхожу к женщине.

– Вы меня извините, что я стоял, не вмешался… Понимаете, бесполезно! Стыдно за них… Может быть, вам стоило сделать им замечание? Вас, женщину, может, и послушались бы.

– А шо такого? Они же искренне!

Марк Наумович Бернес предлагает пройтись по знаменитому Привозу. (О! Это не базар, это особый мир звуков, цвета, запахов.) Во всех киосках папиросы «Казбек», «Беломорканал», «Норд» (впоследствии «Север»).

Бернес мне:

– Подойди к любому ларьку и скажи, что сейчас началась борьба с низкопоклонством перед Западом. Посоветуй, чтобы избежать неприятностей, спрятать папиросы, названные иностранным словом. Скажи, что в Ленинграде на Невском проспекте за одну ночь сменили вывеску знаменитого кафе «Норд» на «Север»…

На следующий день папиросы «Норд» по всей Одессе продавали из-под полы… втридорога!

Там же. Овощные ряды.

– Сколько стоит редиска? – спрашиваю я.

– 15 копеек пучок.

– Дайте три. Вот вам полтинник.

– Один, два, три. Кушайте на здоровье. У меня, извините, нет

пятачка сдачи.

– Не надо, это пустяки.

– Люди! Смотрите! Наш человек! Шоб ты здоровенький! На тебе четвертый пучок! Шоб все скушал, смотри у меня!

Одесская гостиница «Красная». Приезжих артистов швейцар после концерта не пускает в ресторан.

– Закрыто, закрыто! Не надо, не надо давить на меня! Нехорошее дело делаете! (Даю швейцару купюру.) О! Хорошее дело делаете! Проходите, проходите.

Там же. Диалог с дежурным администратором гостиницы.

– Можно паспорт?

– Чей?

– Мой!

– Зачэм?

– Мне нужно сходить на почту.

– На какую?

– На главную.

– Шо ви там будете делать?

– Мне нужно получить письмо.

– От кого?

– От мамы.

– Шо она пишет?

1950-е годы. Очередные гастроли в Одессе, но уже в составе Театра сатиры. Первый час ночи. Иду по Дерибасовской. Повсюду реклама театра, фотографии артистов, сцен из спектаклей «Золотой теленок», «Клоп».

Ко мне подходит компания молодых людей, окружают. Стало немного не по себе. Оказывается, узнали.

– Это вы будете в оперном театре Бендера играть? (Наши спектакли шли на сцене Одесского оперного театра.)

– Я.

– Очень приятно, – вполне дружелюбно продолжают парни. – А вы будете на сцене говорыть, как мы в Одессе говорым, или с акцентом, как вы в Москве говоруте?

– Я буду говорить, как в Москве.

– Ну так шо это за Бендер? Барахло! Пошли, ребята.

На спектакле «Клоп» я сломал ногу. К счастью, это было уже почти в финале. Еле-еле произнес две последние реплики, и меня увезли в больницу. Осматривал главный хирург города.

– Шо у вас?

– Я ногу сломал.

– Где?

– В театре.

– Шо вы там делали?

– Я артист, играл Присыпкина в «Клопе» Маяковского.

– Где же вы сломали ее? На сцене?

– Нет, я бежал из зала на сцену, и вот на лесенке…

– Вы артист? – перебил хирург.

– Да.

– Артисты на сцене играют, а не по залу бегают!

– Я должен был идти со сцены в зрительный зал, а затем бежать из зала на сцену. И вот ногой попал…

– Зачем же вы бегали туда-сюда?

– Так было нужно по замыслу режиссера.

– Понима-аю! Вы что… его рабы?

Через неделю меня пристроили на излечение в дом отдыха, где я пробыл почти месяц. И каждое утро в течение всех этих дней мне приносили плетеную корзиночку, в которой лежали две бутылки пива и шесть раков, иногда еще теплых. Кто проявляет обо мне такую заботу, не мог выяснить, пока не встал на ноги и не доковылял до сторожа у ворот. Тот долго не хотел мне ничего говорить, но в конце концов признался:

– Пойми меня правильно, я не могу назвать их фамилии, но скажу, кто они. Они воры и биндюжники с одесского рынка.

– Как? За что?

– За то, шо вы сыграли Остапа Бендера. Нашего Остапа.

Около рынка меня останавливает человек, похожий на грузчика.

– Слушай, это ты Бендера играл в оперном театре?

– Я.

– Стой, падла, на месте! Ни шагу!

Ничего не понимаю, испуганный стою. Человек куда-то убегает, через минуту возвращается и вручает мне грязного карточного валета.

– На тебе талисман. Шоб ты бил счастливым на всю жизнь.

Карта у меня. Боюсь выкинуть.

Играем спектакль «Золотой теленок». Нас поразила странная реакция зрительного зала: особым успехом пользовались тексты, которые обычно принимались хоть и с пониманием остроты, но без того восторга, который был в этот вечер. К примеру, Бендер, которого я играл, говорил Балаганову:

– Шура, у меня за последнее время возникли серьезные разногласия с Советской властью: она хочет строить социализм, а я не хочу.

В зале – дружный хохот, аплодисменты. Дальше – больше! Обращаюсь к Корейко, которого играл Анатолий Папанов:

– Вам снятся страшные сны, но вы же знаете причину этих снов! А причина кроется в самом существовании Советской власти. Сейчас я ее ликвидировать не могу, у меня нет времени, пойдемте в вагон-ресторан.

Буря восторгов, шквал аплодисментов.

После спектакля местный полковник милиции объяснил. Оказывается, на этот спектакль все билеты скупили воры, спекулянты и прочая криминальная публика: посмотреть на «родного» Остапа.

После спектакля ночью мы, несколько артистов театра, решили выкупаться в море. У нас был пропуск на какой-то ведомственный пляж. Дежурный сразу понял, с кем имеет дело, и пропустил, несмотря на позднее время. Искупались, освежились, довольные, благодарим дежурного. Разговорились.

– Какой ты, отец, счастливый человек! Живешь в таком прекрасном городе, море – каждый день! А мы, москвичи, дохнем от нашего ужасного воздуха: пыль, чад.

– О-о, – нерадостно машет рукой дежурный. – Вы же не знаете, шо такое била Одесса до войны. Это бил не город, это била симфония. Ансамбель! Ме-ло-дия! А шо сейчас осталось? Одна интонация!

В очередной раз приехал в Одессу. Схожу с поезда, беру такси, еду в гостиницу. Город изменился, не похорошел. Обращаюсь к водителю:

– Как же вы запустили город! Одесситы… Никакой гордости нет. Вон забор развалился, дома некрашеные, грязные, дороги плохие. Прямо стыдно за вас!

Шофер резко разворачивает машину, возвращается к вокзалу и бросает в раздражении:

– Билеты на Москву круглосуточно!

Одесская гостиница «Центральная». Стучат. Вошла горничная:

– В вашем номере была мраморная пепельница! Где она?

Я сижу за письменным столом:

– У меня в номере не было мраморной пепельницы. Была металлическая. Была и есть. Вот она.

– Не надо из меня делать недоразвитую. В вашем номере была мраморная пепельница. Где она?

– Сколько она стоит?

– Четыре рубля пятьдесят две копейки.

– Вот вам пять рублей. Возьмите и оставьте меня в покое. Мне надо работать. Времени в обрез.

Горничная прячет деньги почему-то в бюстгальтер. Выходя из номера, сама себе прошептала:

– А шо ви думаете, может быть, ее и не было?

Зубной врач, женщина – рассуждает, не прекращая сверлить мне зуб:

– Ви не в курсе? Говорят, Ротару сильно болела, пропустила много заработков, так теперь за нее налоги платит Пугачева? Неужели Аллочка такая добрая? Мне бы такую подругу!

* * *

Наши коллеги по плаванию – круизмены и круиздамы – присудили нашему столику победный приз – фигурку Швейка. Уговорили до прибытия в Ялту провести мой творческий сольный вечер. Конечно, согласился.

10 апреля. Три звонка. Шумная компания «круизентов» занимает места в большом музыкальном салоне. Мест, конечно же, не хватило. Радиослужба наладила трансляцию вечера по каютам, так что обиженных не было.

Я начал свое выступление словами Сенеки: «Жизнь как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна». Сказал, что каждому Богом и судьбой уготована определенная роль в многосерийном, вернее, в многоактовом спектакле – «жизнь».

Артисты отличаются от всех других человеков в основном тем, что хотят сыграть в нем не только самого себя, но побольше ролей и других людей, побывать в их душе и теле, пережить их надежды и разочарования, успехи и печали. И чем разнообразнее эти создания артиста, чем богаче палитра образов, чем смелее оперирует он средствами высшего назначения артистической профессии – средствами перевоплощения (и психологического, и физического) – тем выше его класс, тем ближе он к качеству идеального артиста – того, который ни разу не повторится в своих созданиях. Не повторяться! Это возможно лишь при наличии повышенной наблюдательности.

Например, у каждого читавшего Чехова – свое о нем впечатление. Но стоит посетить его ялтинский домик, заглянуть в

неуютную спальню (жена, Ольга Леонардовна Книппер, была преимущественно женой «гастрольной», появлялась здесь наездами), ощутить одиночество гениального, тяжело больного, «смешного» писателя, прочесть посвященные ему строчки из горьковского рассказа-очерка «Люди наедине с собой» (о том, как Антон Павлович, сидя на скамеечке в своем чудесном садике-дворике, долго пытался поймать шляпой солнечный зайчик, падавший ему на ногу сквозь листву большого куста, прозванного «тещиным языком», – листочки были с шипами – и надеть этот зайчик на голову вместе со шляпой), – и прежние впечатления о Чехове-авторе меняются: начинаешь ощущать печаль или даже трагедию в его судьбе. Парадоксальность поверхностных и углубленных впечатлений создают более выпуклый образ – человека.

Или еще примеры:

Гитлер играл на скрипке, Чаплин был прекрасным боксером, а великий Чайковский – гомосексуалистом.

Такого рода парадоксы плюс детали грима, жесты, походка, манеры, темпы речи (при, конечно же, психологическом анализе и мотивировке поступков и устремлений действующего лица) помогают не повторяться при поисках решений новых ролей.

Прежде чем перейти к своим маленьким рассказам-наблюдениям, я сказал собравшимся в кают-компании нашей «Астры» (и тем, кто слушал наш вечер по корабельной трансляции):

– Перед вами предстанут сегодня те, кто дает нам, актерам, материал для создания разных человеческих характеров в ролях, нами исполняемых. Роли – это не мы, это – другие люди! Неинтересных человеков нет на земле. Если говорят: «Это неинтересный человек», не верьте, так как «неинтересный» именно этим и интересен. Он может стать основанием очень яркого актерского решения образа – «неинтересного человека». В каждом пусть даже пустячке людского поведения, подсмотренном опытным, профессиональным оком, присутствует тот таинственный художнический материал, который порой помогает артисту создать даже шедевр. Так чаще всего и бывает – пустячок: жест, интонация, мимика, движение, большой нос, маленькие уши, косинка, грубость, непосредственность, вспыльчивость, флегматичность… – и вдруг роль вырастает в сложный человеческий характер! «В сочетании низменного и возвышенного рождаются истинные произведения искусства. Шедевры рождаются из кучи дерьма!» Не помню, кому принадлежат эти слова, но моя артистическая практика убедила меня в этом.

* * *

На концертах я часто рассказывал несколько историй из чудесной книжки «Габровские уловки». В одной из новелл есть такой текст:

– Ты чего, сосед? Ты чего мерзнешь?

– Да вот, бутылку водки уронил. Разбилась. Жду, когда подмерзнет. Может, соберу по кускам.

На этом тексте я показывал, как и куда упала бутылка, после чего продолжал новеллу. И вдруг вижу, как вдоль стены к сцене в легоньком полушубочке, со старенькой шапкой-ушанкой в руках ко мне продвигается какой-то дядя. Чего ему надо? Не знаю. А он все приближается. В финале новеллы я кричу за кулисы:

– Жена! Если почувствуешь, что конец приходит, погаси лампу, чтоб керосин не горел! – И убегаю со сцены.

Тут же на мое место выскочил этот дядечка и смотрит точно туда, где должна находиться, по его разумению, разбитая бутылка с водкой, о которой я говорил. Обескураженный, посмотрев мне вслед, он поднял вверх руку и как какой-нибудь трибун, озабоченный глобальными проблемами мира, закричал на весь зал:

– Вр-р-ре-от! Вр-р-ре-от! – И показал публике, что никакой тут бутылки нет.

* * *

Мое выступление в доме отдыха. Концерт только начался, не прошло и пяти минут, как в зале встает человек и тихонечко, стараясь никого не беспокоить, пробирается к выходу. Я прекращаю выступление и прямо со сцены обращаюсь к нему:

– Чем же я вас так расстроил? Мы еще не успели толком с вами познакомиться, а вы уже покидаете меня. Объясните!

Человек поворачивается ко мне. Вижу доброе лицо, смущенную улыбку. Оказалось – украинец.

– Та не-а. Я нияких претензий к вам не маю. Мэнэ бабы выбманулы.

– А что такое?

– Да воны мне казалы, шо вы художественный свист! А вы, оказывается, не художественный свист. Извините.

Но все-таки я его уговорил остаться. Он остался. И потом, кажется, хлопал активнее всех!

* * *

На моем концерте в Новосибирске в зале раздались какие-то выкрики. Словом, мне нахамили. Я остановил выступление:

– Как вам не стыдно? Я ведь у вас в гостях. Вот были бы вы у меня в гостях, я бы предложил вам чаю, уложил бы на раскладушке спать, показал бы Москву, а вы?

Голоса стихли, я закончил первое отделение. В антракте ко мне за кулисы пришел капитан милиции. Да, я еще на те выкрики сказал, что так ведут себя только невоспитанные люди, что тот, кто кричал, – некультурный человек…

Милиционер мне говорит:

– Знаете, вы зря разговаривали с теми людьми. Надо было не обращать внимания. Это шпана наша местная. Они могут Бог знает что сделать после.

Я с капитаном не согласился:

– Если бы я был виноват, они могли что-то сделать со мной. Но когда человек совершает неправильный поступок и сам это понимает, даже в блатном мире, он не будет мстить. Во время войны я командовал «беломорканальниками», бывшими уголовниками: совесть и у них срабатывала. Они не будут мстить за то, что неправильно себя повели. Уверяю вас.

– Смотрите. Но я вам все-таки оставлю дежурного на мотоцикле. На всякий случай.

Второе отделение концерта прошло нормально. Все закончилось. Выхожу на улицу и вижу метрах в пятидесяти от служебного входа стоит компания – человек около десяти. Почему-то сразу догадался, что это те люди. Иду прямо к ним.

– Ну что, не стыдно вам так принимать гостя?

От компании отделяется здоровенный «лбина», наверное, их предводитель, останавливается передо мной:

– Прости, отец. Немножко выпили, извини. Не обижайся. Ты когда уезжаешь?

– Через четыре дня.

– Ну, где ты живешь, мы знаем.

– А зачем вам?

– Да, неважно… Не обижайся. Извини.

В день отъезда они пришли ко мне в номер прощаться и принесли пятнадцать бутылок портвейна.

Среди провожавших на вокзале был тот самый капитан милиции и, узнав о трогательных проводах, смеясь сказал:

– Вы за один свой приезд провели большую воспитательную работу. Я здесь шестой год, но чтобы меня шпана угостила, о таком и мечтать не мог. Вы прямо – Макаренко!

* * *

Гастроли в Запорожье. Со мной делится впечатлениями от просмотренных спектаклей мой новый знакомый, компаньон по рыбалке.

– Скажи, пожалуйста, кто написал «На всякого мудреца довольно простоты»? Я вчера смотрел.

– Островский, – отвечаю.

– Это какой Островский? Тот или наш?

– Тот.

– А-а… Знаешь, слабо написано.

– А почему?

– Ну шо там происходит? Давай так, честно говорить. Глумов ведет днéвник. Долго ведет. Наконец этот днéвник у него сперли и разоблачили его. Так?

– Так.

– Так вот я тебе честно скажу, Евгений. Только тебе. Слушай меня. Если бы не сперли у него дневник, не играть бы вам этот спектакль у нас в городе! Или вот смотрел «Клопа» Маяковского. Все просмотрел! Четыре часа идет спектакль! Но клопа же нет! Правда, я сидел в двадцатом ряду, может, поэтому не увидел его. Но ведь никто не видел. Где же клоп? Не надо, не надо обманывать, Евгений.

Помолчал немного и добавил:

– Ну зачем так обманывать нас, провинциалов? Нехорошо, Евгений! Нехорошо! Так и скажи там в столице – нехорошо!

* * *

Брежневские времена. Иркутск. На концерте читаю главу из «Голубой книги» Зощенко. Писатель этот по-прежнему современен, глубок, не всем это по нраву. В антракте ко мне за кулисы приходит седой, солидный человек, явно важный начальник. В довольно суровом тоне, грубовато обращается ко мне:

– Кто вам разрешил читать такие тексты?

– Какие?

– Вы, понимаете ли, сравниваете там, сатиру наводите, понимаете ли. Кто вам разрешил?

Я читал только вещи, прошедшие цензуру. Понимаю, что диалог этот выиграю.

– Как кто разрешил? У меня это в программе. Выстроена программа. А кто разрешил – я не знаю.

– Нет, я вас спрашиваю! Вы же должны знать, кто вас посылает, кто разрешает, – не унимается начальник. – Кто-то ж отвечает, понимаете ли, за то, что вы делаете на сцене! Кто вам разрешил?

И тут я пошел ва-банк. Брежнева я никогда в глаза не видел – только на экране. Не знал, где он живет, где его дача, но…

– Единственное, что я могу вам сказать…

– Говорите, говорите!

– …могу сказать, что за четыре дня до приезда к вам в Иркутск я был на даче у Леонида Ильича, читал эти же тексты. Он так хохотал!

Актер не преобразился бы так мгновенно, как мой собеседник. Засмеялся, оживился и ласково сказал:

– Ну во-от! Видите! Ну сразу бы так и сказали! Дорогой вы мо-ой! Всего вам хорошего! Успехов вам творчески-их!

Похлопал по плечу и ушел, улыбающийся, умиленный.

* * *

1974 год. День милиции. Праздничный концерт в Колонном зале Дома Союзов. Идет трансляция по телевидению.

В зрительном зале работники МВД. В первом ряду – самые-самые что ни на есть руководящие генералы, полковники. Чины! Кругом – нервная вибрация.

Объявляют меня. Читаю композицию из книги «Габровские уловки». Смеются, хлопают, не отпускают. Предлагаю зрителям монолог Городничего из гоголевского «Ревизора». Предложение встречается аплодисментами. Ну как же иначе! Городничий и милиция – что-то родственное! Читаю. Бурные аплодисменты. Еле-еле отпускают. Довольны – ублажил.

Через два дня по телевидению – повтор этого концерта в записи. Монолог Городничего (и я с ним) вырезан! Нэма монолога!

Звоню в редакцию:

– В чем дело?

– Ой, – отвечают, – у нас неприятности: сняты с работы редактор и режиссер съемки этого злополучного концерта. По вашей вине!

– Боже! Что я-то сделал нехорошего?

– Не надо было читать монолог Городничего! Вы всех подвели!

– Так ведь Гоголь же!

– Во-первых, редактор не согласовал с вами текст, который вы

будете читать на бис. И во-вторых, режиссер на тексте Городничего «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего…» – без злого умысла приказал телеоператору дать панораму лиц, сидевших в первом ряду!

P.S. Лишь 12 лет спустя я снова был приглашен в концерт, посвященный Дню милиции, с просьбой не читать ничего из «Ревизора».

…А некоторые считают, что классика устаревает! Ха-ха!

* * *

Москва. Конечная остановка троллейбуса в Химках. Это было во времена, когда в вагонах были кондукторы. Пассажиры волнуются. Молодая кондукторша сидит метрах в 30 на пеньке и читает книжку. Наконец захлопывает ее, входит в троллейбус. Все накидываются на нее: «Безобразие! Мы опаздываем, а вы хоть бы что! Почитываете!» Кондукторша оглядела всех глазами, полными слез: «Простите меня. Я только что „Анну Каренину“ закончила читать».

* * *

Дом отдыха под Ленинградом. Две команды из отдыхающих играют в волейбол. На месте судьи – очаровательная молоденькая девушка: длинные косы, спортивный костюм на изящной фигурке, как влитой, на груди – свисток. Не судья – очарование. Вокруг – зрители-зеваки. Я тоже пришел посмотреть на игру и оказался рядом с мужчиной довольно свирепой наружности: огромный сизый нос, густые, лохматые брови, свесившиеся над глазами, как плакучие ивы. Глаз не видно. Будучи не согласен с очередным решением девушки-судьи, этот звериного вида человек вдруг проревел хриплым, противным голосом затасканную фразу: «Судью на мы-ло!» Ему показалось этого мало, и он повернулся, желая что-то добавить, но вдруг увидел, что представляет из себя судья. Опомнился, страшно смутился, поднял свои бровищи, из-под которых показались голубые, добрые глаза. И, покраснев, стеснительно добавил:

– На туалетное.

И уж вконец стушевавшись:

– Земляничное…

* * *

Пригласили выступить в концерте в Доме литераторов на улице Герцена.

При входе новенькая дежурная:

– Здравствуйте, ваш пропуск!

– У меня его нет. Я на концерт…

– Без пропуска нельзя.

Подбегает женщина-администратор.

– Милочка, ты с ума сошла! Какой пропуск? Ты что, не видишь, кого ты не пускаешь? – И мне: – Ради Бога, не сердитесь. Она новенькая. Вы на концерт? Я вас провожу. Вы любите вареных раков?

– О, обожаю!

– В ресторане есть свеженькие, только-только сварили. Вы выступайте спокойно. Я возьму вам раков и буду ждать вас при выходе.

Дал денег, выступил, возвращаюсь к выходу.

Администратор – сама любезность.

– Вот вам два пакета. Отборных. Самых больших. Кушайте на здоровье и не обижайтесь на нас. Вы наш любимец, мы восхищаемся вашим талантом, дорогой наш товарищ Рязанов! Заходите!

Раков я не вернул.

* * *

Слесарь из нашего домоуправления всегда занимал у моей матери деньги на водку. И аккуратно возвращал в срок.

Как-то я спросил:

– Послушайте, неужели у вас нет силы воли? Неужели вы не можете бросить пить?

– А ты знаешь, что такое сила воли? Я тебе скажу, что такое сила воли. Вот вызывают меня на собрание, на местком и говорят: «Брось пить». И я даю клятву не пить. А пью! Вот это сила воли! Я – как руководители наши: обещают одно, а делают по-своему! Сильные люди!

* * *

Часто, чтобы увидеть профиль эпохи (и Родины тоже), надо отойти в сторону.

С. Е. Лец

11 апреля 1992 года. Вечер.

Свистать всех на палубу! Виден берег! Это Ялта! О! Это какая-то не передаваемая, не поддающаяся описанию сложно-чувственная, гипнотическая вибрация всего что в тебе есть: радости, предчувствия, чуть-чуть страха и надежды…

Ты всматриваешься в родной берег, ты сосредоточен только на желании скорее сойти на землю и…

Но что такое? Не спектаклем ли встречают нас родные берега? Неужели не только «МЫ» в этой книге фантазируем в «нашем» театре на небесах и в других любых местах? Неужели не только «наш» в этой книге театр умеет мгновенно переноситься в прошлое и столь же быстро – в выдумываемое будущее? Кажется, «нам» подражают… Точно… Родной берег превращается в вопросительный знак! Он растет, растет… Приближается… Швартуемся к вопросительному, огромному, на сто лет растянутому в будущее вопросительному знаку. Вокруг огромного знака – тысячи маленьких. Они очень разные по размерам, а летают точкой вперед – вот так Создается впечатление, что загогулина как бы гонится за точкой – целью. И зря! Потому что догнать ее ну никак нельзя! А если (предположим) цель-точка резко остановится, то все равно ей – погибнуть, так как загогулина ее сомнет. И (если не резко остановится) все равно быть ей с изъяном, с вмятиной или дырой. То есть будет целью несовершенной!

На «бортах» летающих вопросительных знаков надписи: «Единение», «Доброта», «Совесть», «Не убий», «Не укради», «Люби ближнего», «Мечи на орала»…

Видны цепочки вопросительных знаков, а на них натянуты длинные-длинные ленты-транспаранты: «Все в руках человека. Поэтому их надо как можно чаще мыть!», «Нет новых направлений, есть одно: от человека к человеку», «Пусть будет критерием, сколько населения приходится на одну душу» (все это – мысли С. Е. Леца).

Родина! Милая моя! Вся в вопросительных знаках! Это, наверное, хорошо, так как сплошные восклицательные – это обман, а сплошные вопросительные – это хаос… надежд! Надежд! Восклицательные – итог! Вопросительные – поиск! Это знаки ожидания ответа! Раз столько вопросов, обязательно будет лучше всем…

И мне благословение… Люблю ужение!

Благословение всем, кто презирает ссоры и любит тишину, и добродетель, и ужение!

Айзек Уолтен.

«Законченный рыболов». 1653 г.

Почему именно с ужением связано такое большое количество историй – от смешных до трагических? Почему наше увлечение вызывает столько насмешек, ревности, злости? Думаю, потому, что мы, рыбаки, – лучшая часть человечества. Потому что сидящий с удочкой на берегу менее подвержен суете человеческой, он более рассудочен, сосредоточен, наделен румянцем или загаром на щеках. Это часто сердит бледнолицых!

Мы, рыбаки, сами придумываем о себе много разной веселой всячины, потому что больше других дышим чистым воздухом, больше других двигаемся, а чистый воздух и движение стимулирует рост и качество чувства юмора. Потому что мы в большей степени, чем остальная часть человечества, испытываем радость от самостоятельности, от возможности действовать согласно только своим желаниям, например… в деле приготовления приманки, насадки, выбора места ловли.

Да! Мы – лучшая часть человечества! Лучшая часть еще и потому, что – это главная причина – мы чаще, чем другие, остаемся наедине сами с собой. Казалось бы, один на один с собой – одиночество? Нет, нет и еще раз нет! Это – уединение!

Рядом целые миры! Рядом миры животных, растений… Мир сороки, вороны, лягушки, разных рыб. Отзвук всего живого на ветры, температуру, влажность и солнечные лучи! А мы ищем миры в неземном пространстве, не изучив их на Земле.

Рядом с нами миры, с которыми нет словесного контакта, но они связаны зависимостью друг от друга. Может быть, смысл нашего существования и есть служение этой зависимости? Может быть, в этом истина?! Если это так, то какие же мы варвары! «Почему Земля находится в состоянии заболевания? Потому что лучи планет не могут проникнуть через загрязненную ауру!» (Н. К. Рерих. «Иерархия». 1931 г.)

Мы настолько неясного представления об истине, что не могу не вспомнить когда-то прочитанных строк о том, какой образ

всплывал в воображении слепых, прикасающихся к разным частям тела слона. Один, притронувшись к хоботу, сказал, что это водяная труба, другой, погладив ухо слона, сказал – это веер, а третий, пощупав ногу, был уверен, что это столб.

Вот так же и мы. Разница только в том, что слепые трогали слона, а мы все прикасаемся к истине! Для одного она – коммунизм, для другого – фашизм, для третьего – анархия, для четвертого – колхоз, для пятого – запасы мыла и соли, для шестого – водка, для седьмого – социалистический выбор, для восьмого – воровство и т. д.

Вот поэтому нужен единый Бог – Природа! Небо! Поэтому от Природы-Бога надо не брать, не рвать, а, налаживая согласие и взаимосвязь, надо подчиниться Природе-Богу! Вот тогда она одарит нас. Не надо становиться над нею, надо стать честной частью Природы-Бога.

Почему мы ищем в Галактике подобные нашим условия жизни? Разве жизнь не может быть в других условиях? Или жизнь в других видах, то есть быть другой жизнью? Наверняка может… Комар не знает, что люди – народ разный, хороший и подлый, он жаждет крови – и все тут. Лиса не знает, что в сберкассе выдают пенсию, рыба не понимает, что, попавшись на крючок или в сеть, она становится пищей для невидимого ей человеческого, кошачьего, куриного желудков – независимо от того, зашло ли солнце или нет…

Почему же мы почти уверены в том, что человек – венец всему? Мы ведь видим очень мало из того, что можно видеть. Во всяком случае – хуже стервятников, парящих в воздухе, и совсем ни в какое сравнение не идем с теми, кто видит ночью. Не все люди слышат четверть тона. Может быть, вулкан – чья-то печь или леса – чья-то шевелюра? Кто его знает? Может быть, перелет птиц – чья-то почта, а землетрясения – спортивные соревнования? Может быть, наш год равен мгновению мигнувшего ока кого-то? Похоже, что всякое развитие человеческого общества – вне его желаний. А может быть, никакого развития и нет?

Такое впечатление, что вся активная деятельность человеков сводится к мысли одного философа о том, что один чудак для того, чтобы спасти парк от пернатых, запер ворота! Люди смотрят в телескопы, летают в космос, рассказывают байки о небе, веруют в невидимого Бога, не подозревая наличия рядом с нами – повсюду, ежеминутно, постоянно – другой жизни в непонятных, невидимых формах и качествах. Так же, как те козявочки и птички, о которых речь была выше, не могут понять нас. Пусть надо мной смеются, но я не раз чувствовал существование видящих меня и помогающих мне загадочных сил! И часто вслух

благодарю эти силы! Они проявляют себя, как правило, в самых неприятных и тяжелых для меня моментах.

Все приведенные здесь эпизоды из моей жизни – стечение обстоятельств. Я знаю, что к моим словам некоторые отнесутся как к шутке, но все случившееся со мной в этих эпизодах – не случайность. Смейтесь!

* * *

…Сижу на берегу Москвы-реки, жду поклевки. Весь – внимание. Из-за куста выпрыгивает большая пучеглазая лягушка, устраивается на камушке. Начинает пугать меня, надувает «щеки» и глядит прямо мне в глаза. Я ей – «уходи», она в ответ – «ква». Я ей «ква», она мне – «ква-ква» и опять «щеки» надувает. Я осторожно палочкой скинул ее с камушка. Она обратно вскарабкалась на него – «ква». Я ей – «ква-ква-ква», она точно три раза в ответ. Я два «ква», и она – два. Я – один, и она – один. Тогда я замолчал. Прошла минута-две, и началось: целый монолог она выдала да еще подпрыгивала. Зверь! Пришел я на следующий день на то же самое место, и та же лягушка появилась на том же камне, и снова разразился скандал между нами.

Потом мне объяснили, что у нее, очевидно, неподалеку был выводок лягушачий, и она меня попросту прогоняла!

Не раз наблюдал я один и тот же сорочий спектакль. Идешь по тропе или дороге, вдруг перед тобой подстреленная сорока: прыг-прыг. Крыло беспомощно волочится, прыг-прыг. Манит к себе. Подходишь – прыг-прыг от тебя… И так метров сто… Потом вдруг с каким-то хохотом, как ни в чем не бывало, элегантно помахивая здоровыми крыльями, улетает! Оказывается – уводила от гнезда! Сорока – актриса прекрасная!

На одну ворону я очень зол. На Пестовском водохранилище, под Москвой, стоило мне отойти метров на 50 от своего рюкзака, как она мгновенно налетела на него, разворошила все, что в нем было, и в когтях унесла кусок сыра в 400 граммов. Зол я на нее за ее жадность. Ну, оставила бы нашей компании половину, ну треть. А то 400 граммов – одной вороне! Нечестно!

* * *

В городе Комсомольске-на-Амуре у меня было десять сольных концертов. На первом я рассказал публике о моих впечатлениях от города, пожелал всяческих приятных перспектив и невзначай

посетовал на то, что никого нет знакомых и поэтому, очевидно, не смогу порыбачить в могучем Амуре. Не успел я в номере гостиницы снять пиджак, как вдруг звонит телефон.

– Евгений Весник?

– Вот он я…

– Вы насчет рыбалки намекнули. Так ведь?

– Так.

– Приглашаю. Завтра утром, в 6 часов.

– С огромным удовольствием. Зайдете за мной?

– Обязательно, в 5.45.

– Какие снасти брать?

– А у вас какие?

– Удочка, спиннинг, закидуха-донка…

– Это все не годится. У нас особые снасти. Мы вам дадим свои.

– Буду вам очень признателен.

Утром у входа в гостиницу меня ждал молодой человек лет 35. Представился инженером Ивановым. С ним пожилой симпатичный мужчина – Григорич, так он представился. В руках никаких снастей – только по небольшому целлофановому пакету.

– А где же орудия производства?

– Все на берегу…

– Что на берегу? Как на берегу?

– Палки и консервные банки.

– Не пойму что-то я… Какие банки?

– Придем – увидите…

Двинулись в путь. Перешли по мосту на тот берег, по берегу продвинулись вверх по течению примерно на два километра. Остановились у кучи палок и пустых консервных банок…

– Вот наши снасти!

– Вы что, разыгрываете меня?

– Никак нет. Вот вам пять палок – на первый раз хватит. А себе мы возьмем по десять. Сейчас мы все вам оборудуем, наладим, нацелим, а ваше дело – ждать!

Воткнули они мои пять палок глубоко в землю на расстоянии друг от друга метрах в 10, укрепили камнями, привязали к верхнему концу палок лески, сечения 0,8. К концу каждой лески привязали сетчатую кормушку размером с апельсин и с тяжелым грузиком. Набили ее круто сваренной кашей из манки, геркулеса, хлеба, муки с добавлением копеечного кофейного сухого напитка. И все это забросили в воду! Течение в Амуре сильное, леска моментально натянулась и замерла…

Теперь о самом главном: в каждую кормушку вдавливается по восемь крючков на коротких поводках, привязанных к

специальному кольцу, а кольцо это свободно двигается по основной леске. На верхний конец палки одевается пустая консервная банка, да так умело и хитро, что при резкой поклевке она падает на камни и издает при этом сильный звон, призывая к себе рыбака.

Мой фронт состоял из 50 метров. Не успели мои друзья – инженер Иванов и Григорич – развернуть свои «артиллерийские части», как вдруг с одной из моих палок падает консервная банка, издает призывный звук. Он показался мне похожим на праздничный орудийный многоствольный салют. Я тигровыми прыжками кидаюсь к орудию, хватаю леску, подсекаю, тяну на себя и чувствую, что на другом конце – земной шар, если не весь, то его большая часть! Меньшая часть – под ногами, все остальное – на крючке!

– Люди! Ко мне! Помогите! Иванов! Григорич! Скорее!

Сердце бьется, рывки заарканенного «земного шара» усиливаются, люди приближаются, помогают вытащить «планету» к моим ногам. Она оказалась сазаном! (После рыбалки в гостинице взвесили добычу – 5 кг 700 г.) Увидев этого поросенка, я закричал «ура!». Сердце заколотилось еще чаще, ноги дрожали от нервного перенапряжения.

– Спасибо, люди, за помощь! Ура-а-а!

Иванов и Григорич, продемонстрировав совершеннейшее безразличие к моей удаче («завидуют», – подумал я), помогли заправить кормушку, забросили ее и пошли командовать своими агрегатами.

– Ну вы и народ амурский! У меня ноги трясутся, а вы – хоть бы поздравили, порадовались за меня. Неужели дальневосточники такие холодные люди?

– Да чего ты ершишься? Не обижайся! Это малек…

– Мой сазан – малек? Моя самая большая рыба, пойманная за всю жизнь, – малек? Вы что?

– Малек! Мы тоже орем: «Помогите! Ко мне!» Но только тогда, когда таймень на крючке килограммов на 40–50 или, на худой конец, сазан на 25–30 килограммов. А твой – это малек.

Вспомнилась запись А. Н. Островского, сделанная в щелыковском дневнике: «Сегодня счастливый день – поймал шесть пескарей».

* * *

Ловлю рыбу на реке Ламе, около деревни Дорино. Снасти – умопомрачительные: удилище южнокорейское, длиной 6,5 метра,

легкое, как пушинка; сечение основной лески – 0,15, леска японская, поводок к ней – лесочка-невидимка 0,09 из ФРГ. Крючок тоже японский, размер 2,5, маленький, острый, тоненький, ловит не только рыбу, но и тебя самого: то за штанину, то за кепку. За все и вся ловит. Ловлю час. «Нэма ничого», – как украинцы говорят. Два часа – нэма, три – нэма. Подходят два мальчика лет 12–13.

– Ой, дядя, где такие удочки делают?

– За границей.

– Длинная какая. Можно подержать?

– Пожалуйста, дружок.

– Легкая. Школьный дневник тяжелее.

– Двоек, наверное, много? Вот и тяжелый!

– Не-а, нет двоек.

– Молодец.

– Много поймали, дядя?

– Ни одной. Я, правда, только пришел, – соврал, стыдно.

Мальчики переглядываются. Я попросил:

– Дай-ка мне твою удочку подержать.

Мальчики, стеснительно улыбаясь, дают мне свою дрын-удочку – длинную, очищенную от коры ветку какого-то дерева, тяжелую, неровную, к концу которой привязана толстая, уже рыжего цвета от долгого пользования, леска сечением не менее 0,5 мм. На ней поплавок из простой бутылочной пробки, грузило из маленьких шайбочек, зафиксированных простым узлом. И на конце лески – крючок № 7 или 8. Мне стало жаль ребят. Ну что можно поймать на такой «топор»?

– Ребятки, милые мои. У меня с собой нет другого удилища, я бы вам подарил. А вот крючки хорошие, поплавочек и хорошая леска есть. Нате вам, ловите!

Ребята смутились (и не по-городскому, а по-деревенски – искренне), взяли мои подарки, пожелали удачи и прошли дальше по берегу.

Ловлю четвертый, пятый час. Улов – три плотвички с ладонь и окунь на ноготок больше. Пора домой. Стало смеркаться. Смотрю, мальцы возвращаются.

– Ну как, дядя, наловили?

– Да нет, милые! – Стыдно показывать четыре рыбешки.

– Вот вам, домой возьмите.

Малец вываливает штук тридцать приличных окуней, подлещиков, красноперок, голавлей и одного крупного язя граммов на 400.

– Ну, молодцы! Ну, рекордсмены! Наверное, моей леской и моими крючками ловили?

– Не-а, своими. А подарки ваши мы на память возьмем! Спасибо! В школе ребятам покажем.

* * *

Сочи. В 250–300 м от берега ловлю рыбу с лодки. Крючок за что-то зацепился. Дергаю, отцепляю крючок и ломаю пополам спиннинг! Снимаю катушку и ловлю без удилища с рук. Снова что-то клюнуло. Поднимаю что-то «пойманное» –…новый спиннинг. Целехонький, дорогой, заграничный, с чуть поржавевшей катушкой «Оболонь».

Не чудо ли?

* * *

Дом творчества в Малеевке. Сижу на мостике, слева и справа – озеро. Ловлю рыбу. Неловкое движение – и любимая коробочка и красавец поплавок (запасной) падают в воду. Купавшиеся рядом дети плавать не умеют, взрослым некогда – уходят. Вода холодная – я страдаю от Холодовой аллергии, сам броситься в воду не могу. Ветер уносит моих любимцев к левому берегу, а туда не пробьешься – заросли. Обхожу озеро справа.

Ветер меняется… «Беглецы» меняют курс и минут через двадцать подплывают прямо к моим ногам!

Что это? Ну просто какое-то «чудесенье» (по Далю).

* * *

Деревня Петряиха, домов семь, 25 км от Рузы, место безлюдное. Озерцо. Удачно ловим плотву, помещаем ее в металлическую корзину на веревке. Вес растет – 4, 5, 6 кг. Веревка обрывается и весь улов тонет – опускается на дно какого-то устройства – части дамбы. Нырять в этот колодец боязно, никакими шестами не достать. Нужна маска, акваланг. Три дня выясняю, есть ли среди отдыхающих в Доме отдыха «Руза» и санатории «Дорохово» аквалангист. Нет. На четвертый снова идем ловить на то роковое место. Только забрасываем удочки – вижу вдалеке идущего человека с полным набором предметов для подводной охоты… Подходит.

– Как вы сюда попали? Вам кто-нибудь сказал, что мы ищем человека, способного глубоко нырнуть?

– Нет, никто не говорил. Увидел вас – потянуло к людям. Одному скучно…

Металлическая корзина была извлечена на свет.

Разве это не чудо?

Хорошо бы, сбылось еще одно чудо! Мне цыганка нагадала – буду жить до 79 лет! Сбудется ли?

«Богу все чудеса доступны». Народная пословица. На то и уповать будем!

* * *

1991 год. Январь. Еду на рыбалку в Рублево. Подрулил к сходу на Москву-реку. Вдалеке дача высокопоставленного человека, а еще дальше – несколько фигурок рыбаков на льду.

Одет тепло: валенки, ватные штаны. Вытянул из багажника ящик с рыбацкими принадлежностями, спускаюсь на лед и падаю. Упал на ящик. От боли едва не потерял сознание. Подняться не могу, стою на четвереньках. До дачи метров триста, до рыбаков в три-четыре раза больше.

Я закричал: «Помогите!» Никто не слышит, да еще слева дамба шумит, перекрывая мой голос. Докричался до того, что охрип.

Если бы дело было вечером или было хотя бы немного темнее, я бы там так и замерз. Но то ли с той дачи меня увидала охрана в бинокль, то ли еще что. Не знаю. Прибежал милиционер. Видит, что дело плохо, побежал за подмогой. Боль не утихает. Сначала решил, что сломал позвоночник, но ноги двигались, и я немного успокоился. Сняли с меня ватные штаны, валенки, кое-как втащили в мою машину, полулежа устроили за рулем. Руки двигаются, педаль ногой чувствую, поехал. В полушоковом состоянии доехал до дома. Вызвали «скорую» и увезли в больницу: сломал два ребра.

К чему я это рассказываю? Когда я, стоя на коленях, кричал «помогите», понял: сколько мы попусту тратим жизненной энергии на ссоры, на то, чтобы не дружить, а воевать, кляузничать, сажать в тюрьмы, убивать! Как преступно мы тратим себя на все это! Как бездарно и глупо усложняем, портим свою жизнь. Боже мой, до чего же человек несовершенное, беспомощное существо! Самый большой враг человека – это сам человек.

Я понял – какая я, в сущности, малость, такая же малость, как муравей, комарик. Эти мгновения заставляют реально посмотреть на себя, понять, **что** ты из себя представляешь. Именно ты. Один.

Когда совсем один!

Я оценил и полюбил людей во время войны. Тогда мы все были объединены желанием победить врага, все были в равно опасных условиях – от солдата до генерала. Поэтому до сих пор фронтовики и встречаются, дружат. Человек, люди сильны, когда они объединены!

Но вот мгновение – невыносимая физическая боль, кричишь «помогите», рвешься к людям, а вокруг ни-ко-го! Эти мгновения многое заставляют пересматривать в жизни!

Помогите мне! Помогите себе! Помогите всем!

Помогите великому и могучему!

Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный.

(В. И. Даль. «Напутное слово»).

Когда открываешь книгу гения, начинаешь своеобразное путешествие в мир его видений и мыслей. А если этот гений не русский – это еще и загранкруиз воображения.

…Письмо из XX века в XVI. Во Францию.

Бордо. Замок Монтень. Здравствуйте, господин Мишель де Монтень! Спасибо Вам за высокие образцы критики морали цивилизованных структур, которые, как Вы убедительно доказываете, являются варварскими; по сравнению с которыми примитивный мир дикарей и отношения, основанные на естественной нравственности, являются воплощением куда более человечного образа жизни. Ах, если бы Вы знали, какой я Ваш верный, восторженный и благодарный поклонник. Уделите мне несколько минут внимания.

Как же Вы правы, написав такие слова: «Те, кто расшатывает государственный строй, первыми чаще всего и гибнут при его разрушении». Как жаль, что Вы не с нами!

Еще вот что хочу Вам рассказать. Не пойму, почему большинство из наших человеков в узком кругу, в семье, при выявлении отношений, в суждениях своих по любому поводу, в спорах, приказах, указаниях, книгах и так далее смело пользуют слово «Я»? И как только выходят на трибуны любых высот, появляются на экранах телевидения, то есть попадают в атмосферу большой ответственности за свои словеса, трансформируют, как правило, «Я» во множественное «МЫ», «НАС».

Слушая этих «трансформаторов», создается впечатление невероятной сплоченности народа с выступающим. А те, кто говорят: «Я думаю», «я чувствую», «я решил», «я люблю», «я не приемлю», «я не знаю» (как правило, так говорят чаще всего ученые, писатели, художники, философы – вообще талантливые, умные люди) – к сожалению, очень часто выглядят, как оторвавшиеся от «МЫ», то есть от народа; выглядят, как неблагонадежные, не желающие идти в строю большинства, как «чужаки», «очкарики», «интеллигентики».

Цитирую газетные тексты (разных авторов):

«Мы жили не по законам, а по великим указаниям».

Почему «МЫ» жили? Я так не жил. У меня всегда были свои законы, по которым я жил, любил и ненавидел. Я не вступил в партию, не кричал «За Сталина!», ограничивался по целому ряду причин словами «За Родину!». Учился и работал по велению своих увлечений, зарабатывал деньги, разгружая вагоны, чтобы продолжать жить по своей совести, продавал книги и вещи арестованных ни за что в 1937 году родителей. Я сам – по велению своего сердца – выбирал себе и роли и театры. По велению своей совести воевал. Как немалое число людей, я мог ведь и дезертировать, уйти в плен, решиться на самострел. Но не пошел на эти мерзости. Так что этого «Мы жили не по законам, а по великим указаниям» – не приемлю! Думаю, и не я один.

«Надо политически трезветь быстрее…»

Как?

«Сейчас другое время!»

Какое?

«То-то и то-то может привести нас в тупик!»

Что это за тупик? Где он? Чем опасен? Всех ли? Кого «НАС»? Неужели всех?

«Создавалась фальшивая жизнь».

Для кого? А если человек не поддавался фальши? Он, что же, тоже фальшиво жил?

«Нравственная болезнь, которая в конце концов нас может убить».

А что будет со здоровыми? С не больными? Их тоже убьет хворь? И вообще – кого «НАС»?

«То есть надо менять структуру власти и так далее…»

Что это такое – и «так далее»? Все время менять, что ли?

«Ничего не нажили».

И партия коммунистов? И мафия – тоже?

«Мы прожили героические годы».

Кто «МЫ»? Все? Все герои? Сколько героических и сколько не героических лет? А ларчик (мне так кажется) открывается очень просто: приведенные цитаты – это лексика болтунов, безответственных словоблудов – лжецов, это панцирь от возможного фиаско своих жизненных позиций, личных концепций, то есть своего «Я»…

Как же Вы правы, господин Монтень, когда в «Опытах» (книга 1, глава IX «О лжецах») пишете, что «лживость» – гнуснейший порок. Только слово делает НАС людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы МЫ сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его

сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление… «Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов».

Мои нескромные вторжения (выделения слов «МЫ» и «НАС») в столь сложные философские проблемы я подытожу Вашими же словами: «И как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде!» Гениально! Я считаю, что болтун – лжец! Заканчиваю свое письмо опять же Вашими словами (уже из книги 2, главы XVIII «Об изобличении во лжи»), среди которых Ваши «МЫ» и «НАС» – бойцы против тех же «МЫ» и «НАС» в устах болтуна: «Лживость – гнуснейший порок… Нельзя выразительнее обрисовать мерзость, низость и противоестественность этого порока, ибо можно ли представить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми и дерзким перед Богом? Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путем, а именно через слово; тот, кто извращает его, тот предатель по отношению к обществу: слово – единственное орудие, с помощью которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и мыслях… если мы лишимся его, то не сможем держаться вместе, не сможем достигать взаимопознания; если оно обманывает нас, оно делает невозможным всякое общение человека с себе подобными, оно разбивает все скрепы государственного устройства».

Спасибо Вам за все. Вы – бессмертны! Мало того, Ваши рассуждения буквально заставили меня, артиста, сесть за стол и написать наболевшее, крик души: «Братцы, язык разворовывают! Караул!»

Когда есть возможность, слушаю передачи радиостанции… не скажу какой. Нравится мне ее коллектив, задорный, раскованный, остроумный, работящий, ищущий! Одним словом, коллектив-радователь! Но всякое бывает…

Как-то болел, сидел дома. Много свободного времени. Слушаю радователя. И вдруг… «подарок»! Ведущий сделал несколько неправильных ударений в родных словах и, конечно же, в слове «принять». Традиционное, введенное с высоких трибун «при́нять», по-моему, теперь неистребимо, как колорадский жук в земле, въелось в родную речь. Объявили фамилию артиста, который в образе недоучки-дегенерата бойко пересказывал содержание шекспировской трагедии «Отелло», коверкая русскую речь, произнося нарочито неправильные ударения в словах и

именах. По вкусу это «мероприятие» выглядело ниже уровня старых, грубых анекдотов, а по логике звучавшего текстового материала было пародией на ведущего, который до появления в эфире «шекспироведа»-недоучки допустил серьезные орфоэпические оплошности…

Господа ведущие разных программ! Господа беседующие с телеэкрана и на радиоволнах с сильными мира сего и с гостями попроще! Милые вы наши! Умоляю вас всех, пожалуйста, почаще заглядывайте в «Словарь ударений для работников радио и телевидения» (Ф. Л. Агеенко и В. Зарва) или в «Словарь трудностей русского языка» (Д. Э. Розенталь и М. А. Теленкова)! Но особенно внимательно относитесь к «Орфоэпическому словарю русского языка» (издание Института русского языка Академии наук СССР).

Господа авторы и редакторы звучащих в эфире текстов! Пожалуйста, обозначайте в рукописях точные ударения в сложный словах! И еще! Обозначайте правильные падежные формы числительных! Нет сил постоянно слышать «более пятьсот», «более триста», когда надо – «более пятисот», «более трехсот»…

И еще, господа, наберитесь мужества и поправляйте прямо в эфире собеседников, коверкающих русскую речь! Уверяю вас, такого рода «культуртрегерство» станет самой результативной – для вашего собеседника, для вас и в целом для всего народа – школой самообразования! Не стесняйтесь этого делать! А то ведь дети и даже учителя стали поддаваться многоликой вакханалии, разрушающей культуру речи. Так мы очень скоро превратимся в макак на ветке. Все признаки этого – налицо!

Как страшно, когда даже ученые-экономисты, писатели(!), комментаторы на радио и телевидении нет-нет да и выпустят на волю «колорадских жучков»:

обеспече́ние
изобре́тение
до́говор
осу́жденный
ква́ртал
углу́бить
ло́жить
вы правы́
поехайте
блага́
хочут
возбу́ждено
на́чать

звóнит

ходатáйствовать

И несть числа этим «жучкам»! Вот когда уместно вспомнить пословицу «язык мой – враг мой, прежде ума глаголит».

Все эти «колорадские жучки» навели меня на мысль, как обеспечить сохранение чистого русского языка. Изобрели же люди сигнализацию при попытке угнать автомобиль! Такой же сигнал – воющий, рычащий, скрипящий, компактный, способный поместиться в кармане, в ящике письменного стола или быть приклеенным к любому микрофону – смог бы предотвратить угон русского языка! Каким образом?

Стоит говорящему неправильно произнести русское слово – срабатывает сигнализация и не перестает выть, пищать, рычать и т. д. Тех пор, пока говорящий не исправит вслух свою ошибку. Прогрессивнейшее изобретение!

В старом малом театре во время шедшего гоголевского «Ревизора» артист Дурново, исполнявший роль Земляники, оговорился: вместо «все, как мухи… выздоравливают» сказал «все выздоравливают… как мухи». И этого было достаточно, чтобы художественное руководство императорского театра отнеслось к этой текстовой накладке (с современной точки зрения – невинной) как к чрезвычайному происшествию, как к поводу для экстренного собрания членов кружка любителей и охранителей классического языка.

Сколько времени смогли бы эти охранители оставаться в своем уме, если бы воскресли и послушали, что и как в наше время говорят?

…Ученый-гуманитарий в доказательство своей правоты приводит зрителям с экрана всем известную цитату из «Ревизора», но в своей интерпретации: «Над кем… или над чем смеетесь. Над собою смеетесь». Но, заглянув в книгу, он неожиданно для себя прочел бы слова, написанные дорогим Николаем Васильевичем: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!»

Высокопоставленный чиновник, ведающий культурой, вернее ее хозяйственной частью, на мой вопрос «Что сейчас читаете?» горделиво, с видом замотанного делами человека, прибегая к бесчисленному количеству ненужных «так сказать», «как говориться», «значит», «со всей определенностью», «если честно говорить», вздыхая, многозначительно «э-э-экая», обрисовал мне сложность своей работы и общественного положения. А закончил свою тираду следующим образом:

Дорогой мой! Вот такие пирожки! Где взять время на то,

чтобы углу́биться в серьезное чтение? Тут как-то начал Хлебникова и… ничего не поня́л:

Леса обезлиси́ли
Леса обезлоси́ли

Что это? Отложил!

Я сделал ему замечание по поводу неправильных ударений. На это он спокойно сказал:

– Ладно валять дурака! Люди повыше меня (он штампованно продырявил воздух движением большого пальца снизу вверх), поумнее, пообразованнее, на виду у всего мира, на дипломатической работе собаку скушавшие, говорят, как я говорю, и все нормально! Поня́л?

Не желая обострять отношения, я покорно ответил: «Поня́л, поня́л». И, улыбаясь, процитировал отрывочек из диалога Баяна и Присыпкина из «Клопа», не называя их фамилий и пьесы:

«– Товарищ Баян! Я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Поня́л?

– Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что поня́л, а силой, согласно Плеханову, позволенного марксистам воображения, я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!»

Мой собеседник похлопал меня по плечу и сказал:

– Молодец! Сумасшедшая у тебя память! Завидую! Это откуда цитата?

Я без промедления ответил:

– Из «Бани».

– Безыменского, кажется?

– Нет. Это Маяко…

– А-а-а! Да-да! Извини! Конечно! Конечно, Маяковский! Вот видишь, до чего Министерство культуры довело! Затурканный я совсем… Ну конечно – «Баня»!

Я рассказываю сущую правду. Ей-ей!

В беседе с другими деятелями культуры – это было в доме отдыха «Руза» Союза театральных деятелей – я привел цитату из текста Городничего: «О, тонкая штука! Эк куда метнул! Какого туману напустил! Разбери кто хочет! Не знаешь, с какой стороны и приняться! Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось!» И спросил – откуда эти слова?

Один деятель, не задумываясь, сказал:

– Раз там сказано «не куды пошло», это, конечно, Островский.

Другой возразил ему:

– Да вы с ума сошли! Это текст Городничего из второго акта

«Ревизора». Но готов поспорить, что у Гоголя написано «не куда пошло», а не «не куды».

Пришлось идти в библиотеку. Там «Ревизора» не оказалось. Достали дома у лечащего врача и прочли – «не куды пошло».

– Надо же! Подумайте! – резюмировал ведающий совокупностью материальных и духовных благ, созданных человечеством в процессе его общественно-исторической трудовой практики.

Я понимаю полезность усилий при ликвидации стены, разделявшей две Германии; понимаю необходимость во время войны разрушений разных укреплений, дзотов, дотов и прочих сооружений во имя подавления врага. Но где и кто враг, когда разрушается родной русский язык? Не те ли, кто его разрушает, и есть враги? Надо защищаться от них, активно защищаться, пока не смели́ они наш литературный язык.

Вот иллюстрация к русской пословице «Не ножа бойся, а языка!».

Недавно отдыхал я в Подмосковье. Запал в память диалог 40–50-летних мужчин:

1-й. Поток нецензурных слов, в котором тонули редкие нормальные русские слова. Пропорция примерно такова: 85 – мата, 15 – русских слов.

2-й. Тот же поток, но в более скромной пропорции: 50 на 50.

1-й *(слезливо)*. Мат, мат, слово, мат, слово.

2-й *(успокаивая собеседника)*. Мат, слово, слово, мат.

1-й *(вытирая слезы)*. Мат, мат, мат, мат, слово.

2-й *(приободряя собеседника)*. Слово, слово, мат, мат.

1-й *(пожимая руку 2-му)*. Мат, мат, слово, мат.

2-й *(обнимая собеседника)*. Слово, слово, мат, мат.

На втором этаже открывается окно. Появившаяся в нем женщина на нормальном русском языке произносит какую-то фразу, обращаясь к мужчинам.

1-й *(отвечая женщине)*. Гут! *(Отвечая собеседнику)*. Мат, мат, мат, мат, слово, слово.

2-й *(удивленно посмотрев на окно, собеседнику)*. Слово, мат, слово, мат, слово, мат.

Из окна женщина повторяет сказанное.

1-й. О'кей! *(И собеседнику)*. Мат, мат, мат, мат, мат, мат, мат.

2-й. Мат, слово, мат, слово, мат, слово. *(Жмет руку 1-му.)* Консенсус! *(Подмигнул, посмотрел на окно и ушел.)*

1-й *(кричит, глядя на окно)*. Зинуля! Иду, хорошая моя! Все гут!

Бог с ними, с дорогими моему сердцу работягами, мастеровыми, умельцами. Бог их простит за необразованность, простит потому, что от них хоть толк есть – руки у них создающие, добывающие, ремонтирующие, мозолистые. А вот как быть с теми, которые в основном трудятся языком? Что такое публичное выступление? Это призыв идти за говорящим, поверить в его правоту, в его кажущийся ему правильным путь к истине.

Я представляю себе выступление любого (за малым исключением) теперешнего нашего депутата в собрании старой русской Думы или в Дворянском собрании. Вот есть где разгуляться фантазии! Представьте себе: выходит наш депутат на трибуну и, обращаясь к седоволосым русским заседателям, произносит речь о бедах или о светлом будущем России, употребляя при этом замечательные русские слова, но с «новыми», «революционными» ударениями. Такого оратора наверняка или освистали бы и прогнали с трибуны (если старая Дума умела свистеть; наша же новая и не то может), или бы вызвали врача-психиатра!

У нас же никто не обращает внимания на эту свистопляску неграмотности, никто не делает ораторам замечаний. У нас свистят только тогда, когда выступает гений или просто честный человек!

Раньше подражали царским бородкам, экипажам, платью, прическе. А в наше время – неграмотности!

Я не помню ни одного нашего высокого руководителя, грамотно говорившего на родном языке! Когда на троне восседал Леонид Брежнев, было легко отвечать на разного рода «провокационные» детские вопросы: «Дети! У дяди Брежнева плохо с челюстями – ему трудно говорить». Но сейчас-то у всех с челюстями хорошо! Что же все молчат? Почему не открывают курсы по ликбезу среди говорящих на высоких уровнях?

Почему к нам так и почему мы ко всему так? Что с нами? Почему никто не вопиет, читая во всех аэропортах: «Накопитель пассажиров», «Зона досмотра». Это же тюремная лексика!

Неграмотно говорящий не уважает ни себя, ни свою страну, ни свой народ! Человек, говорящий грамотно на своем родном языке, – это человек с чувством собственного достоинства.

Неграмотно говорящий вряд ли может ясно, логично и тем более философски мыслить! И быть полезным людям. И тем более стать Монтенем!

«Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный» (В. И. Даль «Напутное слово»).

ОДА РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Тебе, о русский мой язык,
Я эти строки посвящаю.
К тебе с рожденья я привык,
Тобою мысли выражаю.

Ты величавей снежных гор,
Ты бриллиантов драгоценней,
Прозрачно хрупок, как фарфор,
И образов святых священней.

Ты не посетуй о судьбе –
Не обделен ты честью росской:
Ведь говорили на тебе Боян,
Донской и Тредьаковский,

Суворов, Пушкин и Толстой,
Рахманинов, Куприн, Набоков…
До гробовой доски с тобой
В своих мелодиях и строках.

О, бедный мой язык родной,
О, прелесть русской речи чистой!
Кто не глумился над тобой? –
Шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,
Не выворачивал, не мучил:
«Облегчить, начать, взад принял,
Правы, сочуйствовать, подключил»?

Ну, ладно б жулик или вор,
Иль алкаши и наркоманы,
Но педагог, но прокурор,
Но дикторы с телеэкрана!

Рабочий и интеллигент
Родную речь, как шавку, лупят:
«Осужденный, инциндент,
Блага, возбужденный, оглупят».

Ну, ладно б только бюрократ –
Кувшинное тупое рыло,
Но журналист, но депутат

Язык нелепо исказили!

От сердца я хочу воззвать
Ко всем, кто сын России верный:
Пора не начать, а начать
Язык наш очищать от скверны.

Друзья, следите за собой,
Когда по-русски говорите,
Ведь это наш язык родной –
Его для внуков сохраните!

Вл. Весник

*(это мой двоюродный брат. – **Е.В.**)*

Сон вместо эпилога

Вижу стол… За ним – Б. Шоу, Г. Гейне, П. Шелли, Питтак, Соломон, П. Буаст, Конфуций, Л. Фейербах, Ст. Е. Лец, В. О. Ключевский, Ф. Бэкон, Дж. Свифт, Р. Бертон, Ч. Лэм… Чуть в стороне – официант. Англичанин. Тут же и я… «Почему я оказался среди великих воскресших? Ах, да! Ведь это сон… Я так внимательно и с интересом читал их, так искренне разделял их гениальные мысли, что…»

Вступаю в разговор:

– Частник – фантазер! Он производит. «Советский человек» – особый тип человека, он словно пиявка: сосет. Или просит: «Дай, дай, дай, а то убью, забастую, украду-у-у!»

Шоу: Да, да, да. Кто умеет – делает, кто не умеет – учит. Или грозит, пугает.

Гейне: И вообще – странное дело: во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии, нравственности и любви к отечеству.

Питтак: Человека выказывает власть?

Я: Согласен, но к власти можно допускать лишь тех, кто наделен способностью разделять чужое праведное мнение и, если нужно, повиноваться ему.

Шелли: Конечно, конечно… Я дожен сказать, что самая убедительная ошибка, которая когда-либо была сделана в мире – это отделение политической науки от нравственной.

Официант *(подавая шампанское и пшенную кашу с шоколадом и чесноком – такое ведь только во сне может быть)*: В моей родной Англии есть пословица «Честность – лучшая политика!».

Все присутствующие одновременно: «Да, да», «Совершенно верно», «Очень хорошая пословица!».

Соломон: Когда страна отступает от закона, тогда много в ней начальников.

Буаст: Многое, многое несовершенно… Сердце живет в настоящем, а ум – в будущем, оттого между ними так мало согласия.

Конфуций: По-моему, когда ясно, в чем заключается истинная нравственность, то и все остальное будет ясно.

Фейербах: Хорошо и нравственно – это одно и то же. Но хорош только тот, кто хорош для других!

Я: Хорош для других – это помогающий другим… Идеал – Виссарион Белинский! Он мог сурово выговаривать, но помогая. Помогающий другим – богоугодный человек! Конечно же, легче ругать, труднее – помочь. Ах, если бы поменять местами эти

глаголы, человечество приблизилось бы к Эдемскому саду. Хоть на чуть-чуть.

Все присутствующие мило улыбаются и, чокнувшись, выпили сливок. (Чокаются сливками – такое только во сне увидишь.)

Кто-то заглядывает в окна.

Ключевский: Слушаю вас и думаю: чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум… А по правде говоря, самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым – это вообразить себя таким.

Лец: О-хо-хо-хо! Как говорят, хочешь быть реалистом – не говори правды.

Бэкон: Правильно! Поэтому вести людей от одной надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства. Поистине мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не может удовлетворить их нужды.

Свифт: И тем не менее всякий, кто способен вырастить два колоса пшеницы на том месте, где раньше рос только один, или две травинки вместо одной, заслуживает большей похвалы, чем все политики вместе взятые.

Любопытных в окнах все больше. В одном из них появляются Дон Кихот и Санчо Панса.

Ключевский *(выпив еще сливок, громко)*: Господа! Ну почему, ну зачем существуют люди, которые становятся скотами, как только начинают обращаться с ними, как с людьми?!

Присутствующие активно успокаивают мыслителя.

Я: Вопрос сложный. Кого-то спросили: «Может ли быть инфаркт у собаки?» На что тот ответил: «Да, конечно, если создать ей человеческие условия!» Так что успокойтесь!

Бэкон: Я убежден – не мир нужно подгонять под узкую мерку разума (а именно это делалось до сих пор), а раздвигать и расширять границы разума, чтобы сделать его способным воспринимать такой образ мира, каким он является в действительности, так же как в том, что человек – слуга и истолкователь природы – побеждает природу только подчинением ей.

Лец: Да, все в руках человека! И вообще, заселить мир не легко, опустошить – легко. О! Если бы хоть один Бог призвал: «Верьте мне», а не «Веруйте в меня!». Но несмотря ни на что, человеколюбие прогрессирует: с каждым разом убийц судят все гуманнее – боятся повернуться к людям задом, не дай Бог, скажут двуличный. И вообще, задом необходимо дорожить, ибо он у каждого годен для трона…

В одном окне все любопытные исчезают. В другом – герои

Сервантеса укрупняются, увеличиваются на глазах.

Бертон: Люди напоминают мне лодочника, который гребет в одну сторону, а смотрит в другую.

Бэкон: Это так же верно, как то, что законы подобны паутине: мелкие насекомые в них запутываются больше.

Лэм: Замечательно сказано! Это верно так же, как то, что едва заметная боль в мизинце повергает нас в большее смятение, чем уничтожение миллионов таких, как мы…

Официант: Господа, прошу! Глинтвейн, подогретый жаром ваших мыслей…

Лец: И все же самое страшное преступление – это убить человека… в себе! Для этого надо остерегаться бескрылых, расправляющих крылья. Но, к сожалению, мы все понимаем, и поэтому ничего не можем понять. Эххе-хе-хе!.. Вот я вздохнул, а перевести вздох на другой язык не умею… Наше незнание достигает все более далеких миров… Хорошо еще, что люди не эгоисты – никто не носит траур по себе… Жаль, что власть чаще переходит из рук в руки, чем от головы к голове. Беда!

Все выпили глинтвейна и стали еще гениальнее.

Ключевский: Да, да, да! Вот, например, русский ум всего ярче сказывается в глупости! И еще в связи с этим: Христы редко являются – как кометы, но Иуды не переводятся – как комары! Мне кажется, что современная мысль до того изогнулась и извертелась, что стала похожа на старую балетную плясунью, которая, приподняв подол, еще может выделывать замысловатые и непристойные фигуры, но ходить прямо, твердо и просто уже не в состоянии…

Лец: Браво! Очень смешно и точно! Должен сказать, что все люди плясуны и актеры! Но где найти для всех репертуар?

Я: Я вспомнил, господа, восточную пословицу: «Человек может избежать несчастий, ниспосылаемых небом, но от тех несчастий, которые сам человек навлекает на себя, нет спасения».

Лец: Замечательно! Поэтому всегда находятся эскимосы, которые вырабатывают для жителей Конго инструкции, как вести себя во время жары!

В помещение врываются какие-то гражданские, но вооруженные лица, за ними – полиция, почему-то в масках, но без оружия… Меня связывают, требуют выкупа: «лица» – не очень большого, полиция – чуть большего… Между ними начинается перепалка… Через стену в комнату на коне вламывается Дон Кихот, за ним – на осле – Санчо Панса… В мгновение ока герой Сервантеса накалывает всех драчунов на пику и заставляет их заплатить официанту за все съеденное и выпитое гениями (и мною) за последние 322 года… И уж совсем непонятно, почему на

вопрос Джонатана Свифта (восхищенного мужеством Дон Кихота и остротой его пики, а также солидностью Санчо и его осла) «Кто вы?» рыцарь Печального Образа ответил: «Начальник отдела государственных органов безопасности», а его упитанный оруженосец: «Я Павлик Морозов». Заметив растерянность Джонатана, я шепнул ему на ухо: «Конспирация! Внешняя разведка!» «А-а-а!» – понимающе кивнул Свифт (тоже, поговаривают, имевший какие-то связи со старинными «органами безопасности») и успокоился…

Д-р-р-р-р-р! А? Что? Ах, будильник! Ну, не враг ли он мой? Такой сон поломать! Такой фильм! Это же при желании – готовая пьеса! Новый жанр театрального спектакля! Буду ждать нового сна…

* * *

Стол, бумага, ручка, тишина, стакан крепкого душистого чая. Радостное напряжение памяти… И шлифовка фраз, отбор Бог знает откуда прилетающих образов и метафор… Сложение всего этого в цепь логик или аллогизмов – вот мои наиразлюбимые декорации и действия в теперешнем возрасте. Ах, как стремительно и в различных направлениях можно (сидя в кресле и фантазируя) и летать, и бегать – перемещаться! Времена и места происходящих событий не требуют пропусков и проездных к ним билетов – воспоминания и память позволяют посетить их «зайцем»…

Иллюстрации I

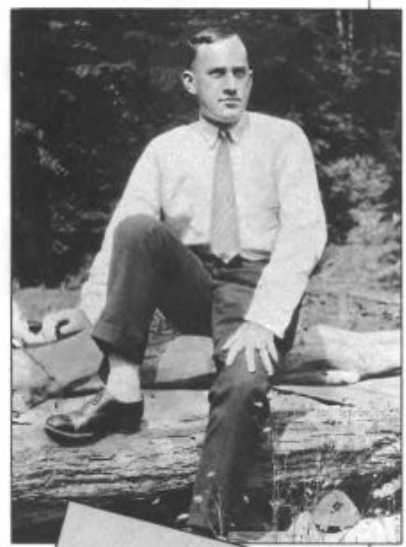
Мой 20 век

Так я часто выглядел, когда писал книгу!..
Эта физиономия — доказательство того, что мир делится
на пишущих и подписывающих.

Вот таким бы
остаться на всю жизнь...

Моя красавица бабушка.

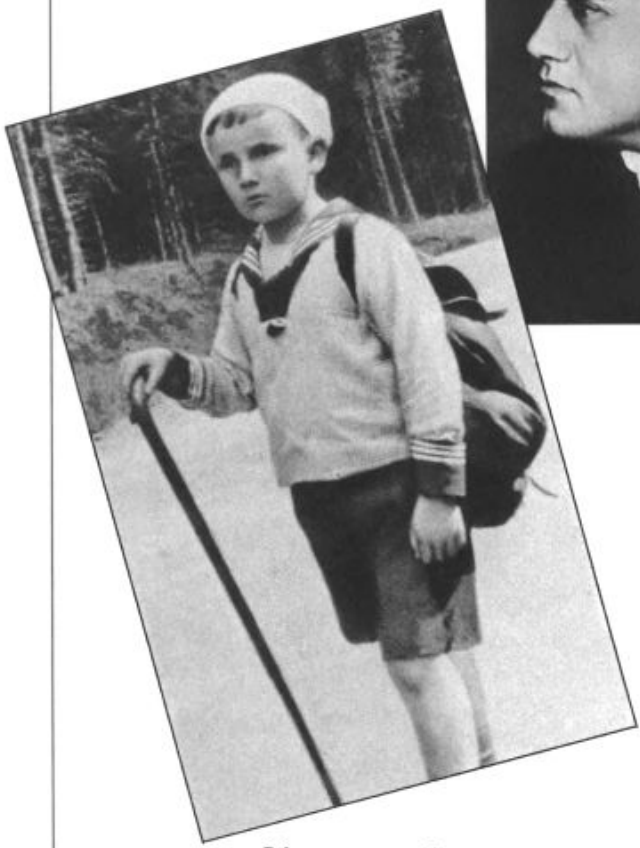
Папа.
Здесь ему 32 года.



Мой любимый дедушка.

Мама и я.
Это мы в Америке.

Отец.
Вскоре после награждения
орденом Ленина
и незадолго до расстрела.



В 8 лет я жадно любовался
божественной природой,
которую человеки
солидно преобразовали.

Раз
на груди
медаль
"За отвагу",
значит мне
не 16 лет,
а больше...

Мой
фронтовой
друг
Л.Галкин.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.С.СТАНИСЛАВСКОГО

"Жизнь начинается снова"
В.Собко, 1949 г.
Я в роли Флюгеля,
артистка И.Прейс —
танцовщица.

1950 год.
"Юность вождя"
С.Нахуцеришвили.
Роль преподавателя
физики Хмелевского,
учителя семинариста
Джугашвили,
того, который
Иосиф Виссарионович...

В этой роли я оперился как артист.
"Наследники Рабурдэна" Э.Золя, 1950 г.
Родственница — М.Стулова.

"С любовью не шутят"
Кальдерона.
В возрасте 27 лет
я играл 90-летнего
Дона Педро!
Сейчас
было бы легче.

Первый фильм в моей биографии
"Урок жизни" режиссера Ю.Райзмана.

"Разные судьбы",
режиссер В.Луков.
В моей роли, которую всю вырезали,
были элементы пародии на великого вождя.

Думаю о рае.
Его нет и трудно его организовать.

Кинопробы, сыгранные и несыгранные роли...
У каждого образа свой прототип.

И конечно же гуляют прототипы
по страницам моих воспоминаний.

Алексей Дикий

Михаил Светлов

Ляля Черная

Александр Вертинский

НИЗКО СКЛОНЯЮ ГОЛОВУ ПЕРЕД ЭТОЙ ГАЛЛЕРЕЕЙ

Александра Яблочкина

Игорь Ильинский

Н.П.Смирнов-Сокольский.
Я горжусь его добрым
отношением ко мне.

Александр Остужев

Анатолий Зельдин —
ближайший друг и товарищ с 1930 года.

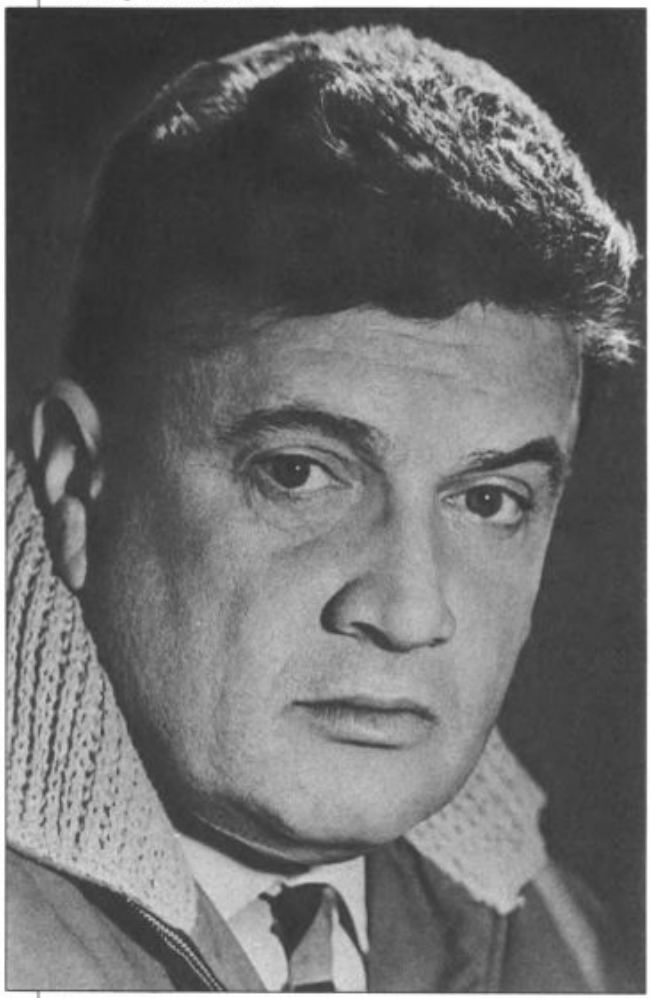
Иван Переверзев —
это маленькая Россия.
Остальное о нем —
в книге.

Виталий Доронин. Я знаю, он в раю и там своим обаянием, талантом и скромностью его — рай — совершенствует.

Замечательный вертолетчик Н.Дворников — мой друг.

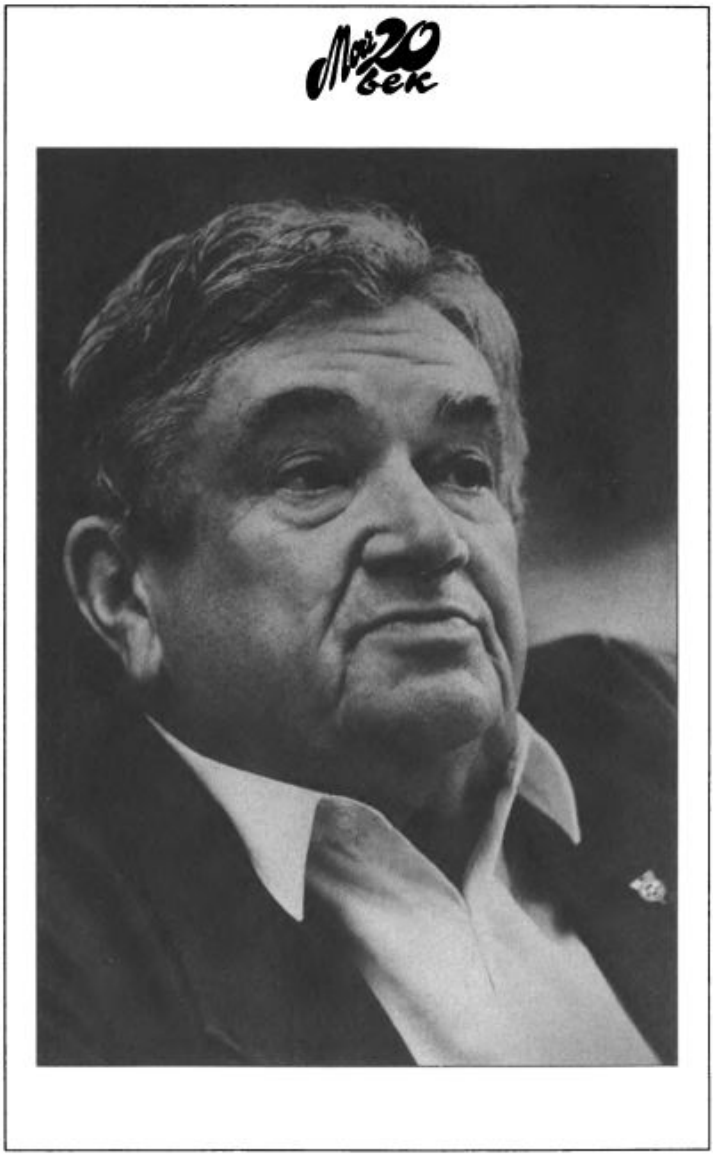
А это мы
с Олегом Ефремовым
на фоне
египетских пирамид.
Редкостное соединение
МХАТа и Малого!

Вот в таком виде 100 000 раз
меня продали в киосках.



Лучше мне быть не удалось.

Иллюстрации II



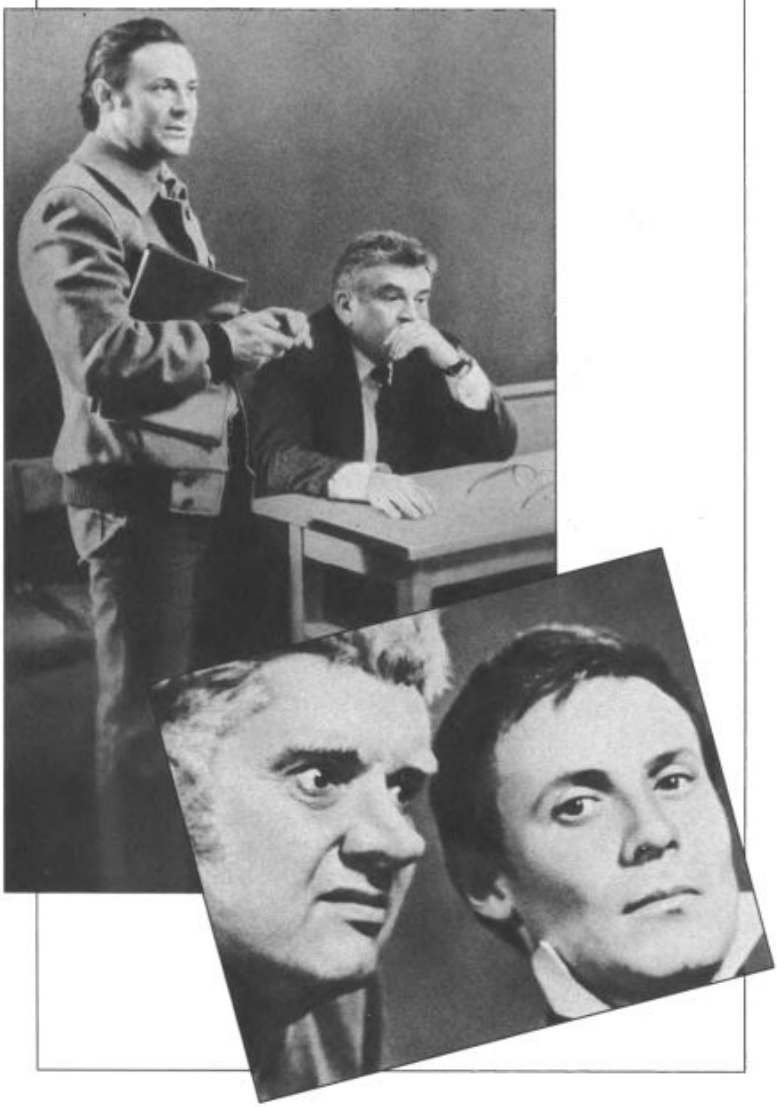
ТЕАТР САТИРЫ

Остап Бендер — тот, которому 33 года (возраст Христа) и который учения не создал, а учеников разбазарил.

Незабвенный, дорогой мой друг Анатолий Папанов... Это мы с ним в "Яблоке раздора".

А какой он был Киса Воробьянинов! Уверен, Ильф и Петров были бы в восторге от его игры.

КОМЕДИЯ Н.В.ГОГОЛЯ "РЕВИЗОР"



Мой дорогой
Антон Антонович,
сколько же ты
отнял у меня сил!
Спасибо тебе за это.

Группа актеров Малого театра — самых больших любителей шефской работы
1-й ряд: Ликса, Гоголева, Жаров, Шатрова, Обухова.
2-й ряд: молодежь.

Любимая "бабушка" — Е.Н.Гоголева — со своим внучком в "Мамуре".

Алексей в "Оптимистической трагедии" Вс.Вишневского. Он теряет в пьесе не любимую, а человека, которому поверил!

"Свадьба Кречинского". Расплюев — Весник, Федор — Горбатов, Кречинский — Кенигсон.

"Мои друзья" А.Корнейчука. Я не мог предположить, что придется сыграть и роль, в которой запечатлен и М.Жаров.

...Так только на сцене, только на сцене. Мы с Быстрицкой в "Касатке" А.Толстого.

Мы говорим Весник, подразумеваем Носик, мы говорим Носик, подразумеваем Весник. "11-я заповедь" на сцене филиала Малого театра.

Кинофильм "Тема".
Пащин, "творческие муки".

"Новые приключения неуловимых", режиссер Э.Кеосаян. Я ухаживаю за Борисом Сичкиным.

"Вольный ветер". Я путаю своего друга В.Корниенко, а он не боится, потому что знает, что я ненастоящий полицмейстер

"Яблоко раздора". За забором В.Лепко — председатель колхоза, мечтает о коммунизме. Я — нет.

"Действуй, Маня". Изобретатели робота для борьбы с рэкетом — я и С.Бехтерев.

"Пора красных яблок".
Стараюсь быть добрым умным фотографом.

"Самый сильный" —
режиссер П.Николаевский,
а одноглазый король —
это уже я.

"Трембита".
Я в роли Сусика.
Рядом Н.Трофимов.

Кола и Ласочка — вот кого мы представляем на этом снимке с О.Аросевой.

"Обыкновенное чудо" в постановке Э.Гарина. Я в роли охотника, рядом О.Видов.

Спектакль "Чистка". М.Катюха играет Женю Весника (когда мне было 14 лет), А.Татарчук — моего отца и Г.Семка-Педченко — мою маму. Спасибо вам, друзья.

Вот так заботливо
и должна жена
готовить мужа
к выходу на сцену.

Уединение.

Э.Быстрицкая, жена, я и В.Цигаль на моем 70-летнем юбилее.

Р.Быков — один из многих друзей и коллег, кто порадовал своим приходом на юбилей.

Зарубежные гастроли — это не только спектакли, но и непременно знакомство с тем, как живут люди в других странах.

Дисциплина
и в Яффе дисциплина.

Париж. 60-е годы. Внимание! Вижу кафе. Войти или не войти? Угадайте... вошел? Не-е-ет — суточных мало.

Кто-то спросил: "Что такое старость?"
Кто-то ответил: "Это когда будущее позади".

Евгений Весник

ДАРЮ, ЧТО ПОМНЮ

ВАГРИУС

notes

Примечания

1

Журнал Театральная жизнь. № 8.1992.